



Юрий Норштейн
Читайте на стр. 17

© Фото из архива журнала «Юность»

МАЙ
ЮНОСТЬ · 2015

ЮНОСТЬ



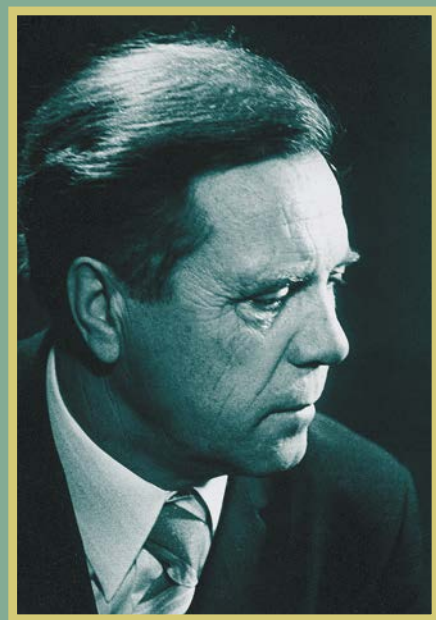
№ 5 (712) 2015

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.

12+

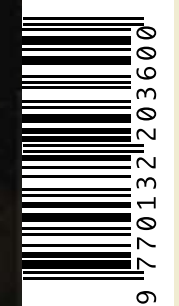
Наше всё

Виктор АСТАФЬЕВ



Как почти все отечественные советские и более поздние классики, Виктор Петрович Астафьев (1924—2001) был постоянным автором «Юности». Хотя с книгами его многие познакомились раньше, чем стали читателями нашего журнала. «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой», «Последний поклон» и другие рассказы и повести о его родной сибирской деревне 1930-х годов вывели Астафьева в первый ряд писателей-деревенщиков. К теме детства он возвращался всю жизнь — вот одна из его «Затесей» (прозаических миниатюр), напечатанных в «Юности» в середине 1980-х: «Что же ты, девочка, из далекого детского сна более не приходишь ко мне и не зовешь меня? Ты была в синеньком ситцевом платье». Детство Астафьева было совсем не пасторальным: у семилетнего Виктора утонула мать, одно время ему пришлось жить на улице, потом — детдом... Однако он принимал судьбу без злобы, понимая, что «в ей, в жизни, завсегда, как на рыбалке: то клюет, то не клюет». И советовал: «...не отдаляйтесь от людей, принимайте мир таким, каков он есть, иначе вас раздавит одиночество. Оно страшнее войны». Война была другой главной темой Астафьева-писателя. В 1942-м он ушел добровольцем, после подготовки в 1943-м направлен на фронт, был шофером, связистом в артиллерии, тяжело ранен, награжден медалями и орденами. Появившийся много лет спустя, уже в 1990-е, его роман о Великой Отечественной «Прокляты и убиты» приняли далеко не все, считая, что показ войны негероической, со всеми ее ужасами и грязью — это выстрел по своим. На самом деле это был залп в вечность...

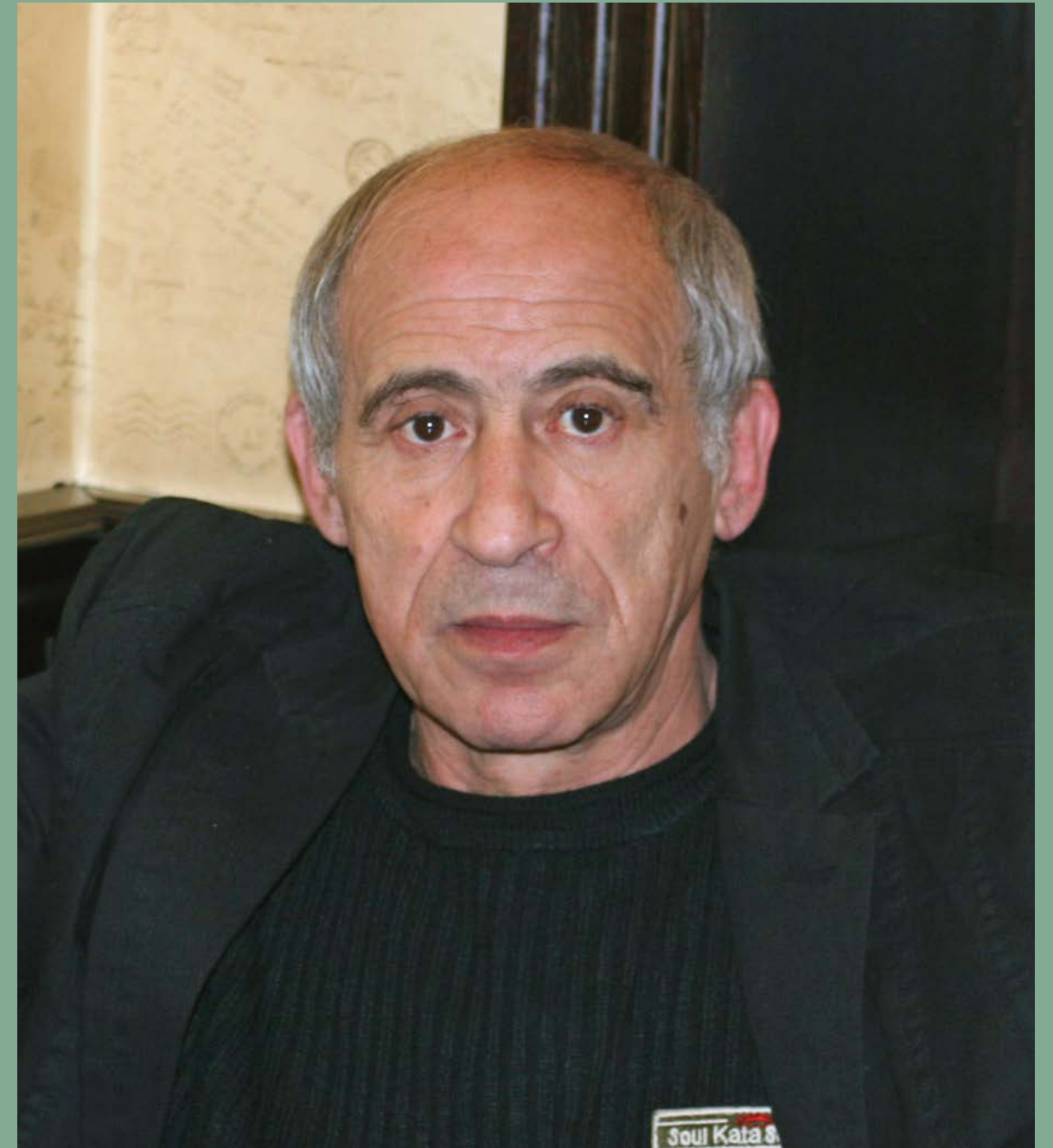
- Пока в каждом из нас жив тот простой советский солдат — живы и мы
- Тая ЛАРИНА: «Ты остаешься солнечным ребенком»
- Юрий НОРШТЕЙН: «Молодые ребята должны учиться искусству сочувствия»
- Лев АННИНСКИЙ полгода мучился в редакции журнала «Советский Союз»
- Последний мифический персонаж уходящей советской эпохи
- Дебют молодого прозаика Ксении ЖУКОВОЙ
- ПУШКИН, читая ШЕКСПИРА, смотрел в бездну
- Ефим БЕРШИН: «Ночью с креста опадает хламида...»
- Новый роман Георгия ПРЯХИНА
- Икона на Руси
- К дробным числительным относится и окаянное слово «полтора»
- Молодой писатель Донбасса Станислав АСЕЕВ открывает горькую правду
- «Любопытный месяцеслов 1776 г., издан В. РУБАНОМ»
- Американский прозаик Лоуэлл Ховард МОРРОУ (1870—1951). Его антиутопия, повествующая о последних людях Земли
- Вечный молодежный день поэзии в тютчевской усадьбе в Овстуге
- В детективе летает золотой какаду
- В зеленом портфеле — ротвейлеры
- Галка ГАЛКИНА: «Вынесем вон... вместе с мозгами!»
- Проказник ГЕО: «Зацепил ногой ежа, вдоль по берегу бежа!»
- Инна Кабыш о русских мальчиках



9 770132 203600



Тая Ларина
Читайте на стр. 8



Ефим Бершин
Читайте на стр. 34

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№5 (712) 2015

«ЮНОСТЬ» © С. Краусаускас. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: unost-contact@mail.ru

Наш сайт: <http://unost.org>

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

Главный редактор

Валерий ДУДАРЕВ

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ

Анатолий АЛЕКСИН

Лев АННИНСКИЙ

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ

Анна ГЕДЫМИН

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

Елена ИСАЕВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Валерий КОЗЛОВ

Владимир КОСТРОВ

Нина КРАСНОВА

Татьяна КУЗОВЛЕВА

Евгений ЛЕСИН

Георгий ПРЯХИН

Владимир РАДЧЕНКО

Ольга РЫЧКОВА

Елена САЗАНОВИЧ

Александр СОКОЛОВ

Борис ТАРАСОВ

Елена ТАХО-ГОДИ

Олег ТОЛКАЧЕВ

Игорь ШАЙТАНОВ

Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

заведующая отделом образования и молодежной политики

Славяна БАКУНИНА

обозреватель

Платон БЕСЕДИН

главный художник

Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ

заведующая отделом критики

Елена МАКСИМОВА

заведующая отделом культуры

Татьяна МАХОВА

заместитель главного редактора,

заведующий отделами

прозы и поэзии

Игорь МИХАЙЛОВ

заведующий отделом

зарубежной литературы

Евгений НИКИТИН

главный консультант

Эмилия ПРОСКУРНИНА

консультант главного редактора

Евгений САФРОНОВ

директор по развитию,

ответственный секретарь

Светлана ШИПИЦИНА

В НОМЕРЕ:

Шум времени

ПРОСТОЙ РУССКИЙ СОЛДАТ СПАС МИР ОТ ГИБЕЛИ ... 4

Поэзия

Тая ЛАРИНА..... **8**

Ефим БЕРШИН..... **34**

Проза

Ксения ЖУКОВА

ДВА РАССКАЗА..... 26

Георгий ПРЯХИН

MORITURI TE SALUTANT! Роман..... **42**

Станислав АСЕЕВ

**МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН,
ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ** Роман-автобиография
Продолжение..... **63**

Лицом к лицу

СЛОВА-ОБРАЗЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

С Юрием Норштейном беседовали Константин Кушелев и Максим Коршунов **17**

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕИСТОРИКА

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН Продолжение..... **24**

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

ВАЛЬПУРГИЕВ КОМПОТ..... 25

100 книг, которые потрясли мир

Елена САЗАНОВИЧ

**УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНЦА ГАМЛЕТА..... 31**

Ватаив дыхание

Сергей АНТОНОВ

ИКОНА НА РУСИ Очерк..... **54**

Как беден наш язык!

ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ!

Марианна ТАРАСЕНКО

ПРИЯТНОЙ ВАМ ПУТАНИЦЫ..... 61

Всякая всячина

Николай МИТРОФАНОВ

**ЛЮБОПЫТНЫЙ БЫЛ ПИСАТЕЛЬ
ВАСИЛИЙ РУБАН..... 83**

Заведующая редакцией

Лидия ЗЯБКИНА

Заведующий отделом информации

Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент

Екатерина КОРНЕЕНКОВА

Отдел юмора

Генрих ПАЛОЯН

Представитель в Санкт-Петербурге

Максим КОРШУНОВ

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Наталья ГОРЯЧЕНКОВА

Фотокорреспондент

Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Максим ПОПОВ

Заведующая отделом распространения

Яна КУХЛИЕВА

Дежурные по редакции

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Координатор литературного
объединения

Марина КУЛАКОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Лоуэлл Ховард МОРРОУ

ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК Фантастическая повесть. Продолжение..... **86**

20-я комната (от пятнадцати и старше)

**НЕСКОЛЬКО ЭПИЗодОВ
ПОЭТИЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ ЧУДНОЙ»
В ОБСТУГЕ** **89**

Творческий конкурс

Анна СЕВЕРИНЕЦ г. Минск..... **97**

Марина ПЕСКОВА г. Омск..... **100**

Татьяна МЕДИЕВСКАЯ г. Москва..... **103**

Виктория ЛЫСЕНКО Московская обл. **109**

Тамара АЛЕКСЕЕВА г. Липецк..... **110**

Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга..... **126**

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Валерий ИЛЬИЧЕВ

НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ **133**

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Алексей КУРГАНОВ

РОТВЕЙЛЕРЫ ЗНАЮТ... Миниатюра..... **140**

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

**КОНСТАНТИНОПОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ
И ТОЛЬКО НАШ!** **142**

VERIORA VERIS

Проказник ГЕО, человек-танк

ПОЗВОНИЛ Я КАКАДУ, СЛАВА МАЮ И ТРУДУ! **143**

На стендах «Юности»

Инна КАБЫШ

ДЕТСТВО-ОТРОЧЕСТВО-ЮНОСТЬ Окончание..... **144**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Авторы несут ответственность
за достоверность предоставленных
материалов. Мнения автора
и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в «Академиздатцентр
«Наука» РАН», ОП ПИК
«ВИНИТИ»-«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл.,
Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 554-21-86

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

Михаил Шолохов. Судьба человека

ОТ РЕДАКЦИИ

Простой русский солдат спас мир от гибели. И американцев спас, и европейцев, и африканцев, и жителей островов далеких... Спас нас с вами. И пока в каждом из нас жив тот простой советский солдат — живы и мы.

Вот небольшие сюжеты Великой Отечественной...



Из фронтовой переписки Анатолия Григорьевича и Валентины Александровны Беляковых. Всего Анатолий Григорьевич написал жене с Ленинградского фронта более трехсот писем, письма писались с интервалом в среднем три-четы-

ре дня. Валентина Александровна находилась в эвакуации в Челябинской области, вернулась в Ленинград вместе с маленькими детьми 24 июня 1944 года.



Ленинград, 30 октября 1941 года

Добрый день, мои милые, мои дорогие!

Идет пятый месяц Великой Войны, и еще долго-долго, по-видимому, придется вести войну, чтобы покончить с этим всем, что нам выпало.

Валюшка, меня сейчас расстраивает положение вас — какая обстановка и нет ли каких данных об эвакуации вас в глубь страны? Неужели еще раз тебе придется переезжать и устраиваться на новом месте? Напиши мне; может, к моменту получения письма обстановка изменится в лучшую сторону, тогда этот вопрос отпадет сам. Это письмо, по-видимому, ты получишь уже с дочкой или третьим сыном. Заранее приношу свое и всех наших родных поздравление. Выслал тебе в заказных письмах справки на получение подъемных и фотографии, как просил Володя, — со звездой. Получила ли все это? Живем по-прежнему, чувствую себя ничего. По-прежнему нахожусь на одной из прифронтовых станций. Эти дни сравнительно было тихо, но сейчас, второй день, немцы проявляют активность; но мы видели худшие дни. Надеемся, что немцы как стоят под Ленинградом, так уже дальше не пойдут, а если пойдут, то попятятся назад.

Папа работает по-прежнему на заводе. Иногда бывает Ал. Ал., но я его давно не видел, так как, когда он бывает, то меня не бывает дома. Теперь буду еще реже бывать дома, но связь имею почти каждый день, так что, когда прибывают от тебя письма, то я захожу домой, т.к. ежедневно при-

ходится на 1/2–1 час приезжать в город, в свое Управление. Наверное, ребята сейчас в очаге, если, как ты пишешь, они попали в одну группу, то им вместе д. б. хорошо.

Ну пока, моя милая. Крепко поцелуй всех моих ребятшек и нового. Привет от наших. Привет тете Мане и Вале. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя. Твой Толя.

Высылаю пару конвертов и лист бумаги. Толя.

Ленинград, 2 июня 1943 года

Здравствуйте, мои милые, дорогие Валюшечка, Володик, Гарик и Леночка!

Милая Валюшечка, получил твоё письмо, но все идут еще апрельские, да к тому же очень редко. Раньше ты писала мне чаще. Правда, в этот последний месяц я тоже пишу с большими перерывами, но это явление временное, связанное с большой загрузкой на работе. Я и книги почти не читаю, а ты знаешь, что я даже от сна урывал для этого время. В дальнейшем исправлюсь и опять буду писать тебе чаще письма.

Живем мы по-прежнему. Конечно, усиленно готовимся (а это так и должно быть) к решающим схваткам с врагом. Никто из нас, конечно, не знает, на каком участке нашего большого фронта начнутся большие бои, но готовыми к этому нужно быть везде. Как хочется скорейшего разгрома фашистской сволочи, чтобы наша Страна опять зажила счастливой жизнью и мы с тобой опять стали жить вместе со своими малышками.

Я очень часто, проезжая мимо твоего дома (где ты жила до замужества), вспоминаю дни нашей молодости (хотя, Валюшка, мы и сейчас с тобой еще молодые — верно ведь, моя дорогая!). Пройдешь ли мимо витрин игрушечного магазина, вспомнишь, как Володик с Гариком часами могли около них находиться.

Последние дни погода стоит хорошая. Видел распутившуюся сирень — наши с тобой любимые цветы. Этот город и сейчас в своем непоколебимом величии красив, как никогда. Тут как-то, возвращаясь пешком по одной из улиц, видел резвящихся ребятшек на солнечной стороне. Не хотелось верить, что идет война, и мне казалось, что иду домой, где ждет меня моя милая Валюшка. Ну ничего, это будет. Скоро опять засияет жизнь!

Ну пока, мои дорогие. Крепко поцелуй ребятшек. Привет от папы и тети Нюты. Крепко целую и обнимаю тебя. Твой Толя.



Пыльнов Евгений Петрович

Родился 21 января 1919 года, г. Москва.

В 1941 году окончил Астраханское стрелково-пулеметное училище.

Погиб 5 июля 1943 года у д. Быковка (230-й отдельный танковый полк, 6-я гв. армия).

Лейтенант.



Перед отправкой в Красную армию,
21 июля 1941 года



После второго ранения,
31 апреля 1942 года



Москва, ул. Осипенко, 77, кв. 43.
Пыльновой Валентине Петровне.

Здравствуй, дорогая сестра Валя!

Привет папе, маме и Валерику. Валя, я уже подъезжаю к фронту, уже встречаются немецкие стервятники. Чувствую себя хорошо, здоровье

тоже хорошее. Валя, о вас я ничего не знаю и скучаю. Пишите, возможно, и получу от вас. Валя, если кто мне на дом написал, перешли мне обязательно.

С приветом, целую, твой брат Женя.

16-3-43 г.

Мой адрес: Полевая почта 124, часть 81.



Тая ЛАРИНА

Тая Ларина родилась в 1987 году в Москве. Окончила Литературный институт имени Горького. Лауреат премии «Триумф» (поэзия, 2009). Публиковалась в журналах «Юность», «Новая юность», «Нева», «Кольцо А» и других. Автор книги стихотворений «Просто».

Осторожно: стихи!

Прошлого нет, и будущего нет. На самом деле нет ничего. Кроме той секунды, которую ты переживаешь в данный момент. «Переживаешь» — как будто «пережидаешь». Где-нибудь на заброшенной железнодорожной станции с выцветшими от солнца деревянными лавочками и пыльной травой на путях. Между прошлым и будущим, которых — ясное дело — нет. Но иногда ты вдруг перестаешь ждать, резко и остро чувствуешь что-то, что вполне могло бы быть жизнью. Если бы ты знал, что такое жизнь. В эту секунду ты перестаешь понимать и начинаешь чувствовать: что нет ни прошлого, ни будущего; ни мира вокруг, ни мира внутри; что ждать не нужно. В эту секунду тебе становится невыносимо больно. И именно этого, этой боли ты ждал здесь, на пустом перроне. Поздравляю, с тобой случилась жизнь.

Как ни странно, больше всего мотивирует к жизни именно мысль о том, что завтра (или даже сегодня) все может закончиться. Наконец-то или к сожалению. Не так важно. Важно, что вот ты сидишь страдаешь, тебе вполне серьезно плохо, а потом — бац! — и все — тебе уже никак. Поезд пришел на станцию. И оглядываясь из окна, ты

только и сможешь вспомнить себя сидящего и страдающего из-за какой-то — абсолютной и совершенной (а это стопроцентно) чуши. Ждущего. Понимающего. Не чувствующего. Ибо страдать и чувствовать — далеко не одно и то же.

При чем здесь стихи? Все очень просто. Просто тот момент, когда ты выбираешься из ожидания, захлебываясь и хватая воздух ртом, ложишься на траву или асфальт, несколько секунд смотришь в небо — перед очередным прыжком в пустоту — сразу же, сейчас же превращается в стихи. Беззвучные, не облаченные в слова, стихи. Перекрывающие боль и страх. И вот потом, стоя на своем любимом перроне, ты смотришь на убегающие вдаль (классика же) рельсы и вспоминаешь. Несуществующее прошлое. Подбираешь для него слова. Чтобы сохранить его в несуществующем будущем. Чтобы стихи перестали колоться изнутри, ты вычитываешь их на ветер, и он послушно несет строчки вдоль путей — к следующей станции... Когда они долетают до человека, бесцельно болтающегося на соседнем перроне, его накрывает. Он перестает понимать и начинает чувствовать.

Такая вот вирусная инфекция.

Тая Ларина

ИЗГНАНИЕ

Нас выгонят с тобой из Рая
За то, что мы живем играя,
За то, что мы не понимаем
Серьезности тех перемен,
Что здесь не происходят с нами,
Реальность подменяя снами,
В который раз рисуем знамя
Потерянных знамен взамен.
Нам скажут: «Нужно быть взрослее».
Взрослее — это значит «злее», —
Виски от страха побелеют
У тех, кто предпочел бы плен.
Но пленных не берут в изгнание
И не вернуть уже познания
Ни ясеню, ни Мариванне,
Возле одной из школьных стен
Тебя не расстреляют снова.
Вот выписка твоя готова,
И ты уже не Питер Пэн.

* * *

Расскажи мне о звездах в космической глубине,
Расскажи, что еще не поздно летать во сне,
Расскажи, что еще не страшно идти домой,
Расскажи, что ты будешь всегда со мной.
Я закрою глаза и поверю всему-всему,
Я не буду спрашивать: «как это?», «почему?»,
Я не буду плакать и больше не буду пить.
Мне не будет больше страшно дышать и жить.
А когда ты уйдешь и оставишь меня опять,
Я всю эту ложь буду шепотом повторять.

* * *

Знает всех своих призраков по именам,
Всех своих монстров узнаёт в лицо и с затылка.
— Девочка, девочка, ну же, скорее, к нам, —
Тянутся тонкие руки со дна бутылки.
День ото дня все сильнее сквозная боль.
— Девочка, девочка, что же ты нас забыла?
Люди приходят, уходят. А мы с тобой.
Что бы ни происходило.
Чтобы не происходило той ерунды,
Которая все происходит, как ни старайся,
На тебе, девочка, на тебе сон-воды,
Не просыпайся.
Наливают, подносят бокал к губам.

Отражение в зеркале шепчет: «Будем».
 — Милые призраки, я благодарна вам,
 Милые монстры, ну и зачем нам люди?

Звезды

Как человек, летавший в космос много раз,
 Он говорит, и приговор здесь четок:
 «Всю эту чушь придумали для вас,
 Таких вот малолетних идиоток».
 «Не существует звезд, — он говорит. —
 И я готов поклясться на ракете —
 Все то, что светит вам, — совсем не светит,
 А просто синим пламенем горит».
 Он говорит, не поднимая глаз,
 Не выключая джаза в кабинете.
 И страх, ползущий по его планете,
 Прохладным краем накрывает нас.

* * *

Если ты не придешь, я не умру, мой милый.
 То есть, конечно, умру — лет так через сорок.
 Знаешь, к скольким я так же не приходила? —
 На целую жизнь хватило бы отговорок.
 На целую жизнь с детьми и уютным домом,
 Машиной, кошкой и яблонями на даче.
 Только мне все казалось, что мы с ними незнакомы,
 Это все понарошку, а жизнь — ничего не значит.
 Подумаешь — внуки, подумаешь — завещанье,
 Подумаешь — чья-то любовь до чьего-то гроба.
 Все это глупые глупости. Ты обещал мне.
 Но обещанья не сдерживаем мы оба.
 Если ты не придешь, придет какой-нибудь мальчик,
 Который докажет, что в общем-то тебя нет.
 Я ему не поверю и даже немного поплачу,
 А потом проживу с ним оставшиеся сорок лет.

* * *

Ты пытаешься сделать из этой квартиры дом:
 Моешь полы, покупаешь на стол клеенки,
 Учишься печь пирог и думаешь о ребенке.
 Этот сценарий до боли тебе знаком, —
 Он не вторичен, он просто уже родной —
 Ни за что не остаться одной
 В этом страшном мире.
 А если захочешь чего-то еще весной —
 Цветы заведешь. И расставишь по всей квартире.

МАНТРА

Ну что ж, я была бы собою довольна,
Десятилетняя я. Плакать нельзя,
Даже если больно, даже если вокруг друзья.
Плакать нельзя, потому что слезы —
Это для девочек. Больно? — бей.
— Нету на свете Деда Мороза.
— Нету на свете сказки глупей!
Плакать нельзя, потому что слабой —
Бабой — окажешься. Лучше так:
Больно? Лезвием накорябай
На сгибе локтя: «Иванов — дурак!»
Плакать нельзя, потому что, детка,
Всем наплевать вокруг,
Тушь потечет, углядит соседка,
Мир уплывет из рук.
Мир, который был завоеван
В честном мужском бою.
Потом — иди — доказывай снова
Силу и злость свою.
Плакать нельзя, потому что слезы
Сразу сбивают с ног.
— Ну и пускай, нет Деда Мороза.
Зато существует Бог.

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА

Он купит мне квартиру на Арбате,
И платье, и щенка. Но вот в чем дело:
Мне этого всего теперь не хватит.
Я вообще не этого хотела.
А я хотела прогулять английский
И у подъезда долго целоваться...
А он все: «Котировки, биржи, риски...»
И на любовь в неделю — час пятнадцать.
Но убежать с сантехником Серегой
Не хватит мне ни смелости, ни страсти —
Я помню: «англичанка» смотрит строго,
И губы вместо «ba» лепечут: «Здрасте».

Дом

Когда квартира превратится в дом,
В ней станет и уютнее, и чище.

Я знаю, что свободы тот не ищет
Кто с этою свободой знаком:

Возможность приходить сюда в ночи
 И, двери за собой не закрывая,
 Надеяться, что не найдут врачи
 Тебя, покуда ты еще живая,
 Что не продлится эта пустота:
 Чужие руки, голоса и лица...
 Возможность ластиком стереть себя с листа
 И даже вырвать мятую страницу.

...Когда ты эту смерть переживешь,
 Захочется продолжить жизнь в уюте,
 И ты поймешь — хроническую дрожь
 В тебе включали сквозняки по сути,
 А вовсе не усталость и вина —
 И в форточке растает дух вокзала.

Я так хочу, чтобы моя страна
 Мне наконец-то Родиною стала.

* * *

Идут железные вагоны,
 Набитые горячим мясом.
 Ты теплой и немного сонной
 Вливаешься в тугую массу,
 В ней растворяться не умея, —
 Положенные двадцать три
 Стоишь и чувствуешь: немеет
 И больно колется внутри
 Все то, что ты сама хотела
 Из тела вынуть целый год.
 Здесь консервируют умело:
 Еще пять лет — и боль пройдет.

СЧАСТЬЕ

Я пытаюсь рассказать тебе о счастье,
 Улыбаюсь и говорю, что «вот, солнце, лето...».
 Для тебя это пазл, ты его разбираешь на части,
 И каждый фрагмент подносишь безжалостно к свету.
 Говоришь, что летом обычно ужасно жарко,
 Вспоминаешь про солнечные удары.
 Мы идем с тобой по цветущему майскому парку,
 А ты видишь ограды и тротуары.
 И посреди вот этого тротуара —
 Из костей и мяса,
 В разноцветном платье —
 Я совсем не кстати.
 Я тебе не пара.

Даже странно, что ты не понял сразу.
Представляешь, в дикие верю вещи,
Например, утверждаю, что есть душа
У собак и кошек, и даже женщин.
Но когда заткнусь, очень хороша.

ИЗ СЕБЯ

От себя не свалишь за границу,
Даже замуж из себя не выйдешь.
Видишь — кто-то в зеркало глядится? —
Видит ровно то же, что ты видишь.
Видит перепуганные лица,
Надпись, что читается как идиш:
«Ничего из этого не выйдет.
Никуда ты из себя не выйдешь».

ЖЕНЩИНА

Скажите мне, что я не виновата,
Что я могу по-прежнему дышать.
Я дочь солдата, и жена солдата,
И мать солдата. И не мне решать,
Кому из них ложиться в эту землю,
Кому из вас по той земле идти.
Земля всех примет, пусть не все приемлют
Такого недалекого пути.
И тот, кто наступает на могилы,
И тот, кто под могильным камнем спит,
Когда-то отзывались на «мой милый»,
Что высечено на одной из плит.
Скажите мне, что я не виновата,
Что для земли рожаю семена.
А большего мне говорить не надо.
Все остальное не моя вина.

КАРАНТИН

Когда решаются серьезные дела,
Ты по инерции становишься в сторонку.
Не потому, что трус — я поняла, —
Ты остаешься солнечным ребенком,
Рожденным, чтобы радовать родных,
Инфантом полуслова, полужеста,
Ты нужен для фиест и выходных,
Но на войне тебе совсем не место.
А вот у нас теперь везде война,
Куда ни отворачивайся, милый.

Ты убеждал меня, что я больна.
 Ну что ж, возможно, так оно и было.
 Но вот теперь объявлен карантин.
 Скорей беги, сейчас закроют двери.

А ты ведь был у мамочки один
 И ни в какую Родину не верил.

* * *

Примерно то же ощущение —
 Тупое жжение в душе —
 Когда ты бьешь на поражение
 И демонстрируешь туше.
 Когда враги от боли корчатся,
 Ты словно в зеркало глядишь.
 И побеждать уже не хочется.
 Но все равно ведь победишь.

* * *

У мамы красная помада,
 У папы черный дипломат.
 Меня забрали из детсада,
 Про школу что-то говорят.
 А мне плевать, что в этой школе
 Я разучусь дружить совсем.
 Смотрите: мама, папа, воля
 И я мороженое ем!

Зима

Это не мальчик по снегу бежит за окном,
 Мальчик из плоти, и крови, и звонкого смеха,
 Мальчик в оранжевой куртке, отделанной мехом,
 Каждую зиму мелькающий в мире твоём.
 Это не снег. Снег, летевший из мрака всю ночь,
 Чтобы к утру мир проснулся сияюще-белым.
 Вот снеговик во дворе. Знаешь, кто его сделал?
 Ты все проспал, а ведь мог бы спуститься помочь.
 Это не день, уходящий в закат навсегда.
 Это бежит со всех ног от тебя твоё детство.
 Время на голову сыплется — некуда деться —
 Словно сугробы, растут за плечами года.

Мальчик проснется и выйдет, зевая, во двор.
 Ух ты! Мороз! Поскорей добежать бы до горки!
 Дедушка санки с дачи сегодня привез.
 Дедушка что-то грустит... Может, кофе был горький?

* * *

Золотистые волосы вдруг превратятся в седые.
Конечно, не за ночь. Но за ночь ты это поймешь.
И в ванной наутро не хватит горячей воды и
времени, чтобы унять эту нервную дрожь.
Пойдешь так, как есть, — по делам. Выбегая из дома,
очнешься и вспомнишь, что дел больше нет никаких.
Замрешь на углу возле старой витрины знакомой.
В ряду манекенов застыв, растворишься среди них.

* * *

В двадцать лет нужно быть пламенной,
В тридцать лет нужно быть верной.
А у этой — вон — сердце каменное,
Душа фанерная.
У нее же — кожа да рожа,
Шмотки — только бы подороже,
А любить-то она не может,
И дышать-то она не может.
По Земле кругом ходит-бродит.
Если не знаком — баба вроде —
В голове пустой ветер свищет.
И в спине пустой ветер свищет.
Оглянись, постой,
Не тебя ли она ищет?

Вода

Пустота твое сердце заполнит, подняв со дна
Обрывки писем, остатки ненужных слов.
Ты увидишь, что ложь
Твоя стала им всем видна.
По инерции снова — в стотысячный раз — совершь,
Что тебе все равно, что ты руки давно умыл,
Что тебе хоть потоп — ты ушел с головой в дела.
...Лишь круги на воде над тем местом, где снова сил
Не хватило понять: для чего эта жизнь была?

* * *

Ты почти с наслаждением чувствуешь эту боль —
Всей душой (под лопаткой она отдается в тело).
Жизнь уверенно ставит в каждой клеточке ноль.
Ты еще не поставил свой крест, ты несешь его неумело —
На плече, на спине, прижимая локтем к груди —
Сквозь свою бестолковую жизнь — прямоком в бессмертье.
И пока он с тобой, что-то светится впереди,
И тебе еще верят, когда ты зовешь: «Поверьте!»

* * *

Я — человек, стоящий за правым твоим плечом
В черном костюме с прорезями под крылья.
Я могу быть юристом, секретарем, врачом,
Я направляю твои самолеты и автомобили,
Я покупаю бабам твоим цветы,
Я выбираю туры и рестораны.
Работа моя заключается в том, чтобы ты
Никогда не подумал, что все это как-то странно.
Чтобы ты был спокоен, ступая на гладь воды,
Чтобы сами собой открывались внезапно двери.
Короче, работа моя заключается в том, чтобы ты
Никогда-никогда ни за что бы в меня не поверил.

СЛОВА-ОБРАЗЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Юрий Норштейн о науке сочувствия, о символах и о любви



Юрий Борисович Норштейн очень занятой человек. Он создает образы, которые наполняют существование творческим смыслом. Тонким веретеном образы, созданные художником-мультипликатором Норштейном, вплетаются в нашу жизнь и открывают в ней свет и тень, мудрость и красоту, добро и любовь. Наверное, так они становятся бессмертными, а вместе с ними, может быть, и мы, зрители...

В 1984 году на Олимпиаде искусств на заочном опросе кинокритиков в Лос-Анджелесе фильм Норштейна «Сказка сказок» был признан лучшим фильмом всех времен и народов в мультипликации. В 2002 году анимационный фестиваль в Загребе проводил такой же опрос, и фильм «Сказка сказок» вновь был признан лучшим фильмом мира. В 2003 году фильмы «Ежик в тумане» и

«Сказка сказок» (которые знают и любят не только в нашей стране, но и во всем мире) на международном опросе кинокритиков и режиссеров в Токио признаны лучшими анимационными фильмами всех времен и народов!

Мы встретились, чтобы поговорить о Дне Победы, о том, какой это важный праздник, ведь детские годы художника, время, когда формируются самые яркие, светлые и запоминающиеся образы, определяющие потом всю дальнейшую жизнь, пришлось у Норштейна на трудные послевоенные годы. Если вы смотрели мультфильм «Сказка сказок», вы поймете, почему именно с создателем этого мультфильма можно и нужно говорить о Дне Победы. Этот фильм понятен носителям любого языка, он о главном, о вечном. А если вы его не смотрели, то возьмите детей, своих близких, любимых и в День Победы вместе посмотрите этот мультфильм. Дети ведь любят мультфильмы, верно?

Мы сидели с Юрием Борисовичем в маленькой комнате в киностудии и разговаривали. За занавеской солнце выходило из-за туч и снова пряталось, как будто слушая наш разговор и сопереживая истории мастера, то торжественно освещая его, то погружая его лицо в сероватую дымку, словно в туман, созданный на монтажном столе в его картинах... В какой-то момент нам почудилось, что Юрий Борисович открыл в этом тумане времени знакомую только ему потайную дверцу — и комнату стали заполнять волшебные образы, запахи, звуки его удивительной творческой жизни и далекого детства...

— Юрий Борисович, а ведь слово создает образ?

— Я вообще люблю именно этот оборот: слово-образ. Если мы возьмем детскую речь, то более метафорическую речь трудно найти. Я полагаю, что пушкинское влияние и пушкинское впечатление такое сильное, потому что сквозь его удивительное звучание проходит детскость, которая из него так никогда и не вышла. Ну, это мы знаем по его поведению. У меня есть любимый эпизод,



в котором полная характеристика Пушкина-дитя. Когда Пушкин пришел к Вяземским, не застал их дома, и с их маленьким сынулей стал забавляться и играть. Когда родители вернулись, то увидели следующую картину: на ковре на четвереньках оба стоят друг напротив друга и плюются! Это все вписывается в понятие «слово-образ». Поэтому я очень люблю Маяковского — у него «слово-объектив». Маяковского ругают сегодня, но это время пройдет. Пушкин, очевидно, владел в своих сочинениях каким-то праязыком, празвучанием, которое потом вылилось в речь, из которого образовались слова и нашли свои соединения. Может быть, если опустить перпендикуляр куда-то в мезозойскую эру, где-то там эти звуки сходились, перекликались. Вообще, очевидно, понимание, откуда возникает речь, можно проследить на детском лепете. Дети ведь дают названия вещам. Они дают их в соответствии с физическим ощущением этой вещи. Кроме того, мы же знаем, что есть слова, которые в буквальном смысле отражают материальную сторону явлений, в данном случае звук отражает. Слово «колокольчик» отражает сам перелив, и в немецком, например, слово «звенеть» звучит как «клинген» (klingen), очень похоже. Или вот, у меня был один армянский друг, замечательный режиссер-мультипликатор Роберт Саакянц. Я помню, мы с ним сидели как-то, пообедали, и он мне сказал: на, возьми лолик — это значит «помидор». Понимаете, лолик! Звукосочетание, оно уже определяет форму. Так же, как журавль

«курлыкает», а это очень отражает само звучание из поднебесья вот этого звука, который оттуда неслется к нам. По-армянски журавль — «крунк».

Слово в буквальном смысле отражает какие-то концентраты, пересечения, нервные узлы материального мира. Кто-то сказал, что стихи Пастернака нужно читать в туберкулезном диспансере, потому что они таят в себе такую свежесть, которая невольно проникает в человека и отодвигает от него болезни. Человек проникается совсем другим и увлекается, идет в другую сторону. Есть же такие случаи излечения болезней. Где-то я читал, что один смертельно больной раком человек решил, что ему уже все равно и отправился в путешествие на паруснике один, а приплыл здоровый, потому что вся его страсть, все существо было устремлены совсем на другое. В этом случае, можно сказать, что болезнь обиделась и ушла. Такова сила этих устремлений. То же самое относится в большой степени и к кинематографу. Хотя, проработав столько лет в кинематографе, я его по-прежнему не очень жалею, я не могу его определить и прикнуть его к числу высоких сущностей искусства. Ну хотя бы потому, что он очень материален и на преодоление этой материальности уходят огромные силы. Во всяком случае, для меня это постоянная проблема, с которой я воюю буквально не на жизнь, а на смерть. Это мучительная история, но ничего с этим не поделаешь. Конечно, можно легко обойтись всеми теми «наигрышами», которые путешествуют в кинематографе из фильма в фильм, всякие там пресловутые «восьмерки». Но если речь идет о течении действия, через которое ты должен сказать что-то, при этом не просто сказать прагматически, как человек изложит в каком-нибудь заявлении на имя начальника, а сказать это в соответствующей метафорической форме, — тут и вспоминаешь рисунки детей. Дети дают названия вещам, не зная подлинного их значения, и это замечательно! Давая названия, каждый ребенок создает новый мир. Художник занимается тем же самым, но, прежде чем создавать новый мир, он должен оглядеть тот мир, в котором он живет, и создает он этот мир на таких созвучиях, кинематографических в том числе (во всяком случае, должен создавать), которые до него просто не существовали! Вот тогда появляются, быть может, небывалые стихи, небывалая живопись и небывалое кино, включается воображение. Отражение физической материи ничего не означает, кроме физической материи. Где нет воображения, там нет искусства.

Проблема постоянного перехода от слова к изображению просто преследует меня по ночам,

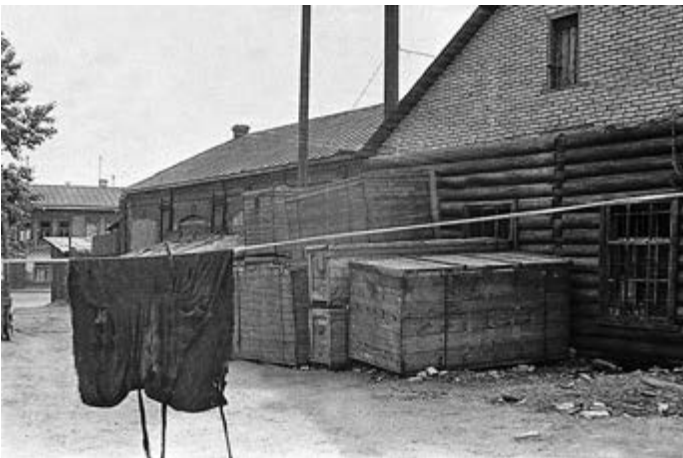
и я начинаю ворошить про себя еще не снятые планы и думать: «А правильно ли, что они вот так развиваются?» И этот момент ужасен — если ты переводишь предполагаемое на такой вот вербальный, объясняемый себе язык, в этот момент заканчивается то самое искомое чудо. Ты должен любыми путями создать себе условия такой непосредственности, когда тебе кажется и окружающие думают: вот сейчас, в этой точке, в данное время и в данную долю секунды, произойдет что-то чудесное. Неуходящая детскость является едва ли не главным инструментом в работе.

— Какое для Вас на вкус слово «доброта»?

— Я люблю такие слова, как «милый», «дорога», «листобой», «доброта»... Слово «доб-ро-та» имеет вес, его можно на руке потрогать, оно тяжелое. Вот это сочетание звуков «д», «р», «б», очень связное, причем ни один из этих звуков не агрессивен. Если я произнесу слово «лез-ви-е», то мы сразу понимаем: оно тонкое, оно режет. А слово «доброта», оно может спокойно лежать, присмирев, оно не поранит руку. А на вкус слово «доброта» горьковатое, оно благородно-серое с какими-то голубовато-золотистыми крапинками. Слово «доброта» дробится, и каждый отдельный кусочек может нести в себе это счастье. Еще это слово теплое, с холодными оттенками, оно может прижечь руку, но не больно, ни в коем случае не поранить, оно остается все равно в полноте своего смысла.

— А слова «День Победы», как они звучат для Вас?

— Для меня этот день связан с очень драматичными обстоятельствами. Девятое мая, солнце светит, мне три с половиной года, мы живем в Марьиной Роще, вся она двухэтажная, деревянная... Моя



Марьиная Роща



Мы с моим братом Гариком. Гарик справа, я слева.
Июнь 1944 года

тетя Белла (родная сестра моей мамы) вернулась с фронта в апреле 1945-го беременная (на фронте она вышла замуж). Потом, уже после войны, приехал ее муж дядя Коля. Она приехала, родила, и у нее вскоре умер ребенок от заражения крови. Она кормила меня своим молоком. Такая была история, и надо мной смеялись: «Ласковое дитя двух маток сосет». Я помню, мама кипятила белье на керосинке. Ну, как тогда было? Бак, туда загружалось белье, и все это бурлит... Кстати говоря, сейчас хаотично керосинку, но в те времена готовили на керосинке, она нас спасала, она, оказывается, дает мощный нагрев. Я это понял потом, в 70-е, когда мы с Франческой и детьми снимали дачу в Подмошье. Оказалось, что фитильки керосинки дают очень мощную энергию.

Так вот, мама кипятила белье, у нее в руках была такая большая скалка деревянная, она ею ворочала белье, а во дворе в это время большие ребята по шестнадцать-семнадцать лет (почти у всех у них много позже были тюремные судьбы) говорят мне: «Вот сейчас мы твоего брата и повесим!» К сожалению, из песни слова не выкинешь. После войны очень долго еврейская тема висела смогом: «Жаль, что вас всех Гитлер не перевешал». Это я испытал, так сказать, на своей шкуре. К сожалению, в то время везде была такая бродячая тема. И они взяли веревку, эти ребята... У нас во дворе стоял электрический столб, к нему привязывали бельевые веревки, развешивали белье,



Родители и родственники в нашей комнате в Марьиной Роще.
Слева папа и мама

крюк в стене дома и веревка тянется от дома до столба, подпиралось белье большими палками трехметровыми. Те, кто жил в коммуналке, знают, что это такое. Так вот, они действительно взяли веревку, моему брату Гарику было тогда пять с половиной лет, он на два года меня старше, и они в буквальном смысле намотали ему на шею веревку... Понимаете, может быть, это была шутка, но ведь известно, сколько шуток заканчивались трагедиями... Я бжегал в дом в ужасе и кричу: «Мама, Гарика хотят повесить!» Мама, как была с этой скалкой, вылетела во двор, увидела эту компанию ребят, как она на них бросилась! Они врассыпную! Что такое разъяренная мать — можно представить. Я читал, что был случай, когда в деревне мать увидела, как четверо солдат ведут убийцу ее сына, она расшвыряла этих солдат, как нечего делать! Вот такая сила ярости. Конечно! «Пусть ярость благородная...», тут никуда не денешься от этого, тут никакие христианские мотивы не работают. И вот этим событием для меня был означен День Победы... Это был 1945 год. Понимаете, я же тогда еще был маленький, я не знаю, что такое война, что такое Победа, для меня эти слова гораздо позже обрели священное значение и вошли в состав «Сказки сказок»... Солнце светило, вот это, наверное, и есть Победа...

— Как потом сложилась судьба Вашего брата, Гарика?

— Вообще его зовут Григорий, Гариком его всегда называли в семье. Так же, как мою жену

Франческу в семье называли Ляля, хотя она Франческа, и я ее никогда не называю Лялей. Теща моя всегда говорила ей: «Лялечка...» Первое время я даже вздрагивал. Имя Франческа дал ей отец. Он был на фронте, и, когда родилась девочка, он написал: будет имя Франческа. Он поляк был по национальности. За все время, сколько мы с Франческой живем, я второго такого имени не встретил. Вы знаете, моя Франческа вполне рифмуется со своим именем.

У моего отца был абсолютный музыкальный слух, тончайший. Он не владел никакими музыкальными инструментами, только голосом и еще в большей степени свистом. Он Вагнера свистел! У него была невероятная музыкальная память, слух и память — это раз-

ные вещи. Но воспроизведение... Я работал с композитором Мееровичем, у которого абсолютный слух, но когда он пытался напеть, я так хохотал! Он на меня удивленно смотрел, когда играл на рояле и пел, а я ржал: «Боже мой, Михаил Александрович, ужас!» Он спрашивал: «Что, произведение?» и, божественно играя мелодию, что-то кошмарно фальшиво подсвистывал! Отец мой знал огромное количество музыки. Как я понимаю, у него Шуберт был один из любимых композиторов, и вообще немецкие композиторы ему были очень близки и Вагнера он любил. А ведь Вагнера свистеть сложно, его играть-то сложно. Как он из этой сложнейшей оркестровки выуживал мелодию — для меня так и осталось загадкой. Так вот, брата моего в шесть лет мама отвела в музыкальную школу и взяла меня с собой, поскольку ей не с кем было меня оставить. Мы пришли, и Гарика экзаменовал преподаватель, ноты ему играл, и Гарик воспроизвел все точно. Его зачислили в музыкальную школу. Преподаватель предложил прослушать и меня. Я пропел. Потом преподаватель вышел к маме и сказал, что старший очень талантливый, но и младший просто огонь! Надо его тоже в музыкальную школу. Но я категорически сказал: «Меня отдайте в школу, где пишут!» Но я имел в виду школу, где рисуют. Так не получилось из меня музыканта. Я сейчас об этом жалею сильно, потому что владеть нотной грамотой мне бы не мешало, было бы намного проще работать с композитором, когда речь идет о сочинении музыки для фильма.

Брат много занимался дома музыкой, я все это слушал, наматывал мелодии на память, вообще у нас в доме была атмосфера довольно музыкальная. Гарик очень хорошо учился в музыкальной школе, играл на скрипке, но через несколько лет трагически погиб его учитель Василий Васильевич. Он очень любил Гарика, выделил его сразу из всех учеников и поэтому драл с него три шкуры. Гарик рассказывал, что иногда бывало так, что вылетал из класса он, а за ним скрипка, образно говоря... Но при этом, когда все было удачно, он мог показывать Гарика коллегам и говорить: «А? Экземплярчик!» У него был восторг от того, что он участвует в строении талантливого музыканта.

Вообще учитель — одна из фундаментальных фигур в жизни человека. Это в сегодняшнее время учитель сведен к роли участника опыта Павлова, когда нажал на кнопку — пункт удовольствия, да-нет, звонок — бежишь к кормушке. Вот к чему мы привели сегодня учителя с этой системой тестов ЕГЭ. Даже звучит мерзко. А здесь учитель был восторжен, он проявлял в ученике его дар, чтобы потом, услышав своего ученика где-то со сцены, сказать: «Моя часть в нем тоже присутствует!» Гарик его обожал. И когда он попал к другой преподавательнице, все кончилось... Она сидела так равнодушно: «Ну, сыграй мне...», при этом семенила что-то пальцами по роялю. Гарик говорит: «Я однажды расплакался!» Понял потерю. Он окончил музыкальную школу, поступил в училище, играл в оркестре, но судьба музыканта не сложилась. Но поскольку Гарик рукастый человек и владел навыками столярного мастерства, он пошел учиться к скрипичному мастеру, который гонял Гарика в хвост и в гриву, иногда до жестокости. Я часто повторяю фразу Гамлета: «Из жалости я должен быть жесток». Очевидно, в этом принципе обучения «мастер — ученик» было что-то от мастерских школы Возрождения — это дало Гарика такой «волшебный пинок», на всю дальнейшую жизнь. Мастер вложил в него тонкое понимание скрипичного мастерства, такую хватистость, способность мгновенно ориентироваться в скрипках старых скрипичных мастеров. Мой брат стал прекрасным профессионалом, скрипичным мастером и реставратором, работает в Институте имени Гнесиных.

— Как Вы считаете, что для сегодняшней молодежи может быть настоящим символом Победы? Ведь поколение тех, кто помнит то время, к сожалению, постепенно уходит.

— Я вряд ли вам смогу на это ответить, потому что я вообще не очень люблю всякую символику.



Мы (Юра, Франия, Боря, Катя) на даче. 1974 год

Редкий случай, когда символика соответствует самому событию. Может быть, песни Окуджавы? Тем более что он в одной из своих знаменитых песен написал, не помню точно, но смысл такой: чтобы памятники не превышали наших побед, или звон не превышал саму суть победы. Мне трудно сказать, ведь символом Победы может быть любая, самая незначительная деталь. Но такой обобщающий символ... Ведь вы понимаете, что Победа трагическая?! Это трагическое обстоятельство! Сколько бы там ни салютовали взятию какого-то города, конечно, все были в восторге, но со слезами на глазах. Это фраза «со слезами на глазах» сегодня стала такой декоративной, а на самом деле не просто со слезами на глазах, а с абсолютно истерзанной, израненной душой, до невозможности, почти до гибели. Победа — это такой сложный узел драматургический, и в нем очень сложно разобраться, особенно если все время показывать только одну сторону, сразу возникают сомнения в правдивости. Молодые ребята должны учиться искусству сочувствия, тогда они

начнут понимать, какой ценой досталась Победа. Потому что просто так подойти и ленточку георгиевскую повесить какому-нибудь старику, который уже еле ноги волочит... Это все красиво, конечно, но научиться сочувствовать — это связано кое с чем другим, и не обязательно с войной. Человек не должен отвращать своего лица от человека страдающего, это должно быть в душе, этим нужно жить. А сегодняшняя фраза «Это ваши проблемы» обозначила наше разделение. «Как бы», вот у нас эта фраза поселилась в языке, и все идет *как бы*. Как бы любовь, как бы правда, как бы жизнь... Я в ужас прихожу — сегодня литераторы говорят «как бы», ученые говорят «как бы»...

Я вам не могу сказать, какой символ мог бы быть сегодня символом Победы, но знаю только одно: молодые ребята должны читать стихи этого времени и до этого времени, читать книги... Строки поэтов наполнены энергией времени. Если мы начнем все в кучу сгребать, то не получим ощущения времени, мы получим помойку, и она будет пахнуть, протухать... Нельзя каждый раз переписывать историю заново под актуальный политический момент. Есть нерушимые поэтические знаки войны, они от поэтов, погибших на войне, и живых. В шестидесятые годы я впервые узнал имена поэтов Когана, Кульчицкого, Майорова, Николая Отрады.

И когда скомандует пуля «не торопиться»,
И последний выдох на снегу воронку выжжет
(Ты должен выжить, я хочу, чтоб ты выжил),
Ты прости мне тогда, что я не писал тебе писем.

Эти стихи Павел Коган написал до войны, они пророческие. Это романтический взлет невероятный! Сам образ: «последний выдох на снегу воронку выжжет» — и ты видишь этот крупный план. Вот оно, материальное воплощение слова! Вот она, война. Это одна из трагических сторон. Война прерывает линию творчества и жизни. Это гигантская потеря, потому что мы не можем уже вообразить, как бы развивалась жизнь, если бы она не была прервана... Это можно проследить и на примере одной жизни, и на примере целого народа, когда прерывается то, что могло бы жить, а переходит в жернова перемалывания войны...

— *Юрий Борисович, слово «любовь», какое оно для Вас на вкус, цвет, запах?*

— Я отвечу несколькими строками из предисловия к моей книге о мультипликации «Снег на траве»: «...но самые выдающиеся учителя — мои внуки и вообще дети. Глядя на их исполненные простодушия улыбки, на нежные узкие плечики, окаймленные рубашечками, понимаешь, что все мировое искусство имеет смысл, если в наших душах открывается любовь». Понимаете, для меня любовь — это не то, что связывает юношу и девушку, а то, от чего я отталкиваюсь, чтобы начать понимать мир. У меня всегда страшная печаль, когда я смотрю на детей, я не знаю, какая у них будет жизнь, но я знаю только, что без моей помощи они не смогут выжить. Любовь — это то, что без помощи тебя не выживает.

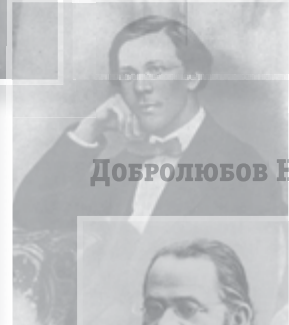
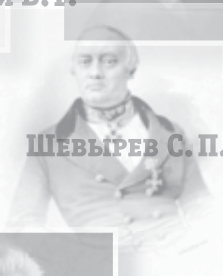
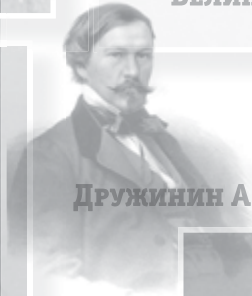
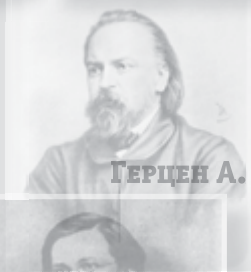
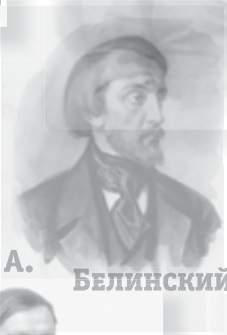
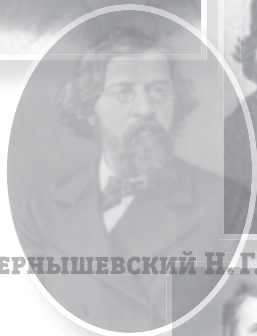
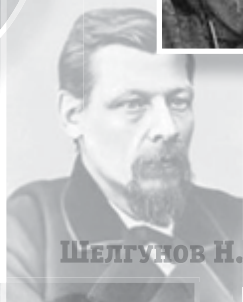
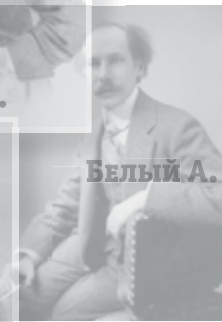
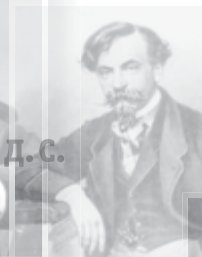
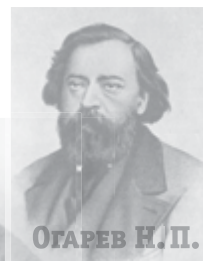
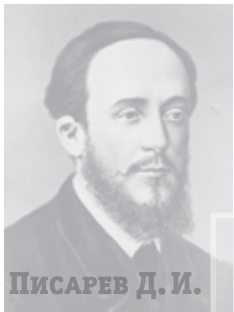
Беседу вели Константин Кушелев и Максим Коршунов

Константин Кушелев родился в 1971 году в Ленинграде. Живет в Санкт-Петербурге.

Фотохудожник. Окончил авторскую студию фотохудожника Олега Каплана. Юность отдал флоту. Много путешествовал. С 1991 года работает в печатных СМИ как фотокорреспондент и автор публикаций. Увлекается музыкой и документальным кино. Женат, воспитывает дочь. Ценит в людях доброту и творческое начало. Любит семью и Родину.

Максим Коршунов родился в 1969 году. Окончил Северо-Западную академию государственной службы. Второе образование — практический психолог. В 1993 году начал трудовую деятельность в петербургской газете «Смена», работает в издательском бизнесе и печатных СМИ уже более двадцати лет.

Страницы Льва Аннинского





Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год,
в № 1–12 за 2014 год, в № 1, 2, 3, 4 за 2015 год

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

В 1956 году я окончил университет. Расставание получилось грустным, при всех ожидавшихся успехах. Меня распределили в аспирантуру, я выдержал конкурсные экзамены и приготовился писать диссертацию. Все рухнуло из-за... международных событий: вспыхнуло антисоветское восстание в Будапеште; как выяснилось, его готовили завсегдатаи Кружка Петефи; наши власти убоялись аналогичных настроений в нашей литературоведческой элите и решили срочно ее оздоровить (орабочить): отныне брать в аспирантуру только тех выпускников, у которых за плечами стаж практической работы.

У меня стажа не было. Мне (как и другим моим однокашникам, пришедшим за пять лет до того в студенчество со школьной скамьи) тихо вернули в деканате документы.

Погоревав, я пустился в вольное плавание. Два месяца ходил без работы, полгода мучился в ре-

дакции журнала «Советский Союз» и, наконец, причалил в «Литгазету».

Душа успокоилась в занятиях литкритикой, а потом — в поисках подробностей моей казачьей родословной.

По ходу этих поисков в архивах Области Войска Донского обнаружился список казаков, мобилизованных в 1864 году и отправленных в Будапешт из станицы Ново-Аннинской... В списке числился некий Иванов... Иванов — наша родовая фамилия, Аннинский — псевдоним моего отца. Подсчитав времена, я сообразил, что Иванов, отправленный тогда в Венгрию, — мой прапрадед. Зачем его туда отправили, нетрудно догадаться.

Со скрипом, похожим на смех, завязался в моей судьбе причинно-следственный узел. Прапрадед давил восстание в Будапеште — век спустя мадьяры пустили под откос мою диссертацию.

Долг платежом красен...

Продолжение следует.



ВАЛЬПУРГИЕВ КОПОТ

Если бы Марк Захаров положил в основу спектакля только повесть «Москва — Петушки», у него уже были бы все основания создать полновесное зрелище в зажигательно-сюрреалистическом ленкомовском стиле, — а он добавил еще и «Записки психиатра», и отрывки из дневников писателя, и «Вальпургиеву ночь» (по которой и спектакль назвал). А поскольку Венедикт Ерофеев уже прочно вписан в классику XX века, то мы воспринимаем его героев как старых знакомцев: и подругу повествователя Зиночку, доводящую абсурд до неотразимости, и крутого Черноуса, доводящего водкопитие до ритуала. В этих ролях достойно венчают актерский состав Александра Захарова и Виктор Раков... Но в центре действия, конечно, сам Веничка Ерофеев в исполнении Игоря Миркубанова.

Последний мифический персонаж уходящей советской эпохи, вне себя от тотального взаимного мордобоя и от тяжелой формы легкомыслия народа. Лицо перекошено болью. Но странным образом сквозь боль пробивается... любовь! Любовь вот к этим безумцам, потому что других нет: родина у нас одна.

В конце концов безумцы хватают правдоискателя и перерезают ему горло. Но он успевает пронзить мне душу типично ерофеевским откровением:

— Не ссы в компот: в нем повар ноги моет!

Прошу прощения за полуприличное словцо, но уж больно хороша логика! Наш повар! Наш компот! Наш абсурд, опровергаемый абсурдом!

Наша родная жуть, непременно имеющая загадочную обратную сторону.



Ксения ЖУКОВА

Ксения Жукова — участник 12-го Форума молодых писателей России и зарубежья в «Липках» (2012), финалист драматургического фестиваля «Любимовка» (2012), лонг-листер литературного Волошинского конкурса (2011, 2012, драматургия), шорт-листер международного драматургического конкурса «Евразия» (2012), член Союза писателей Москвы (по итогам 10-го совещания молодых писателей СПМ в 2010 году), финалист независимой международной премии «Дебют» (2011) в номинации «Малая проза», лауреат независимой международной премии «Дебют» (2003). Окончила с красным дипломом Институт журналистики и литературного творчества (дипломный руководитель — Леонид Зорин).

ДВА РАССКАЗА

ПРОГУЛКА С ПАПЕЙ

Рисунок Настасьи Поповой

Во всем была виновата клюква. А вовсе не мох, как утверждал учитель биологии Дмитрий Эдуардович. Вообще-то в Васином шестом классе анатомию еще не проходили. А всякие растения разные. Сейчас у Васи по программе мхи, хвощи и лишайники должны быть. Нет, мох — дело хорошее. Вася с папой когда летом в лесу заблудился, так сразу полезность мха и оценил. Вася с папой тогда к папиной двоюродной сестре тете Алле приехали. А тети Аллы дома не оказалось.

— Так она в город подалась, — поделилась информацией беззубая женщина в голубом вязаном платке.

Вася еще удивился: лето, жара, женщина вроде не старая, а без зубов, и платок такой теплый.

— Обувка у ней вся развалилась, а в городе как раз распродажа. И только один день, вот она и поманулась, — пояснила женщина.

Папа ее быстренько стал расспрашивать, да когда тетя Алла вернется, да не говорила ли она чего про него с Васей.

— Нет, — мотнула головой тетка, — ничего не говорила. Я вообще про родственников впервые слышу.

Папа еще вежливо так с этой женщиной общался, осторожно, аккуратненько. Будто бумагу по трафарету резал, чтобы ни-ни за контур!

— Это ведьма местная, — объяснил папа Васе уже после, — с ней надо бережно. А то найдет всякие заразы и проклятья. Ты думаешь, у нее зубов нет? Или она лысая, потому что в платке? Как бы не так, это у нее сегодня день колдовства. Иллюзия такая. Завтра у нее все зубы будут на месте, понимаешь? Я ее еще с детства помню, она, если хотела, могла порчу на полдеревни навести!

Но Вася не очень понял. Ведьма какая-то! Смешно. Васю больше расстроило отсутствие тети Аллы. Вася ее сто лет не видел. Ну не сто, но очень давно. Тетя Алла была старше папы лет на двадцать. Выбираться никуда не любила. Гостей тоже не жаловала. У нее даже кличка была Бирючка среди родственников. Жила тетя Алла в

деревне недалеко от станции и от речки. Так что, казалось бы, Васю к ней можно было б отправлять на все каникулы. Это, кстати, была одна из причин ссор папы с мамой. Мама не понимала, почему бедный ребенок — так она Васю в этих разговорах называла — «должен дышать этой загазованностью, если у твоей родственницы, твоей ближайшей, другие совсем там пятиуродные, а эта только двоуродная, есть такой чудесный домик в таком прекрасном месте».

И вот Вася смотрел на этот «прекрасный домик», крыша вся была покрыта мхом (вот она, биология). Вася всегда заранее читал учебники летом, чтобы весь учебный год потом, можно сказать, отдыхать. Только делать старался тайком, а то засмеют еще. А так — пусть думают, что Вася типа вундеркинд и все-все знает. Зато у Васи времени много оставалось на более интересные дела. Но об этом чуть позже. Итак, крыша была со мхом, калитка с замком. Потому что тетка Алла уехала в город, в обувной. И будет только завтра, ибо, как сказала «ведьма», выбирать обувь дело непростое, долгое и хлопотное, а Аллочка всегда ответственно ко всему подходила.

— Ну что, Василий, сядем у ворот или через забор махнем? — спросил папа.

Вася решил через забор, так как ждать до завтрашнего утра тетку Аллу на солнцепеке не хотелось. Ну не к «ведьме» же проситься, в конце концов. И пить очень хотелось. А у тетки наверняка колодец есть. И они полезли. Папа как-то неуклюже, бочком. Видно, давно человек не тренировался. Папа залез на забор и сидел себе, гордый такой. Вася уже папу толкать начал. Зачем внимание общественности привлекать? Папа даже обиделся.

— Ничего ты не понимаешь, Василий, какое это счастье — на заборе сидеть!

— Ага, особенно если нас вдруг за грабителей примут!

Папу передернуло. И он резво приземлился на грядку с клубникой. Вот потом достанется от тетки Аллы! Вася тоже быстренько спрыгнул. Отряхнул руки, перемазанные клубникой напололам с грязью. Нет, додумалась же тетка Алла сажать свою ягоду вдоль забора! Папа тоже стоял, отряхивался.

— Это кто ж у нас такой воровастый? — вдруг услышали Вася с папой чей-то хриплый старческий голос.

На крыльце домика, того самого домика, со мхом на крыше, стоял обычный старичок. Старик был прекрасен всем: и всклокоченными волосами, и большими резиновыми сапогами в ромашку. Вася никогда не видел, чтобы мужские сапоги

были в цветочек! Папа, похоже, тоже, потому что он уставился на эту ромашку, как будто никогда цветов не видел! Не видел, и все тут! В общем, старик был хоть куда, кроме одного предмета, который он держал в левой руке, — топора! Папа сразу стал пятиться к забору, конечно же, по клубнике! И лепетать: «Э, извините, уважаемый, э, простите нас, мы, э, мы, похоже, просто ошиблись, э».

Старик важно кивнул, признавая папину ошибку. И заметил: «Ты с клубники-то все же слезь».

— А где тетка Алла? — не растерялся Вася.

— Хм, жена за обувью поехала, у меня сапоги развалились, ну не в таких же выходить на улицу, — кивнул старик на свои «ромашки». — Вот и кукую сегодня по хозяйству. А чтобы всякие не беспокоили для насмешек, мол, что это Анатолич в таких сапогах бродит, жена даже калитку на замок закрыла. А ромашки — это внучка наша, Танька, красками несмываемыми срисовала. Вот ведь задача! А вы — через собор, вот ведь неугомонные какие. Страховые агенты, что ль? Или предлагать посетить ваш открывшийся суши-бар будете? Танька перед отъездом ходила как раз. А по мне — ваши суши, плюши — баловство одно!

Вася ничего не понимал! Папа всегда рассказывал ему, что тетя Алла — одинокая женщина, можно сказать, бирючка. А тут выясняется, что у нее муж тайный имеется — Анатолич, да еще и внучка Танька! Папа, похоже, тоже ничего не понимал. Он крутил головой, как вентилятором, и все норовил ногой опять в клубничные грядки залезть.

— Внучка-то погостила и уехала к себе, а мы только наутро спохватились по поводу ромашек. Но ничего, мы так и так собирались мне обувь покупать, эти-то, ромашковые, давно дырявые, — пояснил старик и выставил вперед ногу, чтобы Вася с папой могли оценить дырявость ромашковых сапог. Топор при этом он из рук не отпускал.

Васе надоело смотреть, как папа крутит головой. И он ничего придумать не мог, как спросить:

— Но ведь это Комариное?

— Комариное-2, — важно заметил старик.

Вот оно в чем дело!

— А Комариное — это через лес, километров пять, транспорта туда нет никакого, только лес, так что если напрямик, то как раз и выйдете!

— Пять, два, три, Комариное-десять, пятнадцать, путают нормальных людей, — ворчал папа, когда все выяснилось и они с Васей шагали по лесу.

Бодро шагали, потому как в лесу не так жарко. А Вася шел и думал, что вот ведь как оказывается. И дом не тот, и Комариное не то. И местная



ведьма оказалось не ведьмой, а обычной Зинадой Федоровной. А что в платке и без зубов — так ей вчера как раз зубы все и выдрали в стоматологической поликлинике. Папа так интенсивно расстраивался, а Вася так погрузился в свои мысли про совпадения, что где-то в каком-то месте они сбились с тропинки. Потому как уже два часа Вася с папой по лесу шагали, а никакой таблички «Комариное» не было. Только лес, только деревья. И никаких прохожих, чтобы спросить. И где эти отважные грибники с корзинками? Где любители лесной природы? Никого! Только Вася, и только папа, и только деревья. Ну, еще комары, как в утешение, что не видно пока Комариного.

— Похоже, мы немножко заблудились, — еще через час блужданий заметил папа. — Нам надо выбираться. Комариное или нет, но этот лес мне уже надоел. А как надо выбираться, Вася? По мху! На мох смотри, на мох, он на север будет указывать! С какой стороны деревьев мох растет, там и север!

И Вася честно смотрел на мох, который рос вопреки всем законам и урокам биологии так, как подсказывала ему его моховская душа. То есть хаотично. Все закончилось тем, что папа попросту сел на мох, а потом и вовсе свернулся калачиком. «Васек, мох — высший класс, лучше всяких диванов». И Вася тоже пристроился «ну только на пару минуточек». А больше они и не смогли, так как количество комаров стало резко увеличиваться. Но то это и места с «комариными» названиями. Зато двухминутное лежание на мхе очень даже помогло. Папа с Васей как вскочили, так сразу просвет увидели, который раньше почему-то закрыт, словно спрятан был. А в просвете — дома, дома, далеко, но видны!

— Все! Никаких теток, никаких деревень, только урбанизация! — заявил папа, когда они с Васей уже выбрались из пресловутого леса не куда-нибудь, а снова в Комариное-2. Там сели на подошедший автобус, который должен был отвезти прямо к станции. — Хватит уж судьбу испытывать! Не все вершины поддаются!

В электричке папа сразу заснул и еще тонко посапывал, как будто поскуливал. А Вася в окно смотрел, вдруг это Комариное покажется? Не два и не три, а самое обычное, в которое они так и не попали... А на коленях Вася держал пакет, полиэтиленовый. Доверху наполненный клюквой.

Пакет у Васи всегда в кармане был припрятан на всякий случай. А клюкву они с папой в лесу набрали, на болоте, как раз когда ломанулись к домам. Папа спал, поджав под себя ботинки с тиной. Вася еще подумал, что папе тоже придется ехать за новой обувью, хотя, может, все и обойдется?

ЭХО С ЯБЛОКОМ

Папа отправился ловить Эхо.

— Куда ты? — удивилась мама, увидев, как папа в воскресный день вдевается в рубашка пиджака.

— Так, погулять, — уклончиво известил папа. — Кстати, ты не видела мой сачок?

— Видела.

Мама подошла к папе, поправила ворот, застегнула непослушную пуговицу на папином пиджаке.

— Его дети уже успели приспособить для игр. Да и ловить бабочек, тебе не кажется, что это как-то некрасиво, в смысле жестоко по отношению к бабочкам?

— Мне этот сачок подарил Николаев. И вовсе не для бабочек. Да что ты понимаешь! — огорчился папа. — Мне сачок был нужен для Эха. Мы с Николаевым Эхо ловить собирались.

Тут уж Тимка и не выдержал. Выбежал в прихожую, папа как раз огорченно завязывал шнурок на левом ботинке. Шнурок в папиных руках извивался червячком, папе никак не удавалось сделать из него симпатичный бантик. А мама стояла и, скрестив руки на груди, смотрела на все это безобразии.

— Папа! И меня возьми, я тоже могу с твоим Николаевым Эхо ловить!

Папа вздрогнул.

— Марш в постель, еще только пять утра, между прочим, пять часов великолепного воскресного утра. А Эхо нам, похоже, теперь по твоей милости придется авоськой ловить, у нас же есть авоська, да?

Папа наконец справился со шнурками, выпрямился и взглянул на маму. Мама захотела:

— Авоська? Ха-ха. Авоська. Ха-ха. Нет, дорогой мой муж, ты лучше скажи, когда в последний раз в магазин ходил? Или ты думаешь, что у нас продукты сами появляются, стоит нажать на кнопку? Авоськи — это анахронизм.

Папа засмутился и забормотал, что вообще-то он так обычно и делает, нажимает на кнопку в Интернете и заказывает продукты на дом.

А мама стала ехидно интересоваться, до чего же дошла папина лень, может, он уже жену себе так через кнопку закажет.

— Да, закажу, — стал распятыться папа. — Такую, чтобы не пилила. Произведу, так сказать, выгодный обмен.

— Может, ты и его обменяешь? По чеку? — Мама кивнула в сторону Тимки.

Тимка засобирался обратно в комнату. Он страсть как не любил, когда мама с папой ссорятся. Особенно из-за этого противного Николаева, особенно в пять часов воскресного утра.

Николаев был личностью легендарной. Все время что-то изобретал. Вот теперь ему Эхо ловить понадобилось. И папу подбивает заодно.

Тимка прислушался. Папа с мамой больше не ругались.

Тимка прошлепал на кухню. Мама что-то жарит на сковородке.

— Ушел все-таки. Ты понимаешь, вот нужно ему это Эхо — и все тут. И не остановишь ничем. Нет уже моего терпения. А ты зачем вскочил? Ну-ка, марш общаться с подушкой.

Но Тимка выпросил чашку какао и из кухни уходит не собираясь. Какой уж тут сон?

В длинное воскресное утро они с мамой переделали все дела и стали папу ждать.

Папа явился вечером, с Николаевым и большим рюкзаком за плечами. Вернее, Николаев был рядом, а вот рюкзак — за спиной.

Николаев быстро-быстро исчез. А папа стал рюкзак открывать.

В рюкзаке много чего было: туман в двух боковых карманах, который папа выпустил, — а тот сразу за окошко через форточку. Клюква, хвойные иголки, два огромных белых гриба.

Грибы мама схватила и стала нюхать и вертеть:

— Так, этот вот польский гриб, а этот ложный.

— Сама ты ложная, — обиделся папа. — Николаев сказал, что это самый что ни на есть белый.

— Вот пусть тогда твой Николаев и ест этот гриб.

Мама с папой ушли на кухню выяснять, будет ли есть этот гриб Николаев или гриб стоит немедленно выбросить.

А Тимка стал исследовать рюкзак дальше. А дальше из рюкзака вышло Эхо. Оно было серое и в капюшоне. Эхо попросилось помыть руки. А потом стало рассказывать, как папа с Николаевым его поймали в горах, долго выслеживали, аукали, звали. Вот Эхо и не выдержало и угодило в папин рюкзак.

— А у меня ж дети, Тимка, маленькие эхоята. Как они без меня? Придет человек, станет кричать, а ему никто не ответит.

Эхо загрустило. И Тимка стал грустный. Он решительно распахнул дверь.

— Иди, Эхо, обратно в горы.

А тут мама с папой из кухни вышли, идут взявшись за руки.

Папа Тимку потрепал по волосам.

— Как, сын, все уроки сделал?

Забыл, наверное, что воскресенье. И про Эхо забыл. Папа, когда мирится с мамой, он такой счастливый делается. И обо всем забывает.

Тимка взобрался на подоконник и смотрел, как Эхо переходит дорогу. Эхо дорогу перешло, обернулось и замахало Тимке:

— Приходи в гости! Хо-хо! И яблоки принеси! Я их так люблю, знаешь? Хо-хо!



Елена САЗАНОВИЧ

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей России, член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика».

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008—2010 годов»; Союза писателей России «Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк).

Наряду с другими известными писателями и деятелями культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-ежегоднике «Женщины Москвы».



«Юность» продолжает развивать новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что продолжают споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые почитать еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо больше. Но на эту сотню книг обратить внимание стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей.

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем вместе составить список 100 книг, которые потрясли мир и которые необходимо прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших писем! Всем спасибо за первые отклики!

Уильям Шекспир.

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНЦА ГАМЛЕТА

Англия. Как мы далеки от этой страны. Дождей, туманов и клетчатых зонтов. Хандры и педантов. Впрочем, это очередной миф. И дожди у нас есть, и туманы, и зонты. А англичане не так уж скучны и флегматичны. К тому же святого Георгия — защитника слабых и угнетенных, который в христианстве символизирует храбрость, — они считают своим покровителем. А мы святого Георгия Победоносца — своим. Он — эмблема Российского государства. Герб Москвы. И орденом Святого Георгия награждают и у них, и у нас — «За службу и храбрость». И сегодня по всей России — в праздники и будни — везде трепещется георгиевская ленточка. А у них в день святого Георгия вывешиваются по всей Англии красно-белые флаги...

Но это еще не все. День святого Георгия — это еще и день Уильяма Шекспира. Считается, что он умер и родился 23 апреля. В святой для Англии день. Как в России: Пушкин — наше всё. Так и в Англии: Шекспир — наше всё. К слову, Пушкин как-то сказал о Шекспире: «У меня кружится голова после чтения Шекспира. Я как будто смотрю в бездну...» И все же мы Шекспира любим не меньше, чем англичане. А возможно, и больше.

Так, сообщал журнал «Вокруг света», треть из участвовавших в опросе жителей Великобритании не знают, что Шекспир писал пьесы и сонеты, а многие вообще думают, что он был английским королем. У нас так не думают. У нас вряд ли кто-то не знает, что он был гениальным драматургом и поэтом. Даже если его и не читали. Не в оби-



ду англичанам будет сказано, но у них, к примеру, вряд ли мог родиться Достоевский. А вот Шекспир у нас — запросто. Потому что «шекспировские страсти» — это больше про нас, чем про них.

Это уникальный писатель с гигантским словарным запасом — от 20 до 25 тысяч слов. Причем он ввел в английский язык около 3200 новых слов. Опять же, не в укор стране туманов и зонтиков, — современному англичанину с высшим образованием хватает не более 4 тысяч.

Впрочем, не будем: как у них и как у нас... Это — Шекспир. Он — для всех времен и народов. Для всех сочинений и монографий. Для всех театров и кинотеатров. И для всякой души. Если она, конечно, есть у всякого. Да и вообще — английский стоит выучить только за то, что им разговаривал Шекспир...

Уильям Шекспир родился и умер в один день. И похоронен в Стратфорде-на-Эйвоне (хотя 25 лет провел в Лондоне), у алтаря церкви Святой Троицы, где при рождении был крещен. Памятник на стене недалеко от могилы представляет собой бюст. В правой руке — гусиное перо. Левая рука лежит на листе бумаги. Шекспир по-прежнему сочиняет. Каждый год, в день его рождения, гусиное перо в его руке заменяют на новое. А на мо-

гиле — собственная эпитафия драматурга. «Друг, ради Господа, не рой Останков, взятых сей землей; Не тронувший блажен в веках, И проклят — тронувший мой прах».

Шекспир как гений многое предвидел. Вряд ли он параноидально боялся эксгумации останков тела. Хотя почти в половине пьес драматурга можно прочесть об осквернении могил. Нет, здесь таилось что-то большее. Более некрасивое, чем само осквернение. Самое известное выражение мировой литературы — «Быть или не быть?», — похоже, сыграло с ним злую шутку. Шекспир предчувствовал, что его гений не простят даже после смерти. Что его гений осквернят. Вообще усомнившись в существовании гения под фамилией Шекспир. И был прав. С удовольствием усомнились. Негении с удовольствием роют могилы для гениев. Им легче поверить в призрак, в тень отца Гамлета, чем в реальность уникального таланта. И все же проклятия Шекспира побоялись. Останки оставили в покое. Похоже, и проклятия иногда во благо.

«Быть или не быть?» решено в пользу Шекспира. А как же иначе? Если у его могилы в призрачной туманной Англии по-прежнему бродят Любовь и Ненависть. Благородство и Коварство. Верность и Предательство. Подвиг и Подлость... Как «Сон в летнюю ночь», нежно взявшись за руки, бродят Ромео и Джульетта. А вдруг они не погибнут во имя любви? Крепко обнявшись, бродят Отелло и Дездемона. А вдруг Отелло не убьет оклеветанную Дездемону из-за ревности? Бродит изгнанный старый Король Лир. А вдруг его жадные дочери опомнятся? Бродят демонические леди Макбет и Ричард III. А вдруг они отмоют свои руки от крови? Хотя бы в «Двенадцатую ночь»? И где-то, чуть поодаль у пруда с желтыми кувшинками, тоскует и мучается одинокий Гамлет. Вдруг он скажет просто: «Быть!» И Офелия не утонет... Добрая старая Англия. Но только не по Шекспиру. Это все призраки, в которых так верят англичане. А шекспировские персонажи давно ожили. И, как правило, плохо заканчивали.

Да, по Шекспиру мы должны чаще страдать, чаще мучиться и чаще плакать. Может, еще и потому, чтобы почувствовать себя живыми? Каждый из нас всю жизнь стоит перед выбором: «Быть или не быть?» Чтобы не стать равнодушным.

«Гамлет!»! Понимаете ли вы значение этого слова?» — воскликнул Виссарион Григорьевич Белинский, потрясенный одной из самых великих трагедий Уильяма Шекспира. Мы отвечаем на этот вопрос до сих пор. Отвечаем все. Читатели и зрители. Артисты и режиссеры. Критики и фило-

софы. И сколько есть нас на свете, читавших это произведение, столько существует и Гамлетов. Сколько существует эпох — столько и Гамлетов. Сколько поколений — столько и Гамлетов. Сколько стран — столько и Гамлетов. На одном только «Гамлете» еще долго может продержаться искусство.

И все же он один, неповторимый. В этом тайна и мощь этого произведения. В этом психология и философия. «Быть или не быть?» Жить в мире зла или зло уничтожить? Быть — значит уничтожить зло ценой своей жизни... Принц Гамлет — это ровесник Шекспира. Они живут в эпоху Возрождения. И автор, и его герой — мыслители и гуманисты. Автор предсказывает Гамлету блестящее будущее справедливого правителя. Недаром Гамлет учится в одном из лучших университетов Европы — Виттенбергском, где в те годы преподавал Джордано Бруно. В рассуждениях Гамлета много от рассуждений величайшего итальянского философа и ученого.

В чем уникальность драмы? Сюжет в общем-то бытовой. Гамлет мстит за смерть отца, которого убил родной брат отца, чтобы занять его трон и жениться на королеве — матери Гамлета. Шекспир эту «семейную» трагедию сумел возвысить до вселенского масштаба. Когда месть превратилась в гораздо большую цель... Как изменить этот мир подлости, злодейства и коварства? Как «вправить вывихнутый век»?.. В итоге эта «семейная» трагедия завоевала весь земной шар. Все человечество, весь земной шар играет в пьесе. С его несправедливостью, болью, предательством, с его войнами и цинизмом. Потому что когда-то, давным-давно, «прогнило что-то в датском королевстве». И был ли призрак? Может быть, это вообще воображение Гамлета, повод, чтобы бороться со злом? Или это хитроумные происки врагов Гамлета, его матери и его дяди? Чтобы совсем другие завоевали королевство?

В этом и секрет трагедии, что в ней нет конца. Ее можно дописывать и додумывать. Она бесконечна — как время. И современна — как бытие. И поэтому — навсегда. Гамлет (про убитого им Полония): «Он там, где его едят; у него

как раз собрался некий сейм политических червей. Червь — истинный император по части пищи. Мы откармливаем всех прочих тварей, чтобы откормить себя, а себя откармливаем для червей. И жирный король, и сухопарый нищий — это только разве смены, два блюда, но к одному столу; конец таков...»

Как же он жутко прав! Этот принц датский с книжкой в руке. Этот философ и мученик. Как же он страшно прав. Аж мурашки по коже. И те, кто с королевских (или президентских) кресел дает приказы убивать, бомбить людей, — всего лишь блюдо для червей. И чем богаче их стол — тем слаще будет червям. Гамлет: «Человек может поймать рыбу на червя, который поел короля, и поесть рыбы, которая питалась этим червем... Я хочу вам только показать, как король может совершить путешествие по кишкам нищего...» Недаром в драме Шекспира самые философские философы — могильщики. Впрочем, кому, как не им, знать тайну небытия? Если свою жизнь они посвятили смерти. Первый могильщик: «Если он не сгнил раньше смерти — ведь нынче много таких гнилых покойников, которые и похороны едва выдерживают...»

Это только не про Гамлета. Да, он выполнил свою первую задачу — отомстил за отца, убив Клавдия. Но вторая задача — сделать мир совершенным и справедливым — оказалась для него невозможной. А мечты о гармонии и правде — всего лишь утопией. Как и для Шекспира. Как и для его современников. И как, наверное, для всех нас. Во все времена и в любом пространстве.

Шекспир убивает Гамлета. Этого чистого юношу с благородным сердцем. И тем самым делает его бессмертным. Потому что смерть Гамлета — это его послание людям быть причастным ко всему на Земле. И лично отвечать за весь мир. За его горести и поражения. За его несовершенство и зло. Чтобы в конце концов ответить на гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» Может быть, это единственный выход для мира. Чтобы спастись. Это и завещал Уильям Шекспир. Как и еще 99 писателей, которые потрясли мир.

**Ефим БЕРШИН**

Ефим Бершин родился в 1951 году в Тирасполе. После окончания школы работал на местных заводах, служил в армии. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, во время учебы был участником поэтической студии «Луч», руководимой Игорем Волгиным. Работал журналистом на Севере, в Сыктывкаре, где в 1982 году вышел крохотный сборник ранних стихов «Снег над Печорой».

В 1988 году Бершин стал одним из основателей и руководителей получившего широкую известность в годы перестройки еженедельника «Советский цирк». На страницах этого издания ему впервые в Советском Союзе удалось опубликовать некоторые произведения Андрея Синявского, Марии Розановой, Наталии Горбаневской, Юрия Домбровского, Юрия Айхенвальда, других запрещенных авторов андеграунда и русского зарубежья, а также многих молодых тогда поэтов, обретших сегодня широкую известность.

Первые серьезные публикации стихотворений Бершина были осуществлены в журнале «Юность» и парижском «Континенте» в те же перестроечные годы.

С 1990 по 1999 год Ефим Бершин — обозреватель отдела литературной публицистики «Литературной газеты». Когда на окраинах распавшегося Советского Союза вспыхнули межнациональные конфликты и войны, совмещал литературную работу с работой военного корреспондента в Приднестровье и Чечне, одним из результатов которой стала документальная книга о молдавско-приднестровской войне «Дикое поле» (2002).

Бершин — автор поэтических книг «Острова» (1992), «Осколок» (2001), «Поводырь дождя» (2013), романов «Маски духа» (2005) и «Ассистент клоуна» (2011). Его стихи вошли в составленную Евгением Евтушенко антологию «Строфы века». Сегодня стихи, проза и литературно-публицистические статьи Бершина регулярно можно встретить на страницах российских толстых журналов, а также в других многочисленных изданиях в нашей стране и за рубежом. Произведения Бершина переведены на английский, немецкий, испанский, румынский и некоторые другие языки.

Ефим Бершин — член Союза писателей и Русского ПЕН-центра. Живет в Москве.

Монолог осколка

*Одиноким бесформенным нервом,
воплощенный в бугристый металл,
словно ангел — меж небом и небом —
сиротливый осколок летал.*

1.

На земле меняется индекс цен.
На рубле рисуется мой портрет.
Сиротливый снайпер глядит в прицел,
как сановный пращур глядел в лорнет.

И пока ты стирала со щек глаза,
и пока я маялся горящим горлом,
под свинцовым ливнем легла лоза,
подавился бюст пионерским горном.

Обреченно влюбляясь в изгиб моста,
словно пуля, плененная сердцем голубя,
я стремился вниз.
И была пуста
траектория смерти,
как поле голое.

Я три дня и три ночи совсем не спал.
Я летал, пережаренный, как в аду.
Ты прости,
если я в тебя не попал.
Ты прости,
если я еще попаду.

2.

Отделенный от пустого тела,
как младенец в сморщенной горсти,
в яслях неба,
слепо,
неумело,
черный ангел надо мной гостит.

Это я, рожденный от металла,
словно рубль от медного гроша.
Это надо мной моя витала
черная осколочья душа.

Это я, как на арене цирка,
одинокий, голый, как в раю,
вертикально тощий, словно циркуль,
на горячей площади стою.

Это я среди безумной сечи,
 легкий, как оголодавший мим,
 улетаю, чтобы пересечься
 со свистящим ангелом моим.

Это мне, забившемуся в щели,
 не дано понять в сплошном огне —
 то ли это я уже у цели,
 то ли это он уже во мне.

3.

Мы жили там,
 где счастья мрачный поиск
 на нет сводила долгая зима,
 где медленно,
 как сходит с рельсов поезд,
 сходило человечество с ума.

И потому, уйдя на зов заката,
 туда, где пляж целуется с рекой,
 ты тихо скажешь: я не виновата.
 И обернешься,
 и махнешь рукой
 той пустоте,
 что мной была когда-то.

4.

Утром с куста опадает вода,
 ночью с креста опадает хламида.
 Нам, как прямым по капризу Евклида,
 не пересечься уже никогда.

Мы разминулись в пустых небесах,
 мы разошлись в Иудейской пустыне.
 Ты не узнаешь, как медленно стынет
 утренний снег в подмосковных лесах.

Нам, обезумевший от икоты,
 освобожденный от праведных пут,
 через разрывы, раскаты, окопы
 пьяный чертежник прокладывал путь.

Страшен покой возбужденной душе,
 как захмелевшим словам — идиома.
 Мир — геометрия идиота.
 Нам не дано пересечься уже.

Будут прямые дружить на кресте,
будут гвоздями пронизывать руки,
будут, свистя, возвращаться на круги
пули в свирепой своей наготе.

Сном Иоанновым наяву
будет усеивать улицы падаль,
будет звезда Вифлеемская падать
на разоренные ясли в хлеву.

5.

И было:
свалившееся за клеть,
как не остывшая стеклотара,
солнце,
и Днестр,
похожий на плеть,
уже изогнутую для удара,

и отдаленный лягушечий плеск,
и тишина, как зрачок абрикоса,
стрекот цикад
и внезапная плешь
остывающего покоса,

к стихосложению бессмысленный дар,
обреченный,
словно визит к аптекарю,
и выстрел — будто захлопнули портсигар
так,
что потом прикуривать некому.

6.

Я встал меж ними,
где дышали
воронки струпьями огня.
И с двух сторон они решали,
кому из них убить меня.

Но не решили.
Солнце село,
изнанку леса показав.
Я спутал логику прицела,
задачу передоказав.

И снайперы,
сверкнув затвором,
лишь птиц спугнули с черных крон.

А я себе казался вором,
укравшим пищу у ворон.

7.

Засвеченная пленка глаза.
Воронка девственно чиста.
Глухой разрыв, как вспышка газа
под чайником.
И — пустота.

И первый снег,
мгновенно тая,
соприкасается с лицом.
А жизнь — кривая запятая
между началом и концом.

8.

Победа —
это первый теплый снег,
укрывший поле, где бродили волки,
сквозняк развалин,
гильзы от двустволки,
пустой башмак
и истеричный смех
у зеркала.
И зеркала осколки,
осколки смеха прячущие в снег.

9.

О Господи, они тебе нужны?
Зачем тебе такая маета?
Они еще, случается, нежны,
зато все лучше бьют от живота,

переступая трепетную грань
за горсть железа и железный стих.
Ну что тебе от неразумных сих,
стреляющих и гибнущих от ран?

Предательство оплачено сполна.
Иуде не осилить эти суммы.
Они разумны, Господи!
Разумны!
И в этом суть.
И в этом их вина.

10.

Разрывы.
Перья.
Облака.
Струя кровавого рассвета.
Давай-ка улетим, пока
над головой хватает ветра.

Но женщина, присев к столу,
как музыкант больную скрипку,
пронзает ржавую иглу,
вдевая выцветшую нитку,

пытаясь наскоро, к утру,
уйдя от мира, как от плена,
заштопать черную дыру
и на чулке,
и на вселенной.

11.

Уже однажды пересечена
грань, за которой больше нет запрета,
и страха нет.
Все выбрано до дна.
И лишь ночами так болит вина,
что все плывет.
Одна вина конкретна.

Одна вина конкретна.
И война
конкретна, как конкретны пятна крови
и небом продырявленные кровли.
Сквозь них пока не хлынула вода,
но виден Марс в своей нелепой роли
Рождественской звезды.

Покуда цел
несчастный снайпер и тасует лица,
он взят уже другими на прицел.
Меж снайпером и целью нет границы
в стране, где выстрел — средство, а не цель.
И цели нет.
Она нам только снится,

как кочка в застывающем болоте,
как перед смертью — высохший женьшень.
Стрелок освобождается от плоти.
Планета, как осколок на излете,
нащупывает в вечности мишень.

12.

Начинается снег,
 будто заново жизнь начинается,
 будто заново женщина
 с вечера стелет постель.
 Начинается так,
 как домашний пирог начинается
 молодыми грибами
 к приходу внезапных гостей.

Начинается снег.
 Начинается новая вьюга,
 засыпая обломки трагедий
 и гвозди голгоф.
 Мы еще влюблены.
 Мы еще не касались друг друга.
 Да и гости едва ли касались
 твоих пирогов.

Начинается снег.
 Между рамами морщится вата.
 Заметаются вешки
 на дальней кровавой меже.
 Ни войны, ни тревоги.
 И ты уже не виновата.
 Да и я не виновен.
 И все не виновны уже.

13.

Паденье — тоже форма бытия.
 Когда стрелок летит в провал полета
 бездонного двора на снег белья,
 на бабочку фонарного огня, —
 не отличить паденья от полета.

Не отличить полета от паденья
 в пыль облака, в пожухлую траву.
 Мы выживем,
 как выживают тени,
 на время уходящие за стены.
 Я падаю.
 И значит я живу.

Мы падаем.
 И значит мы живем.
 Как ласточки, не сеем и не жнем.
 И, как с крючка сорвавшаяся рыба,

как в водоем,
уходим в окоем.
Что наша жизнь? —
мгновенье после взрыва.

14.

Расщеплен, как адамова плоть,
как единый язык в Вавилоне,
этот мир.
И как пробковый плот,
я отпущен в свободный полет
с не ушедшего от погони
корабля.

И над водами мчась,
уподобившись снегу и граду,
понимаю, что я в этот час —
часть ковчега,
воздушная часть,
не приставшая к Арарату.

Я смотрю с опустевших небес,
как, цепляясь за землю, за племя,
за огонь перзрелых невест,
за межи,
за отравленный лес,
за ненужное, жалкое время,

за случайность кукушечьих лет,
ослепленно, как ратник во гневе,
вы бредете по пояс в золе.
Я — один.
Ваши корни — в земле.
А мои — в небе.



Георгий ПРЯХИН

Георгий Пряхин родился в 1947 году в селе Николо-Александровском Ставропольского края. Рано остался без родителей и воспитывался в школе-интернате № 2 г. Буденновска.

Служил в армии, окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в различных газетах, в том числе в «Комсомольской правде», где прошел путь от собственного корреспондента до заместителя главного редактора. Был политическим обозревателем Гостелерадио СССР, заместителем председателя Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 год работал в ЦК КПСС, затем — консультантом Президента СССР М. С. Горбачева.

В русской литературе имя Георгия Пряхина появилось в конце 70-х — начале 80-х годов. Его первая повесть «Интернат» была сразу же опубликована в самом престижном журнале тех лет «Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова. Это произведение, посвященное детворе послевоенных лет, затем вышло в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой, которая была признана лучшей книгой молодого автора за год.

Его перу принадлежат несколько книг. Г. Пряхин публиковался также в Италии, Болгарии, Словакии, США, Англии, Ирландии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии, Японии и других странах. Широко издававшаяся и переиздающаяся сейчас книга Раисы Горбачевой «Я надеюсь...» представляет шесть ее интервью Георгию Пряхино.

Писатель был удостоен чести выступить с короткой лекцией в Доме Д. Джойса в Дублине. Награжден Всероссийской литературной премией имени Александра Грина и премией журнала «Юность» имени Валентина Катаева.

MORITURI TE SALUTANT!

РОМАН

Рисунок Эдуарда Дудина

Не люблю вещунов, гадалок и тем более гадалей. Возможно, это идет из дальнего-дальнего детства. На наш отъединенный, хотя и совершенно разгороженный двор часто забредали цыгане. Они даже табором своим па-

русиновым чаще всего становились на выгоне напротив нас. На каких-то их неведомых птичьих картах выгон наш значился гаванью — доселе над повозками, паруса обвисали тут как при капитуляции. Мужики лудили по дворам проху-

дившуюся посуду, бабы же, цыганки, похожие на ярких и крупных осенних навозных мух, просто попрошайничали или назойливо предлагали погадать. Привечала их матушка или нет, не помню. Вряд ли. Сызмальства, как теньющаяся цыганская кобыла, впряженная в непосильный воз, рано оставшаяся один на один с нуждой и то и дело падавшая под нею на сбитые в кровь коленки и чудом поднимавшаяся вновь, она, я думаю, не жаловала всех, особенно баб, коим на роду, вообще-то, написано т у ж и т ь с я, рвать на издыхании постромки и жилы, всех, кто непостижимым для нее и потому предосудительным чудом удачлив был на легкий, даровой хлеб.

Но почему-то одна цыганка на нашем дворе задержалась. Насколько я помню, она была молодой и даже чистой, пожалуй, даже почище матери, вечной доярки-свинарки-птичницы. Мать, кажется, даже покормила ее и дала в дорогу хлеба. Они о чем-то говорили, я, лет пяти, крутился в стороне. Но одно из их разговора почему-то выхватил и запомнил на всю жизнь.

Цыганка просила мою матушку отпустить меня с нею!

Что было тому причиной, не знаю. Может, какая-то неловкая материна жалоба — видимо, цыганка сумела разговорить ее. Или жестокая бедность наша, которая лезла в глаза из каждого угла (как раз углов-то во дворе и в помине не было). То, что у матери, матери-одиночки, как то сплошь и рядом — спасительно для будущего России и погубительно для них самих — бывало в тогдашней, послевоенной ж и з н и, кроме меня, старшего, в подоле возились еще двое? Куда ей одной, с такой-то поклажею?

Одним ртом меньше — кобыле легче.

Или то, что те, двое, в подоле, — белобрысые, а я, старшой, черномазый, явно приبلудный, вполне возможно даже — цыганский?

Цыгане проходили, подкову уронили...

А может, она сама недавно потеряла своего, еще более черномазого, и теперь тосковала — взяла б меня за смуглую, в цыпках, ладонь, да и вывела бы с этого голого, как вывернутой карман, двора — с таким, прирезанным, довесочком ей и побираться бы, на жалость бить легче стало бы?

Я обмер. Как же застучало у меня в висках!

Сейчас вот возьмет моя матушка и — откажется от меня, неслуха. Я не знал тогда, что цыгане обладают гипнозом — и впрямь могла бы совершенно спокойно вывести меня со двора — в степь, что открывалась сразу за сгнившей нашей загатою так же, как сразу же над нашей трубой, тоже похливающейся, раскрывалось, еще бездоннее, небо.

Мать как-то странно, будто во сне, засмеялась и, приобняв цыганку за плечи, сама повела ее со двора.

Стук у меня куда-то переместился.

А вообще-то шли они как-то очень медленно. Сострадательно — ну как две погорелицы.

Что я еще уловил не то своим чутким ухом, не то тем самым гулким — как будто грудь моя разверзлась медным раструбом — туком:

— От воды он у тебя... Бойтесь воды...

«От воды» — это я тоже запомнил на всю жизнь, хотя именно в тот момент никакого значения этому мрачному пророчеству не придавал: так был счастлив, что мать меня цыганке не подарила. Не сдала — с рук на руки.

А что касается воды, то ее в нашей безводной степи днем с огнем не сыскать — все село, от мала до велика, жаждало дождя как манны небесной. И люди, и скотина. Уже потому я ее, воду эту вождевленную, за которой надо было ходить на артезиан за несколько километров, любил пуще всего на свете.

Да и сейчас, признаюсь, люблю.

Вот оттуда, наверное, идет у меня нелюбовь к гадалкам. Если уж пристанет какая, я знаю, что сказать в ответ.

— Давай я сам тебе погадаю. Ты — умрешь...

И та — сразу на попятную. Хотя чего уж такого я и сказал: все мы, увы, и впрямь умрем.

Сейчас-то я думаю, что цыганка та и в самом деле что-то знала. Предвидела.

Самое главное — что мать моя скоро умрет.

И останемся мы, трое, сиротами. Из нежного, пусть и небогатого, подола — выкинутыми.

Не так уж проста была та цыганка...

Просто, может быть, не стала матери говорить. Пожалела.

Они и вправду шли, как будто бы на худеньких плечах своих несли нечто общее.

И вдруг...

Уж это литературное «вдруг»...

Правда, в данном случае никакого неожиданного действия, как и действия вообще, за этой спасительной литературной фигурой нет. Наши сны ведь не обрушиваются на нас из пустоты, даже нашей собственной, внутренней. Они, как известно, произрастают, как растут кристаллы или коралловые рифы: мучительно, медленно, годами или даже столетиями, зацепившись там, на дне, бог знает за что.

Бог знает и все-таки — за что-то. Существенное. Или — существовавшее. Микроскопически, эфемерно растут. Проклевываются, но — из чего-то изначально сущего. Из зародыша.



И однажды обнаруживаются, прорезываются, как прорезаются молочные зубы — на поверхности. Правда, что касается снов, то скорее — на глубине. Ядовитым впрыском в нашем собственном, отягощенном и измученном бессонницами мозгу. Извне, снаружи — из чего-то видимого или мельком пережитого — внутрь.

И самые подспудные желания наши, грозя кораблекрушением, безобразной опухолью вылезают — прямо нам же в глаза.

Очевидностью.

Сны — ночные миазмы наших дневных унылых отложений. Некоторые из них, отложений, правда, давно успели окаменеть...

Старая-старая-старая берет мою ладонь и, без особого выражения, произносит:

— А вообще дай-ка я на тебя посмотрю...

Старая-старая-старая, но странно знакомая. Не чужая. Глаза не по-старчески крупные, аспидно-черные, как две клокочущие плавильни, голова туманом-сединай повита, а вот брови тоже странно, молодо черны и разлаписты, как то бывает у юных и смуглых девственниц. Я, похоже, давно знаю ее, для меня она вовсе не ведьма, она как бы сродственна мне, и я, забыв свое же правило, послушно подаю ладонь.

— Да-а-а, — всматриваясь в нее огнеплавильными, раздумчиво протягивает старая. — Да-а-а, — и медленно, как чужую, возвращает мне мою же ладошку.

Да-а-а...

И еще молча качает сивой своей — так в тумане невесомо-призрачной купой своей молча качает приречная ива.

Я прячу руку и не произношу ни слова. Как будто и сам все наперед знаю.

И ее тоже знаю — возможно, это все та же, из пятьдесят какого-то, крепко-крепко простаревшая и промудревшая цыганка.

Тогда она, пожалевши, не сказала матери, теперь не открылась и мне.

А чего меня жалеть? Я и так, наперед, знаю.

«Идущие на смерть приветствуют тебя!» — так салютовали, горланили, в суровые центурионы выстроившись, заматеревшие в боях легионеры своему Гаю Юлию Цезарю.

Morituri te salutant!

В конечном счете мы все, куда б ни направлялись, — идущие на смерть.

И наше грозное приветствие адресовано лишь одному на свете по-настоящему бессмертному Цезарю — Жизни.

Приступим.

ПЕЧКА

Убейте меня, но ничего более или менее значительного из происшедшего 4 мая 1947 года я не знаю.

Ясно, что в этот день случилась масса человеческих трагедий и не меньшая масса, прорва счастья обрушилась на отдельных, временно счастливых людей, но...

Но я этого не знаю. Не помню — да и не могу помнить.

Размеры же счастья и несчастий оказались, слава богу, таковы, что не вылезли за пределы конкретных человеческих судеб. Гармонично впи-

савшиеся друг в друга — вспышка события, даже многократно усиленная доплеровским ореолом эмоций, и, пусть даже на куски взорвавшийся, контур человеческой судьбы. Или даже нескольких судеб — их количество, слава богу, не перешло в качество. Это ведь только Господь Бог видит, а впоследствии и взвешивает каждого из нас в отдельности, а вот наше человеческое (человечное?) сообщество запоминает только грандиозные их лакуны.

И — охотнее всего — только лакуны исчезновения.

Никого 4 мая 1947 года не смыло — в запоминающихся масштабах — и никого не вознесло.

Ничего такого за по м и н а ю щ е г о с я 4 мая 1947-го не случилось.

Фултоновская речь Черчилля была произнесена Уинстоном Леонардом Спенсером Черчиллем еще в сорок шестом.

Ответный спич Сталина — создание атомной бомбы — прогремел под Оренбургом, на Тоцком военном полигоне, в сорок девятом.

Я родился между ними.

Мы еще не читали газет. И даже не слушали радио — я лично не слушал еще и потому, что в нашей с матерью хате его, как и электричества, не было. Но война обступала нас со всех сторон, и мы жили в ясном и даже трепетном предощущении ее. Нас окружали молодые калеки — это предыдущая война догоняла нас своими обломками. Обломки-обрубки были как свои, доморослые, деревенские — у кого обтянутая дешевым дерматином деревяшка вместо руки (у нас даже завгар был одоруким, что, правда, не мешало ему, спихнув в пьяном охотничьем раже на пассажирскую сидущку какого-нибудь вполне себе рукастого, но нерасторопного подчиненного, самому гнаться по степи за безгласными и бесплотными, кажущимся собственным твоим случайным выдохом, вымыслом, сайгаками на любой совхозной лайбе, что зачастую, вздымая облако пыли, падала замертво значительно раньше твоего же беглого вздоха) — у кого тем же дерматином, как сургучом, запечатан глаз, у кого нога по самое колено сидит, словно обрез, в скрипучей, на ремнях, деревянной кобуре.

Так и чужие, пришлые, хотя х о д и т ь - т о они как раз и не могли: на окраине села, в бывшей барской усадьбе, располагался патронат инвалидов войны. Такой же, какой был в те времена и на Соловках, с которыми у села тоже своя давняя связь: одна из моих раскулаченных бабок угодила аж туда, хотя и была вполне и даже красиво ходячая.

В патронате жили-доживали совсем уж безногие и безрукие. Но раз в месяц, в день пенсии, каким-то упрямым чудом, они перекасти-полем добирались до «кабарета», стоявшего в центре села, — там заправляла моя крестная мать, и я часто оказывался среди этих калек, — и крестная им подавала нередко прямо в спекшиеся губы водку и вермут, а мне тоже в губы, чтоб попутно не проливал, восхитительный, потому что ничего лучшего я не пробовал, клюквенный морс.

Потом целые сутки пьяные и потому еще более страшные обрубки, колобки эти с ледящим душой матом и песнями катились кубарем, ползли, по-пластунски подвигались к месту своего постоянного, неподвижного проживания.

Село в страхе задергивало занавески и запирало двери, хотя были калеки совершенно безобидны. Один только голос, вой да скрежет зубовой и оставались у них в распоряжении — все остальное отняла война.

Мы очень старательно готовились к с о е й войне. Были уверены, что она и нам на роду написана. Разумеется, едва ли не с первого класса метали в школе деревянные гранаты, стреляли из духового ружья, разбирали винтовки с разрезанными стволами. Но помимо всего, по собственному почину, без конца копали и строили какие-то пещеры, укрытия — почему-то были уверены, что война нам предстоит исключительно оборонительная — мастерили стрелы и луки, даже самострелы. С помощью железных трубок, выдернутых тайком из своих же кроватей, ладили самопалы, называя их «поджигами». Тогда в ходу было выражение «поджигатели войны» — по существу именно мы, мальчишки конца сороковых — начала пятидесятых, а вовсе не американцы, мечта отличиться, прославиться на поле брани, и были такими вот «поджигателями», которых старательно громило оцинкованное, как ведро, радио на столбе посреди базарной площади и которых регулярно распекали в клубе заезжие куплетисты.

Странно, но где-то в глубине своих крохотных душонок мы уже тогда твердо понимали, что предыдущая, без нас, война проиграна — это даже несмотря на цинковый колокол, что вопил с плохо ошкуренного столба с перерывом на ночь да на время обеда, который сельский радиомеханик устраивал себе по собственному усмотрению и самочувствию.

Понимали и жаждали реванша: уже мы-то, в отличие от отцов, победим безоговорочно.

Знали б мы тогда, какая война и с кем — друг с другом! — предстоит нашему поколению, соломки бы постелили.

Разумеется, я не помню момента своего рождения и не стану витийствовать на сей счет. Но я точно знаю хатку, землянку — она еще жива, правда, вошла в землю по самые окошки, еще один хлопок незримой ладонью — и на виду останется одна только двускатная камышовая шляпка, в которой впервые открыл глаза. И хорошо помню печку, на которой родился. Печка состояла из собственно печи, устья, находящегося в одной комнатке, и глиняной лежанки с пропущенным под нею червячным дымоходом, располагавшейся в другой, смежной комнатке. Сейчас, правда, совсем недавно, печку переделали. Устье, приспособленное под газ, осталось, а вот лежанку мою персональную выкинули.

Тоже обрубали — ложе мое первородное.

Я и после, мальчиком, свернувшись почти что опять зародышем, не раз грелся в его чревном, материнском тепле — уже лишившийся матери.

Говорят, 4 мая 1947 года еще шла Пасха. И мать, почуяв схватки, потихонечку побрела под легким весенним солнышком в сторону амбулатории, что стояла в километрах в пяти от ее дома.

И — не дошла.

Когда уже совсем круто взяло ее снизу, приковыляла, придерживая, чтоб на ходу не выскочил, затрепетавший, ворованный арбуз своей обеими руками, во двор двоюродной сестры своей Нюси.

У той как раз печка, после куличей, еще была, тоже как роженица, в жару. Туда, на лежанку, и посадила Нюся мою матушку.

Тут она и разрешилась. Мать обзавелась первенцем, а Нюся — крестным. Я же, стало быть, обзавелся сразу и родной матерью, и матерью крестной, она же и восприемница, которых в наших краях зовут мамашками.

Заполучил и мать, и мамашку разом.

Мать, правда, ненадолго: через четырнадцать лет первенец, сидя рядом с завгаром на борту грузовичка, двигавшегося на сей раз медленно-медленно, поскольку догоняли теперь одну только смерть, повезет ее на кладбище. И худущие руки ее опять будут сложены на непомерно вспухшем животе, как будто она снова удерживает там нечто от преждевременного явления на белый свет.

А вот мамашка дотянула аж до девяноста. Последними ее словами, обращенными к крестнику, были:

— Проверь, правильно ли мне пенсию начисляют? По-моему, не учитывают, что в сорок втором я рыла окопы...

Вот так! А ведь дело было в две тыщи одиннадцатом.

Потом прикрыла уже замутившиеся, а ведь некогда — мускатной спелости (калеки устремлялись не только за водкой с «прицепом», но и просто — взглянуть снизу, из бездны, в Нюсины ликующие, ясные) глаза, взяла за руку и сказала:

— А жить все равно хочется...

Идущие на смерть приветствуют тебя...

Пусть изредка, но все же наезжая к крестной, я всегда, согнувшись в три погибели, проходил к ней в землянку, что приседает все ниже и ниже как бы по бабьей своей коротенькой нужде, подходил к лежанке и приваливался к ней спиной. В такие минуты мне казалось, что рожден я сразу двумя роженицами: русской замордованной крестьянкою и русской облупившейся печкою.

Печка теперь тоже стала обрубком и доживает свое в опустелой землянке на правах инвалида войны. Не думаю, что разрушение печки каким-то роковым образом сказалось на крестной. Но ноги у нее отказали примерно в то же время. Она тоже уходила из жизни примерно так же, как ее когда-тошние войной изувеченные подопечные.

«Подопечные» — тоже как бы из-под печи.

...Впрочем, как же это ничего не случилось в сорок седьмом? Еще как «случилось» — и следы этого «случая» печально и немо сопровождали меня все мое детство.

Они ушли только сейчас.

Как-то, уже в отрочестве, я вдруг похвалился маме:

— Знаешь, по-моему, у меня хорошая память...

— С чего это ты взял? — удивилась мама, хотя тайне и гордилась моей хорошей, при ее-то безграмотности, учебой.

— Я помню, как сосал твою грудь.

Она засмеялась:

— Я кормила тебя грудью до четырех лет...

— Почему? — удивился теперь я.

— Потому что голод был.

Да, в сорок седьмом разразился страшный голод. Село обезлюдело. В нем появились пустые хаты. Саманные такие потихоньку выветривавшиеся печальные остовы стояли и рядом с нами — все мое детство шныряли мы в этих угрюмых глиняных надгробьях чужой жизни.

Голод накрывал нашу округу, как и всю страну, сперва в тридцать первом — тридцать третьем, а потом и в сорок седьмом.

От тридцать третьего моему детству стен уже не досталось — только выболевшие, как после золотухи, холмики с никак с не зараставшими нежными маковками, плешинами, на которых в солнечные дни обручальными кольцами горя любили свиваться змеи.

А вот от сорок седьмого мне достались стены напротив, пристанище моих одиноких игр и фантазий. Дом наш стоял на полдороге от кабареа к патронату, и на крестном, хотя и счастливом, обратном пути своем инвалиды, эти горластые перекати-поле, нередко находили под ними временный свой ночной приют. Стены тогда оживали, вознося к небу своими раскрытыми черными, спекшимися раструбами то песни, то стоны, то мат и плач, а то и все и разом.

В селе не любили вспоминать ни тридцать третий, ни сорок седьмой. Ходили глухие предания, что и у нас не обошлось без людоедства — ели малых своих.

Чем питалась-кормилась моя мать, я не знаю. Но в самом деле хорошо помню, как сам питался ею. Хорошо помню ее грудь — она небольшая, цветом и формой напоминала два округло-продолговатых кома только что сбитого и наспех, со следами ладоней, слепленного молодого, бледного еще коровьего масла. И очень хорошо помню исходивший от нее запах — молозива. Чудесный, хлебный запах сытости. Жизни — я сам научился расстегивать верхнюю костяную пуговичку на маминой кофте.

У меня это и сейчас еще неплохо получается.

Мама застенчиво улыбалась — ей было, наверное, щекотно. А может, вспоминала что-то свое.

Стало быть, я питался ею до пятьдесят первого года. И того страшного голода поэтому не помню и не знаю.

Засыпал под небогатым комочком молодого, еще не медового масла, до крови прикусив земляничный его фитилек, так непозволительно долго соединявший меня и мою уютную, безотказную родовую русскую печку.

А от моего собственного дома давно уже остался только выболевший холмик, будто и по нему все-таки прошелся голод каких-то неведомых лет.

АКАДЕМИК КУРЧАТОВ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЛАВРЕНТИЕМ БЕРИЕЙ

Академик Игорь Курчатov ехал на встречу с Лаврентием Берией.

Ехал не по своей воле — мало кто вообще встречался с Берией по своей воле. Даже Сталин, похоже, общался с ним через силу, по необходимости, по-русски это называется — «душа не налегает». У этого монстра душа не налегала, не прилегала ни к кому из ближайшего окружения — чем дальше люди отстояли от него, тем с большей легкостью он мог с ними общаться.

Лаврентий вызвал академика. Позвонил с утра и огорошил:

— Давненько мы с тобой, Игорь, чайку не пили...

У академика тоскливо заняло под ложечкой. Дело даже не в том, что чай они с Лаврентием Павловичем пили не далее как третьего дня, правда, не на Лубянке, куда Курчатов являться не любил, а в совминовском кабинете: наверное, Берия его выбрал когда-то сам — все окна, даже не будучи зашторенными, упирались в стену. Нет, Курчатов Лаврентия не боялся: на одной хватке, даже такой сумасшедшей, как у этого медоточивого и тонкогубого мегрельского Мефистофеля, далеко не уедешь. Нужно еще серое вещество, субстанция аморфная, н и ч т о ж н а я, но именно вокруг нее и вынуждена неистовствовать сервильно такая вот сумасшедшая мускульная энергия. На данном историческом отрезке — исполнения спецзадания высшего государственного значения — они с Берией — сиамские близнецы (Курчатова передергивает): отсекут одного — сгинет и другой.

Это в равной степени (Курчатова передергивает еще раз) относится к каждому из них двоих.

Нет. Просто академик только что собрался попить чаю со своей женой. В кои веки в воскресенье оказался дома и даже на даче. Вон прислуга уже и столик с веранды под сирень вынесла. И даже кулич, не спросясь у хозяев, на вышитой миткалевой салфеточке водрузила. Говорят, Пасха.

— Ну, не торопись. Разговейся, — хохотнул вездесущий оборотень. — А пообедаем у меня. С гусем — как и положено православным атеистам. Жду в два часа. Дома... Разговор есть, — сухо закончил Мефистофель.

Адрес не назвал — этот адрес и так знала вся Москва.

И вот Курчатов уже едет по пустынной Москве. Сидит, родовито дородный и рослый, на заднем сиденье. На переднем — шофер и охранник, две почти сросшиеся, ватином подбитые спины. Тоже, бляха-муха, сиамские близнецы. Они отгорожены от академика пуленепробиваемым стеклом. Где-то позади маячит еще и машина сопровождения — там уже ребята не с маузерами, а с автоматами. Господи, неужели до скончания дней теперь жить ему вот так — голым в толпе?

Что еще там за разговор? — крепко, больно потянул себя за редкую, но все еще сажисто-черную, схимника, длинную бороду.

Москву вымыли. Вообще-то, к майским пролетарским праздникам, а получилось как бы и к Пасхе тоже. Отражения витрин бежали по вымытым, с хлоркою, зеркальным округлостям «ЗиМа».

Вот и угол Вспольного и... как его, Воровского. Никак не привыкнешь. «Поварская» куда сподручнее. Как это Вспольный до сих пор не переименовали? — наверное, самое беспартийное наименование во всей Москве. Когда-то долговязый студент Курчатов гулял по здешним заспанным переулкам со своей будущей женой.

Дóма почти не видать. Он со всех сторон обнесен стеною наподобие восточного глиняного дувала. Студент Курчатов, вообще-то тогда, в юности, этих глинобитных застенков тут не видел. А может, просто смотрел, не отрываясь, в другую, нежно светящуюся сторону.

Как только машины, приседая, подрулили к глухим кованым воротам, те со странно морозным, в такую-то майскую теплынь, лязгом открылись. Раззявились, жестко сомкнувшись после глубокого глотка.

Двор оказался неожиданно — для центра Москвы — просторным.

Курчатов очутился здесь впервые.

Гостеприимный хозяин уже встречал его на крыльце. Курчатов в темном костюме и в галстуке. Берия же — в мягких фланелевых брюках и в байковой кофте поверх клетчатой спортивной рубахи.

Крыльцо, обратил внимание Курчатов, деревянное, узорчатое, грубо приспособленное к кирпичному дому.

Обнялись.

— Проходи, дарагой, будь как дома! — нарочно нажимая на грузинский акцент, который вообще-то был ему почти несвойственен, увлек, приобнимая, хозяин гостя в глубину особняка.

Они расположились сперва в гостиной. Покойные плюшевые кресла, пестрые восточные ткани, мягкий послеполуденный свет, сквозивший сквозь гардины, — особняк, расположенный вообще-то рядом с гудящим Садовым кольцом, казался погруженным в благословенную толщу винного бурдюка.

Они выпили чего-то, что было уже приготовлено на низеньком, тоже восточного стиля, сдержанно инстуртированном столе. Прислуживала полная, томная, но какая-то совершенно неслышная, невесомая на ногу женщина грузинского толка. Поскольку ее не представили, Курчатов понял: не жена. Впрочем, жену Берии он смутно помнил: раза два встречались на приемах в Кремле.

Жена у Берии — п а в а. Помнились влажные, как будто только-только что распутившиеся раскосые черные глаза. Если бывают черные лилии, то это про них. Кажется, даже запах, дорогой, иноземный и влекущий, шел именно от них, толь-

ко что — прямо к приему — распутившихся, а не от большого, текучего тела.

Гуляет, стервец, — вспомнил московские байки Курчатова. — И как можно гулять от такой бабы?

И как же, подлец, находит время? В таком-то бешеном цейтноте! — почти что с завистью подумал академик, который на десяток лет моложе своего вальяжного визави.

Говорят, жена потому и не бывает в этом особняке, предпочитает жить на даче, за городом — чтоб, значит, не нарваться случайно на очередную мужнину пассию из простых, как это и водится у революционеров со стажем всех мастей и национальностей.

После перебрались во двор. Здесь тоже был накрыт красивый выносной стол на двоих. Никакой стены, никакого глинобитного дувала вокруг разлапистого одноэтажного дома отсюда, изнутри, не просматривалось. Стена вся увита плющом, вдоль нее стоят кадки с вечнозелеными — видимо, непосредственно из Грузии — растениями и растут мощные, древовидные кусты, под которыми бесшумно протекает, извиваясь, взятый в бетон арык.

Несколько плодовых деревьев, в основном вишня и алыча, бурно и вразнобой цветут тут и сям.

Цветет в Тбилиси алыча —
Не для Лаврентий Палыча.
А для Семен Михалыча
И — для Климент Ефремыча...

До таких частушек было еще так далеко, что они вообще казались невыносимыми. Богохульниками.

Курчатов подумал: зачем ему, Лаврентию, дача — тут и так рай за Садовым кольцом.

— Видишь, у нас тоже сирень имеется, — хотнул хозяин, пригнув к себе роскошное, как многозвездное небо, соцветие и шумно, вкусно понюхав его.

У Курчатова опять что-то подспудно тенькнуло: и это знает, пролаза! Про чаепитие с женой, что прошло из-за этого утреннего звонка сканально, не по-людски. Впрочем, тут, чтоб угадать, много ума и не надо — сирень сегодня буйствует на каждой подмосковной даче.

— Прошу!

Стол грузинский, с обилием зелени и жареного мяса, аромат которого, наверное, переваливал, переливался через восточный дувал вместе с майским дурманом персидской сирени. И дурманил, пожалуй, редких прохожих — дом, все окна которого наглухо, с походом, перекрыты стеной,

опасливо обходили даже те, кто не знал, что за жилец заточен в нем — больше, чем сама сирень: Москва все еще по-военному недоедала.

Москва недоедала, страна же откровенно голодала.

Пили сперва «Мукузани», потом пошло послаще, погуще: «Киндзмараули», «Хванчкара», но все пока строго по привычной, сталинской линейке.

Прислуживала все та же дама в белоснежной, насахаренной наколке и в таком же переднике, повязанном, правда, поверх темного, тяжелого, не обслуги, бархатного платья, что делало даму еще больше похожей на зрелую виноградную гроздь, нежно испотевающую хмельным внутренним соком.

Курчатов давно заметил топтунов, стоявших, оказывается, не только по внешнему периметру двора, но и по внутреннему. Да и блюда из кухни, пристроенной к особняку, выносили молодцы хоть и в накрахмаленных фартуках и даже в поварских колпаках на стриженных головах, но с совершенно очевидной выправкою ramen. Однако дама ловко перехватывала их на полпути, и к столу — действительно под рясно, чудесно и тяжело цветущей сиренью (тоже клейко обтянута бархатом ранних, еще пахучих листьев) — никто, кроме нее, не подходить.

Небо над Москвою стояло такое, словно его только что страстно, с треском разорвали и из-под него выглянуло нечто совершенно исподнее, незанушенное, впервые надеванное.

Вроде как сама плащаница бирюзово замрела над Москвой.

Курчатова вино не брало — возможно, потому, что он не так уж падал до него. Ему день и ночь приходится пребывать в трезвости, и «старых дрожжей», что втихомолку бродят в крови у мужчин, дожидаясь долива, в нем отродясь не бывало.

Но скорее все же по другой причине.

Лаврентий тянул резину. Пил он хорошо, плотно, так же с удовольствием, не вприглядку, закусывал, зачастую ловко и чисто обходясь одними руками там, где Курчатов уныло ковырялся вилкой-ножом. Сорил анекдотами, шутками, подчас, не называя, незлобиво пересмешичал С а м о г о (вот у кого акцент действительно не вытравился до конца дней, и пародировать его было легче легкого, да кто же мог решиться на это?).

Но к делу не приступал — и впрямь не для этого же роскошного воскресного грузинского обеда позвал середь бела дня директора самой секретной в Союзе лаборатории номер два? (При том, что номера один вообще не существовало. Номер, цифру дали, чтобы никаким там прилагательным-

существительным не обмолвиться, не намекнуть ненароком на существо л а б о р а т о р н ы х занятий).

Дама уже поставила фрукты и несла, прижимая, как двойняшек к двойной же груди, способной утолить жажду — жизни — и вполне половозрелых жаждущих, бутылки с коньяком, когда Лаврентий, внимательно-таки сопровождавший взглядом это томное, урожайное шествие да-роносицы, негромко и неожиданно трезво бросил ей:

— Передохни!

Мускатная виноградная гроздь, формой и ря-сностью напоминающая пышную гроздь персид-ской сирени, послушно и мягко удалилась.

Коньяк — это был «Греми» — Лаврентий раз-ливал сам.

Курчатов напрягся.

— Как будем испытывать? — спросил Лаврен-тий, подымая коньячный бокал на уровень глаз и глядя, сквозь очки и бокал, Курчатову прямо в глаза.

Игорь Васильевич сразу понял, о чем речь, — да они, собственно говоря, вот уже два года толь-ко об э т о м и беседуют с глазу на глаз с Лав-рентием.

— Как и договаривались, — тоже неожиданно трезво ответил Курчатов, — на Тоцком полигоне, под Оренбургом, как только и з д е л е будет готово...

— Я не о том, — поморщился Лаврен-тий. — По-настоящему будем испытывать или вприглядку?

— По-настоящему. Там уже строят, насколько я знаю, казармы, бетонные укрепления, объекты гражданского назначения...

— А люди? — жестко и коротко спросил Лав-рентий, одним махом опустошив бокал. — Люди?

Рука у Курчатова дрогнула, и он, не допив, по-ставил хрусталь на каляную камчатную скатерть:

— Люди? Там планируются животные: коровы, овцы, свиньи...

— Свиньи, — криво усмехнулся Берия. — Гово-рят, они действительно ближе всех стоят к нашему брату. И все же, Игорь, мы ведь должны будем лечить л ю д е й, а не свиней, после ядерного уда-ра предполагаемого противника. А он, удар, убе-жден, рано или поздно будет, — стукнул ребром вообще-то мягкой ладони по столешнице. — Мы же должны к тому времени иметь опыт? Матери-ал для медицины, да и для фундаментальной, тео-ретической науки? А?

Курчатов, склонив голову, уткнулся бородою в столешницу.

— ...Да и знать реальное воздействие. Или одними свиньями хочешь отделаться? — вновь усмехнулся Лаврентий, не спуская с собеседника темных и влажных глаз.

— ...Оденем в противогазы, в костюмы химза-щиты и — какой там еще защиты?..

— Не выдержат, — тихо произнес Курчатов.

— ...Поставим на максимально безопасное расстояние, — продолжает Берия. — Ну, киломе-тров на десять. Зароем в землю, в окопы полного профиля, в бетонные укрепления, — давал понять, что говорит вообще-то генерал, хотя и не служив-ший ни одного дня на действительной. — Заодно и проверим — и амуницию, и укрытия на буду-щее. А?

— ...Война, Игорь, будет серьезная. Серьез-нее той, что прошла, — продолжал Берия, допи-вая «Греми». — И готовиться к ней надо всерьез, не понарошку. Тем более что живой массой, пу-шечным мясом мы ее уже не выиграем — у нас просто этой самой массы, мяса уже нету. Одна свинина — и той в обрез.

Разговор принимал опасный оборот: намек вро-де на Георгия Жукова, но академик знал, как болез-ненно реагирует Сталин на подобные намеки: мол, завалили немца собственными, русскими трупами. Линия проводится другая: победил полководческий гений — известно чей. Не Жукова же, разумеется. Сталин, как никто другой в истории Отечества, бе-режет русский народ — заглавный тост на приеме в Кремле в честь Победы провозгласил за него — за русский народ. Который все понимает, все выносит и все прощает... Русский народ... Курчатов сце-пил на коленях крупные, крестьянские кулаки так, что пальцы хрустнули. Его, народа, и впрямь оста-лось — кот наплакал. На доньшке.

— Вы же ученый, — негромко, но настойчиво басил Берия. — А эксперимент — движитель на-уки, даже фундаментальной. Когда еще предста-вится такая возможность?

Наверное, во всей огромной стране сегодня реальную силу г р и б а представлял только Курча-тов. Ну и разговор — да еще в пасхальный день...

— Будь мужественен, — продолжал вынимать душу Берия. — Сегодня ты встаешь в истории в один ряд с великими. Не политиками, — усмехнул-ся Мефистофель, — а пророками. Всего челове-чества, а не отдельной, хотя и лучшей, его части. Будь на высоте своей миссии.

Курчатов поднял усталые от бессонниц глаза.

— ...Я все равно буду убеждать С а м о г о в необходимости испытаний с живой массой. С сол-датами. А не только с манекенами. С хорошо экипированными, надежно защищенными, укры-

тими, в несколько эшелонов выстроенными... Солдатами...

Смешка не было, но Курчатову он чудился. Неужели даже он, Берия, все схватывавший буквально на лету, не понимает, что защиты сегодня — нету? Издевается?

— ...Но хотел бы, чтобы перед Н и м мы с тобою, Игорь, выступали в едином ключе. Ты же понимаешь: Он — человек р е а л ь н ы й. Не кисейная барышня. И даже лучше нас с тобою понимает, что за война разразится завтра. Ты же знаешь: он сам дал американцам утечку о нашем с тобою и з д е л и и, когда его у нас еще и в помине не было, чтобы тем самым приостановить, в замешательство ввести уже вошедших в раж американцев. Чтобы паузу, время выиграть. И теперь, поверь, из нашего с тобою опыта Он будет выжимать все. Дотла. Ему нужен серьезный эксперимент. С которым и утечки давать не придется: он, эксперимент, заявит о себе сам. На всю Ивановскую...

Берия отхлебнул из своего бокала, а второй подвинул поближе к Курчатову. Тот взял его:

— Когда у вас разговор?

— Завтра. Он наверняка позовет тебя к себе. Жди вызова.

— Хорошо, — глухо произнес академик и залпом выпил.

Ненамного он, молодой, но крепко изношенный, да, наверное, еще и облученный за годы, когда вынашивал и рожал и з д е л и е, переживет Берию — всего-то на семь лет.

Потихонечку, но холодало.

— Кофе пойдем пить в дом, — предложил Берия.

Щелкнул пальцами, и пьянящая, сбитая виноградная кисть тут же обозначилась над столом.

— Принеси французского, — поморщившись, повел бровью Мефистофель.

Курчатов подумал про кофе, но принесли коньяк. Это уже отступление от линии.

— Мы с тобою, конечно, патриоты, — пробормотал Берия, бережно принимая бутылку «Курвуазье», — но — за что сражались, черт побери?

И налил в спешно подвинутые дамой новые хрустальные бокалы.

Они выпили. «Никакой разницы, — подумал Курчатов, потянувшись за свисавшей с вазы черешнею. — Гадость — она и есть гадость. Без национальности и классовой принадлежности».

— Пойдем, — тронул его за плечо Лаврентий. — Мне как раз свежие сигары привезли. Гаванские...

— Спасибо, Лаврентий Павлович, — отказался академик. — Я — поеду. Если завтра возможен разговор, надо ведь подготовиться.

— А мне кажется, я тебя уже подготовил, — перебил его Берия, внимательно глядя в собеседника.

Курчатов сделал вид, что не расслышал.

— И потом, вы же сами сказали: могут звонить. Лучше, если домой, по взэч...

— Он знает, что ты у меня. А у меня, как ты догадываешься, есть и взэч, и эсвэч, и черт знает что...

Вон оно как! З н а е т... Только сейчас академик понял, что дело уже решено. В шляпе. Курчатов продолжительно посмотрел на хозяина и протянул большую, лопатой, крестьянскую руку:

— Спасибо. Давно я так не обедал. А уж напи-и-и-лся... — немного дурашливо, нарочито протянул.

— Было бы предложено.

Берия пожал ему руку и, облапив, повел к машине, уже вылезавшей, как длинный бронированный червь, из гаража.

Автомобиль сопровождения ждал за воротами.

Академик опять тяжело откинулся на сиденье и, сцепив ладони, сложил их, как покойник, на животе.

Денек! Воскресение Христово, называется.

Весенние сумерки нежным саваном пеленали готовящуюся к понедельнику, к будням, Москву. Такие — к ране любой прикоснутся, и рана спрячется внутрь. Со стороны посмотришь — вроде бы зажило. Загоилось. А что там внутри, одна только плащаница и знает.

Курчатов смежил набрякшие веки.

ОЖИДАНИЕ

Что помню еще помимо маминой груди, похожей на валеk молодого, наспех сбитого и слепленного сливочного масла и пахнущей только что вынутым из русской печи пшеничным хлебом?

Помню, что сижу на краю огромного пшеничного же вороха, в пыли, возможно, с голой задницей и что-то делаю. Городские дети строили замки-крепости из песка, мы же, деревенские, — непосредственно из хлеба, из зерна. Степь у нас Ногайская, и зерно наше тоже с азиатским отливом — каленое, загорелое. Тверденькая медовая крошка — гречишного меда. Вряд ли я что-либо строю, скорее, просто пересыпаю зернышки из кулачка в кулачок. Я еще слишком мал. И неустанно слежу за матерью. Она с другими женщинами грузит зерно из этого самого вороха в подъезжающие к нему бортовые машины. Грузят вруч-

ную. У машины открывают задний борт, прилаживают к нему деревянный трап, и по этому трапу женщины, парами, в деревянном ящике с ручками поднимают зерно в кузов. Потом, высыпав, вместе с ящиком сбегают по трапу вниз — другие пары деревянными лопатами вновь нагребают им полный ящик.

«Центнер» — называются ящики.

Неужели в нем в самом деле помещалось сто килограммов? Много-много позже я где-то вычитал, что есть английское наименование некоей емкости — центнер. Стало быть, название у ящика было не то английское, не то немецкое, не то вообще латинское (*zentrum* — сто), а вот тяжесть в нем — совершенно русская. К вечеру даже у моей мамы, тогда еще молодой и сильной, руки отваливались, и она их, расхаживая по комнате, нянчила, поставив перед собою «столбиком», как держат и нянчат больных, туго спеленутых детей.

Детских яслей в селе не было, оставить меня дома не с кем, вот мать и носила меня с собою в степь.

Иногда женщин подвозили туда, на ток, на подводе. Но оттуда, по степи, они предпочитали возвращаться пешком.

Даже в самую что ни на есть жару все они в длинных, на резинках, фланелевых рейтузах. И не потому, что были такими уж целомудренными и опасались дерзких посягательств со стороны разбитной шлопотной шоферни.

В рейтузы они украдкой насыпали зерна.

В самом деле — ну чего там насыплешь в сатиновые или даже в батистовые трусы? Ничего — даже если внизу они, как у спортсменов на Красной площади, тоже на резинках. А вот в зимние, фланелевые, толстые рейтузы до самых колен не центнер, конечно, но кое-что войдет. Влезет.

На работу женщины ехали, шли налегке, изредка, как моя мать, обремененные разве что грудничком, а вот с работы, со степи они уже, сторонясь всяких там бригадиров-объездчиков, двигались как груженные пчеломатки. Со взятком.

Если туда и шла какая тощая, словно заживо обглоданная, с полным отсутствием задницы, то оттуда все они ворочались м а т р о н а м и. Было за что взяться — хоть бригадиру, хоть объездчику. Косолапо, враскоряку шли, как ходят крепко беременные. Пышные, хлебные, сдобные формы появлялись даже у самых сухостойных бабенок.

День-деньской мать таскала, возносила ввысь неподъемный «центнер», а ближе к ночи — с тока они выдвигались, когда уже хорошо, надежно смеркалось — несла все на тех же «оторванных»

руках — поставив столбиком — своего уснувшего, пропеченного, прокаленного солнцем первенца.

Транспортеров-зернопогрузчиков еще не было. Они придут к нам, когда я уже мал-мал подрасту.

Как медленно все к нам приходит!

Когда в какой-то из книг Набокова я прочитал, как бедствовал он с женой и маленьким ребенком в Берлине в двадцать девятом году, и наткнулся на упоминание о холодильнике, я крепко смутился.

А когда к нам пришли холодильники?

Сам я телевизор увидел впервые только в шестьдесят втором, в интернате, в городе, а холодильник — и того позже.

Правда, когда у нас с женой и маленькой дочкой он тоже появился, где-то в семьдесят первом, я долго воротил нос от продуктов, которые жена горделиво хранила в нем: на мой деревенский вкус они приобретали в нем какой-то совершенно отчетливый, машинного масла, запах и даже привкус.

Транспортеров не было. Тоненькие руки у матери — будут тонкими, ежели «центнер» вытягивает их в струну! — чугуно черны от загара, а вот лицо под низко надвинутой косынкою странно, неузнаваемо, дико белое. Такие лица много-много позже я увижу в цирке-шапито, у клоунов. Только у клоунов они измазаны белилами, а у мамы — простоквашею.

Так мама спасалась от пекущего южного солнца.

Хотела остаться — русской.

А еще больше — молодой.

Если б не глаза ее и улыбка, всякий раз щедро ниспосылавшаяся мне с верхней точки тяжкого ее вознесения, я бы, может, и разревелся, не угадал бы, что это — моя. Родная.

Это, наверное, сорок девятый.

Что еще из первого?

Как я ее жду.

Зима. Я заперт в доме. Мама на работе. Зимой она работает не в поле, а в бригаде. Бригада — несколько построек, составляющих единый прямоугольник, внутри прямоугольника есть и лошади, и коровы, и даже быки, — как раз напротив нашего дома, но через балку. До нее, наверное, с километр-полтора. Уходя утром на работу, мама берет с собою вязанку. Это веревочная сетка с двумя длиннющими палками по бокам. Уходя вечером из бригады, мама наталкивает в сетку ячменной соломы, взваливает — теперь уже действительно вязанку — себе на спину, сводит обе

палки у себя на груди и, согнувшись в три погибели, бредет потихоньку к дому.

Дома, кроме меня, корова Ночка с теленком, которых тоже надо кормить.

И бригадир закрывает на маму глаза, хотя вообще-то там еще есть на что посмотреть.

На белом снегу мамы не видно. Чернеет только вязанка, катышком, рвано, с остановками подвигающаяся по противоположному склону балки.

Когда навозный жук натужно тащит свой превосходящий его самого размерами и весом круто спрессованный шар, то его тоже со стороны не видно. «Лица», рыльца его уж точно не видать, ибо катит он, крошечный наш Сизиф, свою ношу по существу именно рылом, вставши в известную трудовую позу и упираясь рогами в землю.

Рогами в землю — отсюда, наверное, и выражение «упереться рогом» — задницей кверху и цепкими задними лапками перебирая, чтоб не выронить груз, как белка в колесе.

Я напряженно-напряженно слежу за нею. Но вот она скатилась по пологому откосу балки на самое ее дно и — исчезла из моих глаз. Мне становится страшно. Я влипаю носом в стекло, где мною в морозных узорах давно продышаны лунки, мои заветные окуляры, я замираю в ожидании чуда.

Да, сижу я на подоконнике. Мне, наверное, года три. Определяю это, исходя из размеров и окна, и подоконника. Я их хорошо помню. Они маленькие. И окошки маленькие, а уж подоконники — дощечка перед летком в скворечнике и то просторнее. А я сижу на подоконнике целиком и даже в эту минуту — наивысшего напряжения, когда мама, жучок мой назёмный, скрывается у меня из виду — встаю в окошечке в полный рост.

И чудо — совершается!

Жучок вновь медленно-медленно появляется на белом. Собственно, белое — только внизу. Выше уже сгущаются ранние зимние сумерки. Если б мама была повыше ростом или если б она могла разогнуться под свою ношею, я бы теперь, наверное, видел бы только ее сапоги, разбитые, разношенные, совершенно неженские кирзовые сапоги — прежде чем сунуть в них свои худенькие ноги, она, поверх шерстяных самовязанных нос-

ков, еще и по-солдатски обматывает, пеленает их, ноги, байковыми портянками.

Да, все остальное было бы уже скрыто, съедено мглою.

Какое счастье, когда крохотная букашка, паучок мой на незримой своей паутинке, вплотную приближаясь к нашему дому, окончательно превращается в мою маму! Сейчас, задним числом, мне кажется, что в этот момент окончательно оттаивает все наше окошко. Причем, думаю, не без участия моего тогдашнего крохотного и тугого мочевого пузыря.

Мало сказать, что я, запертый в доме, сидел на подоконнике часами. У меня был очень широкий обзор. В артиллерии это называется «сектор обстрела». Целый мир открывался мне из окна — и земной, и небесный. Дымящиеся хатки и занесенные снегом чужие огороды. Облака, набрякшие над землею, как вымя нездешнего рая. Но в своем продышанном прицеле я терпеливо ждал и выцеливал только эту поначалу крохотную точку. Родинку...

В своем детстве я очень часто ждал свою матушку. Уж так сложилось. Вроде бы и расстояния были невеликие, и разлуки недолгие — хотя как сказать, меня увозили от нее и надолго, — да и самой-то нашей с ней с о в м е с т н о й жизни вышло всего ничего, но... Разве ж в детстве есть разница, километр между вами или еще меньше?

День между вами или всего лишь час? Вас по-любому разделяют, отрезают — по-живому. Точнее всего — разрезают. Потому что вы-то, в утробной своей мудрости, понимаете себя с Н е ю как единое целое.

Вот я и жду — по сей день.

Подоконник, жердочка наблюдательная только стали просторнее, чем тогда, в пятидесятом, в связи с изменением моего собственного телосложения. Да балка между нами куда провальнее. Спустилась, точечкою, куда-то на самое дно, а вот с другой стороны на моем вечереющем откосе все никак не появляется — разве что, все реже и реже, во сне.

Ноша, видать, чересчур тяжела и откос непосильно крут.

Продолжение следует.



Сергей АНТОНОВ

Сергей Антонов родился в Москве. Живописец, член МСХ с 1979 года. Работы находятся в зарубежных частных коллекциях, в музеях страны, в том числе и в Русском музее (Санкт-Петербург). Имеет несколько персональных выставок (ЦДЛ, выставочный зал Союза художников на Беговой, Дом художника на Крымской набережной и др.). По приглашению Министерства культуры Вьетнама в 1999 году состоялась выставка в Ханое. Выставки прошли в Сербии и Германии. Прозу начал писать в 90-х годах. Публиковался практически во всех ведущих литературных журналах. Вышла книга рассказов «Рельеф Кандинского». Член Союза писателей.

ИКОНА НА РУСИ

Под яблоней, а больше и нет ничего, сидит мужик. «Говорят ему чужие люди — продай землю под яблоней, тогда и яблоки купим». И когда не дождался ответа — пришли с мечом... Было это во времени давнем или сейчас? Давно было и теперь. Во время всякое пока живет и дышит Равнина Великая. Человек, рожденный тут, повязан пуповиной с землей этой. Не пришлый человек, рожденный тут, дышит в лад с землей живой и дышит в лад, и любит тихо, беззаветно и землю, и печаль свою.

Почему Равнина, поле? Почему не лес? Не горы? Велико пространство; все возьмет у леса и реки — все поместит на груди своей Равнина, от моря и до моря, ничего не задержит глаз, сонна и зрима бескрайняя сушь, Существо сказочное, живое.

«Нет у них пушек, а земли много. Пойдем и отнимем». И пошли с мечом в чужую страну. Когда это было? Когда забудет человек строгое лицо веры своей — тогда и будет.

Пришли и убили людей чужестранцы. Склонились в горе женщины над отцом и сыном. Были

лица женщин в горе и прекрасны в смерти своей были убиенные. «Кто примет нашу боль, разделит ее с нами и поможет нам?..»

* * *

Образ Богородицы, защитницы, был, наверное, самым почитаемым на Руси. «Ей ли не понять нашу скорбь, когда мы будем искать у Нее успокоения и утешения?»

Первые иконы были привезены на Русь из Царьграда. Первыми иконописцами были греки. Византия переживала не лучшие времена своей истории, и греческие мастера, работая на Руси, конечно, оказали влияние на творчество русских мастеров. Иконопись, прежде всего, отличала связь с историей страны. Русский мастер в условиях татаро-монгольского ига занимал позицию духовного совершенствования, устраняя всякую конкретность, излишнюю материальность, мешающую найти духовное начало в образе. Мастер мог нарушить иконографический канон ради строя образного. Византийское таинство смерти

или искусство Востока, где великаны противостоят пигмеям, тоже чуждо русской иконописи — равноголовье один из принципов, не нарушаемых никогда, по крайней мере, в XII–XVII веках, то есть во времена лучшие в русской иконе.

Икона на Руси — не предмет культа, но выражение высокой и духовной пластической культуры.

Конечно, икона связана с архитектурой. Храм православный, части его устремлены вверх, уходят вверх к куполу и венчаются куполом высоким, то есть «Небом». Пространство внутри храма соподчинено человеку — это не собор готический, где молящийся в первозданном пространстве оставлен внизу и молитва его еле слышна. «Небо» в православном храме высоко, но не «враждебно», не холодно высоко, «Небо» слышит и принимает молитву. Помните: «...где-то высоко, у Царских врат, причастный тайнам плакал ребенок...» Икона, краски ее имеют свой ритмический строй, свою музыку, драматизм, обращены к человеку, слышат его и говорят с ним.

«Троица» Рублева! Три фигуры, даже не фигуры, изображения фигур, где справа голова ангела наклонена влево, ровно настолько, чтобы сообщить ритм движения фигуре ангела в середине, тоже с головой, наклоненной влево, и возникает движение к изображению третьего ангела — с головой, повернутой вправо, навстречу движению общему, но третья фигура не останавливает общего ритма, оставляя движение здесь, в группе из трех фигур, сообщая общему ритму направление внутрь иконы и опять не заканчивая общего движения, отдавая музыку движения первому ангелу. Музыкальная форма, рондо, круг, сделана художником гениально. Голубой цвет фигуре первой передается, но чуть больше фигуре в центре, и совсем немного фигуре, изображенной слева.

Но художник сообщает общей композиции движение вверх, сложное движение синкопой, не останавливая общего кругового движения.

Плотный коричневый цвет ангела в центре нужен художнику для того, чтобы оставить фигуру в плоскости вместе с фигурами справа и слева.

Идеальная, великая композиция!

Ветка дерева над головой ангела в середине сообщает и круговое движение, и направление вверх, сложное движение синкопой. Это далеко не все, что можно сказать о «Троице» — великом произведении гениального мастера.

Жаль, что творчество Рублева незряче используют в кино и в смежных искусствах.

Сейчас в наше время иконы лучших мастеров находятся в музеях страны. Это, прежде всего,



Спас Нерукотворный

продиктовано условиями хранения с постоянной нужной температурой, которую не может дать церковь.

Назначение иконы — много шире: «...в густом дыму сверкнет святое знамя и ханской сабли сталь...» Иконы выносились вперед, перед войском, в храме икона служила вере людей, иконы ставили в красный угол в избе, то есть икона сопровождала человека во всей его жизни. Икона XII–XVI веков приобретала у мастеров иконописи чисто пластические, композиционные построения: круг, квадрат, треугольник, диагонали и прямые. В иконе XII века «Спас Нерукотворный» в квадрат вписан круг более легкого, золотистого цвета. В круге голова укреплена еще белилами, горизонтально и намеченной вертикалью над головой Спаса. Таким образом, она так укреплена, что нет необходимости делать шею и плечи.

«Чудо Георгия о змие!» Великолепный цвет: белый с красным и с охристым фоном квадрата. Полукруг движения начинается с ноги коня и подхватывается выгнутой шеей коня и потом красной пикой и линией плаща, идущей вверх, в угол иконы. Возникает диагональ, прочно держащая изображение в прямоугольнике. Художник, не ослабляя общего движения, рисует пику, то есть прямую. Общее, большое по диагонали движение сообщает полукруг щита, и происходит чудо: фигура всадника оказывается с одной рукой, чего вообще не замечает зритель. Композиция выстроена совершенно. Здесь проявляется еще одна сторона



Чудо Георгия о змие

иконы. Вещи в иконе не реальны, не конкретны. Конкретность практически мыслящего Запада чужда иконе, в иконе мастер идет много дальше, преобразуя изображение пластически и приходя к духовному образному началу.

Фигура в западном искусстве материальна, скульптура объемна настолько, что зритель может видеть и спину изображения, что приводит к нарушению тайного вечного. В иконе мастер стремится к дематериализации, не разрушая плоскости, уходя от материальных объемов.

Мастера иконописи подходили к перспективе, не разрушая изображения, не размывая контуров, сохраняя плотность, предлагая иной путь, то есть путь, которым шли Пикассо и другие мастера, в том числе художники русского авангарда. Малевич, написав «Черный квадрат», предложил только одну из пластических фигур, чего недостаточно мастеру иконописи, где круг, квадрат, треугольник, прямоугольник — лишь средства живой общей композиции.

Принцип равноголовья нарушался тогда, когда художник думал о перспективе. В иконе начала XV века «Рождество Христово» иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля художник нарушает принцип равноголовья. На первом плане фигуры больше по размеру. На вто-

ром плане — фигуры меньше, а на третьем — еще меньше, то есть получает пространство не теряя, не размывая очертания фигур. Изображение Богородицы в центре иконы по размеру равно фигурам на первом плане, но, чтобы не разрушить целостность композиции, используется вертикаль, идущая от справа сидящей фигуры и с синкопами уходящая вверх. Почему Алпатов считает композицию иконы во многом случайной — непонятно. Прекрасная икона!

«Нет у них пушек, а земли много, пойдем и отнимем». И пошли с мечом в чужую страну. Пришли и убили людей. Склонились в горе женщины над отцом и сыном. «Кто примет нашу боль, разделит ее с нами, поможет нам», — думали женщины.

На Руси иконы Богородицы часто имели значение икон моленных, чудотворных, например, Иверская Богородица или Казанская Богородица. Богородица Владимирская 1155 года, привезенная из Византии, имела значение чудотворной, но вместе с тем была прекрасным образцом начала художественного. Владимирская Богородица XIV века с изображением младенца Христа, прильнувшего к Матери, — пластическое, чудесное слово о материнстве. Эта тема вечная не только в иконе. Если мы вспомним «Мадонну с младенцем» Леонардо да Винчи, то не увидим там освещенной трагедийным смыслом великой материнской любви, будто единственно главной во всем свете.

«Успение», «Рождество Христово», «Покров»... В иконах на эту тему образ Богородицы является главным и великим. В «Благовещенье» XIV века фигура Богородицы — в темно-коричневом одеянии, помещенная художником на легкий сиреневый фон стены. Две полукруглые формы арок стены, одна больше, вторая поменьше и выше, идут от изображения Богородицы к фигуре ангела, сообщая движение навстречу, вместе с тем оставляя фигуру Богородицы на первом плане. Общий ритм склоненной фигуры головы Богородицы и двух проемов стены создает пространство, и, как часто бывает, в иконах талантливых мастеров пространство не разрушает плоскость и делает образ Богородицы центральным, главным.

Тема материнства, тема любви матери к сыну, дочери к детям своим — есть истинно русская тема, тема часто трагическая, связанная с непростой историей Руси. Тема времен сегодняшних. Много примеров любви матери есть в живописи светской, но только икона отыскала любовь неброскую, потаенную и вечную. Икона не заключена в раму, изображение сейчас выйдет к человеку, к людям, выйдет, поможет и заступится ликом своим.

* * *

Чего же больше в иконе великих мастеров — искусства или Веры? Чем больше мы вглядываемся в икону, тем яснее видим: Вера, и искусство, и жизнь человеческая рядом в иконе.

Как мне говорил старый еврей, влюбленный в искусство, «искусство — это солнце, и нельзя, невозможно управлять солнцем».

Может быть, если уж применять это слово.. Но при ярком полуденном солнце достал пистолет Ван Гог, великий художник. И тут уж не то что соприкасаются жизнь и искусство, но отторгают друг друга напрочь. Последняя работа — черные вороны над полем — гениальная работа.

Стоя перед картиной большого мастера, повернул голову к окну, увидел за окном сноп солнечного света, и на минуту стало не по себе, потому что далеки были друг от друга жизнь за окном и искусство.

Писал Достоевский, что красота спасет мир, имея в виду красоту души. Но как добраться до подобной красоты? Может красота поднять тебя из окопа навстречу пуле? А дальше... Дальше жизнь — или убьет, или помилует — и лицо, склонившееся над похоронкой, прекрасное в этот момент лицо, потому что отчего-то бывают люди красивы в моменты такие — но лишь в короткие, в целой жизни, мгновения.

Расставил Господь знаки искусства по всему миру людскому, и первая тут «Троица» Рублева. Глядя на «Троицу», и чист ты, и готов к поступкам благородным. Почему? Существуют эти знаки и в искусстве, и в народе, словно говоря: «Сила твоя здесь, помни великие знаки, что начертал Я, Господь, для тебя, народ. Вспомнишь о великих твоих соплеменниках, и повяжут они тебя в целое кровью своей — не простые это знаки, “чисто, свято в знаках все”».

Поле искусства — такое же поле борьбы за верховенство, подчинение одной общности другой, имеющей другие ценности, другую веру во зло и добро. Проигрыш означает распад нации, а значит, потерю страны.

В наше не лучшее время на русскую культуру идет наступление, активное наступление не только сионизма, но и массовой выхолащенной западной культуры. Лица, склоненного над похоронкой, они не знают и не любят. Они отторгают нашу историю нетерпеливо, почти с наслаждением. Обратившись к искусству, думаешь: возможно ли воплотить трагичное, прекрасное в живописи или передать в звуке? Думаешь оттого, что необходимо это и невозможно сейчас. И оттого



Благовещение

это сейчас невозможно, слушаешь Седьмую симфонию Шостаковича и находишь в звуках тот же трагизм прекрасного.

Так, может быть, только гении нужны обществу? Нет! Не вырастет дерево без почвы. В цветочном горшке не вырастает прямая корабельная сосна, поливай, окучивай, подкармливай землю в горшке — не вырастет в горшке дерево: мал горшок и жалок. Для того и существуют пирамиды безвестных художников. Чтоб венчали пирамиды Великие мастера.

«Живопись — это поэзия, которую видят...» — писал Леонардо да Винчи. Три корня имеет древо искусства — живопись, поэзию, музыку. На могучих трех корнях покоится и ствол, и крона.

Известный, крупный психиатр говорил мне: «Знаете, я ведь работаю как антенна — двигаю, передвигаю антенну. То вверх, то вниз — ищу ответ, часто долго ищу, ошибаюсь, и снова шарю антенной там, где возможно и невозможно, и так до тех пор, пока не обнаружу, наконец, — вот оно!»

Художник, только родившись, еще не способный ни к чему, не обученный ничему, слышит и шум ветра в поле, видит серый затоптанный снег железнодорожной платформы, видит желтые ступени ночной лестницы, где в темноте, наверху лестницы, сидит фигура неопрятная — он еще не знает, что это Паша протягивает ему початую бу-

тылку, не знает, что уже тяжел груз на плечах неокрепших, детских плечах. Нелегок дар Божий, но получил — плати по счету. И платит. Всю жизнь платит. Не ступени желтые — свадьбу веселую пишет, но и тут все непросто — не выходит под венечное платье, а без него какая свадьба? Но дар Господа другой — он к ступеням желтым относится, не к белому платью...

Почему корни дерева — поэзия, музыка, живопись? Отчего Сальвадор Дали эклектичен? Информации много, для живописи много. Дали и сам прекрасно знал это. Добро и зло, любовь, ненависть, смерть и жизнь — всего-то огромные камни, на которых и устроен мир — и держится на них, и существует благодаря им. Убери камни, и рухнет все. Все здание, что возводил человек, рухнет.

Вечна фигура Рыжего клоуна, с незапамятных времен существует. Кувыркается на красном ковре Рыжий, смеются зрители, но ведь не только смеются...

Сразу и не поймешь — хлопается Рыжий на красный ковер и разгоняет тоску сегодняшнюю. Но почему так хватается за него Феллини: помоги, Рыжий... И помогает Рыжий, потому что добро заложено в нем, и тысячу лет хлопается Рыжий смешно на спину, и в тысячу раз сильнее он Феллини — не временная фигура Рыжего — вечная. Тоже знак свыше для всех и для каждого.

Говорю я об искусстве, только начал сверху, с верха мне понятнее.

В науке ведь все ясно — почему она и зачем. Не от Бога, от человека наука. «Эстетическую узду» наука не примет — разные исходные точки. Обворованная проститутка — тут Феллини Рыжий помог; а вот атомный гриб на небе? Не от Рыжего, и если закачается огромный гриб над красным живым ковром, то в рай Рыжего Бог возьмет, очистит от земной дряни и яблоко с древа Адамова Сам даст.

Схожи фигуры Рыжего — здорового телом и духом — и, кажется, слабого, нелепого в горькой жизни своей, спившегося Паши. Похожи оттого, что отторгают оба зло, не прилипает Зло ни к одному, ни к другому. Не возьмут и Рыжий, и Паша тридцать сребреников. И потому, что не возьмут, пинают люди и того, и другого.

Изучали русскую историю и Бунин, и Горький и пришли к выводу отрицательному. Однако жестоко и зло посмотрел Лев Толстой на фигуру Наполеона, и вышел из-под пера мастера не полководец, но мясник. Прав был художник, защищая землю и историю народа своего. Поэтому и велик.

Лукавят люди, говоря: «Богу — Богово, кесарю — кесарево». Записали это давно и в картине отметили. Но не так — все Богу! Мясник же всегда мясник, не более. Может быть, и посылает Бог на землю мясника, когда начинают во злобе неистовой пинать Рыжего.

Не нам решать. «Есть миры иные».

И еще о науке и искусстве.

В 1908 году записал А. Блок: «Менделеев и Толстой. Острейшее волнение (противоречие). Не могу принять: двух бездн, Бога и дьявола, двух путей добра, — две нити вместе свитых».

Серебряный век! Еще не снесли люди искусство в темный чулан, как вещь бесполезную.

Сытый холоп боится крови, как боится страны собственной, и если убьет — не своими руками.

Не имея стержня, принял он чужую веру, готов он к предательству, подчиниться готов всякому, кто наступит на него ногой в сапоге или в тапочке, готов к этому, как всякое бесполезное насекомое.

Но другие, стоя по колено в крови, поэты по крови своей, верили себе, и только себе, они и умерли, дочитав строки своей веры и своей поэзии.

На стыке двух поэзий и появился русский авангард. Иначе и быть не могло тут. На сломе двух эпох и могло только появиться явление, подобное русскому авангарду. Сказка — не иначе — верил русский художник одной «правде», оказалось же, что теперь верит в поэзию новую и следует ей, а связь с поэзией времен далеких не ослабла — наоборот, ожила.

И квадрат, и круг, и треугольник — компоненты сугубо пластические, взяты Малевичем из иконы.

Точка и прямая, цвет Кандинского — также из иконы.

И «Купание красного коня» — также оттуда.

Прекрасный художник Попова — оттуда же.

В свободе неслыханной в России невразумительны были слова поэта: «Современный художник — искатель утраченного ритма (утраченной музыки) тороплив и тревожен: он чувствует, что ему осталось немного времени, в течение которого он должен найти нечто или погибнуть».

Но как ни высоко и прекрасно небо, не добраться до иконописи — подложил Господь скамеечку Рублеву, и только ему.

Но если взять от Великого часть, точку, треугольник или квадрат — не квадрат это Сезанна, идеальная пластическая форма — нет, будет квадрат совсем другим: буква, знак или вовсе нечто. Существует квадрат Малевича, существует вопреки всему понятному и объяснимому зрителю левитому.

Однако понятен квадрат человеку знающему и чувствующему пластику, царящую в искусстве высоком, понятен, как часть ее, а за частью, может, увидит в далеком все сотворенное Богом целое. В иконе квадрат — не квадрат Малевича, а часть иконы только пластического свойства.

Если предварительно остановиться на иконе, то есть только наспех закончить разговор об иконе русской, дорублевского периода, следует заметить, как изменилась во многом, в главном, икона на почве русской. Прежде всего, во фреске и письме краской. Изменилось смысловое, драматическое начало. Крепко сделанная композиция и письмо в византийской иконе не имели той трагичной высоты — высоты почти «у царских врат», которые уже имели место у Феофана Грека. Но только русские иконописцы нашли средства выражения, выходящие далеко за признанные образцы иконописи. Совершенно непонятно, как мог сравнить Алпатов цвет Клее и цвет, гораздо более ценный, высокий, окрашенный святым и трагедийным началом, цвет Рублева и далее до конца заката русской иконописи XVI–XVII веков.

На Западе существует мнение, что русский поэт никогда не напишет «ветер дует через гору» — русский художник ближе к земле и поэтому ограничен.

«Ближе к земле...» — тоже имеет свои преимущества. Но в иконе художник стоял не на лесах строительных, как, скажем, Микеланджело. Русский иконописец вообще-то не стоял, а если и стоял, то на ладони у Бога.

Русская икона, прежде всего, предложила иной путь человечеству, поставив духовное выше материального. И не найти в иконе начала агрессивного.

Гроб Господень не добывают с мечом.

Петр сделал шаг, подчинив Церковь государству. Шаг был огромен во времени и привел к потере идеи. Измельчанию ее.

Хоры в «Хованщине» — великие хоры, может, лучшее, что написано Мусоргским, и уверен, что звучали хоры за Аввакума, сожженного еще при Алексее Михайловиче за Веру свою.

Русский народ больше, чем какой-либо другой, верил и следовал за идеей, то есть прежде за духовным, изначально сидевшим в нем началом.

Не было в России основополагающим: Богу — Богово, а кесарю — кесарево. Не было и быть не могло.

Уже от Петра отвернулась икона, укрыла лик свой, метался русский человек, мечтал и матерщинничал. Толстой, возможно, первый почувствовал слабость Церкви, восстал первый — так

ли восстал или не так — это его, гения, дело. Но ведь восстал...

После смерти Толстого существовали в России прекрасная литература и искусство, но не было в ней уже ни Толстого, ни Аввакума.

Если просил о Хлебе, о Мире, о Земле русский народ, так слишком мало просил для народа Великого! Хотел Веры народ — хотел оттого, что всегда жил так. И, стоя по колено в крови, большевики дали народу Веру — сами верили до конца, до стенки или до мира прекрасного. Никого не смущала кровь на русской огромной земле. Кровь лили рекой во времена всякие — ничего не значила кровь за Веру. Никогда бы не поверил народ человеку неверующему. Но ведь и те, кто пришел, — Аввакум новый, готовый и к яме, и к стенке, за все отвечал — прежде всего за Веру, потому что то началом всему была Вера. Отлучили церковь от государства, и честно было то, и предпочли Веру другую, неведомую — без Бога. Я не знаю, хранили ли народ Веру, с которой жил издавна, под рубашкой холщовой или пошел за большевиками, потому что всегда замешана Вера на крови. И пока были эти первые, что и начинали, крепка была Вера. У стенки, держа в руках святое для них — Веру непоколебимую, — умирали под пулей.

Время и святое, и кровавое кончилось, и Вера кончилась. «Существуют миры иные...»

Победил в споре человек или человечество? Человечество, считавшее всемирную историю развития своего верной, и верной единственно. История изучается с давних пор и является истиной непреложной.

Но ведь Папа Пий XII поднял кисть Тициану. Бетховен ходил под негласной охраной курфюрста — охраной от толпы, а потом, спустя века, Ленин, прослушав «Аппassionату», воскликнул то же самое в крошечной мгле рождающегося мира, воскликнув из утробы сотворенного им же, человеком.

Веласкес, Бах, Лорка и все те, племени и рода того же, их всех немного, к сожалению, всех потребовал Человек, и явились они на зов его, или на зов Великого преступника. Пирамиды египетские — ужас, жестокость — или треугольник огромный, как солнце. Готика раскачивалась, как инвалид на костылях, стремилась ввысь, звала Бога. Но не делил Бог правых и неправых...

И опять самый легкий ответ: «Существуют миры иные...» Но, возможно, и самый трудный?

Возможно, что в боли рождено искусство — боль главный толчок? Но уже рожден художник, но и боль не успокаивается у каждого большого художника, с каждым шагом вверх усиливается.

Люди, сидевшие в концлагере, когда смерть рядом, часто не только вспоминают эту смерть на бритом затылке, но и, уже став свободными, ощущали это состояние пограничное как наиболее реальное, чем все за тем следовавшее. Я знал художников, поэтов, не сделавших бы ничего в искусстве, — боль, как на удавке, тащила их вверх, и они шли или умирали.

Все написанное о природе искусства было бы общим местом, если бы я сам заглянул хотя бы раз в это чрево первородства — неглубоко заглянул.

Боль рождает красоту? «Ты помнишь? В нашей бухте сонной спала зеленая вода, Когда кильватерной колонной Вошли военные суда» — может, выкинуть слова подобные на помойку? — нет здесь боли, но стихи-то есть. Тогда не боль? Совокупность всего нам ведомого, может быть, Добра, прежде всего?

Паша в сумраке желтой ночной лестницы протягивал мне бутылку — протягивал, отдавая все, оттого, что бутылка припасена была всему, что имел он, — на всю долгую зимнюю ночь на желтых ступенях. Уходила фигура в темноту, и я знал, всегда знал, что не потребует силуэт сей ни рабов египетских, не пошлет убивать невинных — так, может, это и был художник, сумевший отдать Все.

Все русское искусство занималось человеком вышеописанным, но никто не мог или не посмел перейти черту. Как это ни парадоксально, один Рыжий смог, куврыкаясь на красном ковре.

Рыжего ведь тоже никто не смог изобразить. Шут у Веласкеса — это шут, не более. Казалось, так здоров и материален Рыжий — вот он, рядом, веселый и всю жизнь одинаковый — не Петрушка, не Арлекин. Долго пытались обозначить Рыжего, чтобы приблизиться, понять, разгадать загадку. Слова Достоевского о слезе ребенка — только слова, и только. Должной силы нет в них, потому что нет под ними соответствующей сильной твердой основы. Рыжий ребенка смешит, и оттого смеется ребенок. Может, оттого и вечен Рыжий на красном ковре.

Вышел из желтого подъезда Паша, попал под лошадь, и только в пивной, такой же желтой и грязной, узнал в помятой Пашиной фигуре Достоевский Мармеладова. Но только стоя на эшафоте, когда качалась веревка в сером петербургском небе, тут только, или позднее, но начало тут, появилась Соня в наряде грошовом, разукрашенном под улицу.

В мое время, когда побеждает сюжет, не «пластика», — не нужен прагматичному Западу неудачник на желтой ночной лестнице.

«Запад клеветал и сам не верил...» — прагматичный Запад прежде России отвернулся от пластики и проиграл: нельзя путать серебро и ложки оловянные. Хлебная суп дешевой ложкой оловянной, смотрел я в угол на Божию Матерь. Не оставит Божия Матерь Россию...



Марианна ТАРАСЕНКО



Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Тартуского университета (специальность «филолог-русист, преподаватель»). Работала учителем в школе, затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После ликвидации кафедры вернулась в школу. В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».

ПРИЯТНОЙ ВАМ ПУТАНИЦЫ

Каждому человеку, окончившему хотя бы начальную школу, известно, что числительные бывают еще и дробными.

Дробное числительное обычно состоит из двух частей, первая из которых называет числитель дроби и представляет собой количественное числительное, а вторая часть называет знаменатель дроби и представляет собой порядковое числительное: пять шестых, три девятых, одна четвертая, семь десятых. Таким образом, в языке мы имеем дело с гибридом количественного и порядкового числительных.

При склонении дробных числительных склоняются обе части: первая — как числительное, обозначающая целое число, вторая — как прилагательное во множественном числе (за исключением тех случаев, когда последняя или единственная цифра в числителе — единица). Например, к двум восьмым, от двух восьмых, но одну пятую, с одной пятой.

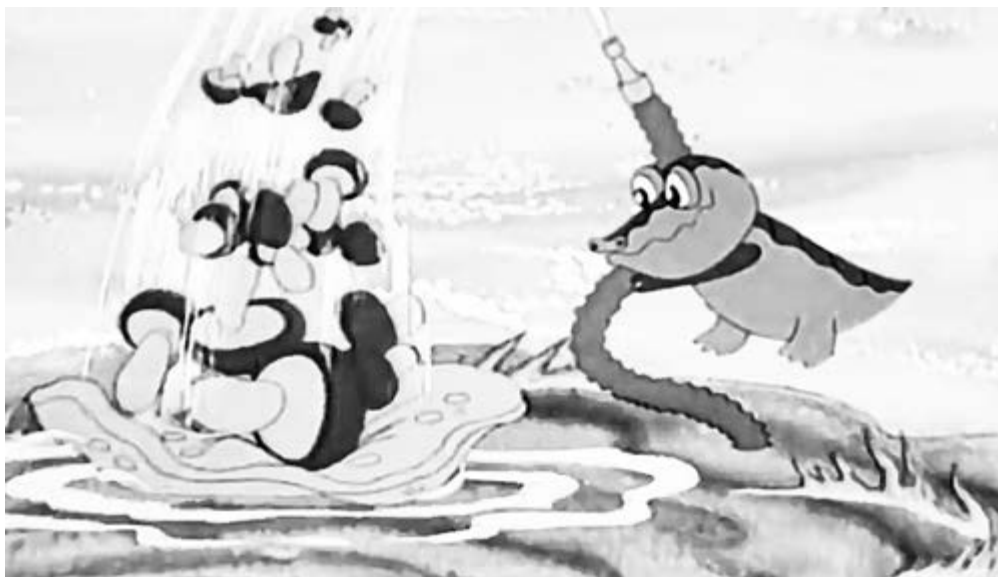
Если дробное числительное обозначает количество, то существительное при нем ставится в родительном падеже (две третьих яблока, шесть десятых площади) и при склонении числительного не изменяется (о двух третьих яблока, к шести десятым площади). Порядковое числительное во

второй части дробного не имеет формы именительного падежа, поскольку от первой части к ней задается вопрос «каких?»: шесть — каких? — восьмых. Исключение опять-таки составляют числительные с единицей в числителе: двадцать одна сотая.

Итак, внимание: пять целых четыре седьмых головы, нет пяти целых четырех седьмых головы, прибавить к пяти целым четырем седьмым головы, сложить с пятью целыми четырьмя седьмыми головы, остановиться на пяти целых четырех седьмых головы.

К дробным числительным относится и окаянное слово «полтора», в именительном и винительном падежах различающееся формами рода: полторы конфеты и полтора лимона. В остальных падежах употребляется форма «полтора»: нет полтора метров, к полтора тарелкам, о полтора тысячах, полтора годами моложе.

Окайным я назвала это слово потому, что обе его формы — и женского, и мужского рода — в именительном и винительном падежах не сочетаются с существительными, имеющими форму только множественного числа, — такими как «брюки», «сутки», «ножницы» и т. д. И если мы имеем дело с ножницами, очками, брюками и



прочими штанами, этот факт можно пережить, но слово «сутки» в компанию к слову «полтора» (или все же «полторы»?) так и просится. И народ старается кто во что горазд: тут тебе и «полторы сутки», и «полтора суток».

Первая конструкция вообще не имеет права на существование, а вторую, «полтора суток», некоторые источники, хоть и со скрипом, считают допустимой, при этом признавая, что грамматически это сочетание небезупречно. Да и человеку, обладающему языковым чутьем, оно режет слух. Почему? Да потому, что числительное «полтора» управляет существительным в единственном числе, а его у слова «сутки» нет. А раз нет единственного числа, мы не можем определить род и, соответственно, не знаем, какое слово употребить — «полтора» или «полторы».

Самое обидное, что многие существительные, не имеющие формы единственного числа, в согласовании с числительным «полтора» вовсе не нуждаются. Например, это имена собственные и названия веществ, игр, процессов, природных явлений и временных отрезков — «Альпы», «румяна», «чернила», «жмурки», «хлопоты», «сумер-

ки», «каникулы» и т. п. — их просто не может быть ни полтора, ни полторы. Другие существительные, называющие парные, составные предметы, можно, извернувшись, расчленив и преобразовать: «полторы штанины» или «полторы половинки ножниц».

А сутки, будь они неладны, так и просятся в компанию к «полтора», но с числительным этим не согласуются, хоть ты тресни, и не преобразуются ни во что. Согласитесь, что конструкция «полторы половины суток» требует очень серьезного осмысления и долгого переваривания. Что же делать? Выкручиваться, то есть выражать заданный смысл описательно, благо возможностей для этого предостаточно. Например, поезд идет: сутки с половиной, в течение полутора суток, около полутора суток, сутки и день (ночь) и так далее. Заметьте, что с формой «полутора» те же самые «сутки» прекрасно сочетаются, поскольку эта форма едина для обоих родов — и мужского, и женского.

Кстати, числительное «полтора» по сути тоже сложное, образованное от слов «пол» (половина) и «втора» (второго).



Станислав АСЕЕВ

Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4 за 2015 год

МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ

РОМАН-АВТОБИОГРАФИЯ

Рисунок Настасьи Поповой

ГЛАВА 11. «В ПОТЕ ЛИЦА ТВОЕГО...»

Мои скитания по просторам денежных полей начались еще в глубокой юности, когда, будучи учеником десятого класса, я устроился помощником библиотекаря в местную избу-читальню. Работа моя состояла в том, чтобы изо дня в день в тусклой душной комнатенке приводить разбросанный библиотечный каталог в соответствие алфавитному указателю, что было невероятно нудным и угрюмым занятием. Чтобы хоть как-то себя развлечь, я стал запоминать расположение книг на полках по их цветам, так что в итоге выходило нечто вроде разноцветной шифровки, яркой мозаикой встроенной мне в мозг. Но и это занятие мне быстро наскучило, и я отыскал среди пыльных книг энциклопедию ренессансной живописи и стал проделывать похожий трюк, но уже с картинами да Винчи и Рембрандта: соотнося с каждым цветом и его оттенками определенное число, я переводил бесконечный душевный порыв художника в вполне ограниченную цифровую запись и однажды даже составил график «Видения Иезекииля». Надо ли говорить об абсолютной бессмысленности подобных занятий, вместе с тем служивших отличным примером того, как можно не замечать угрюмых складок вечности у собственных часов.

Учитывая, что работал я на четверть ставки, мой общий оклад к концу месяца составил всего сто восемь гривен, после чего забирал я его целых сорок пять дней, потратив пятую часть суммы на одни лишь поездки по местным кабинетам чиновников, столь строго следящих за детским трудом.

Далее последовал достаточно большой перерыв, после которого, будучи уже на третьем курсе, мы с моим приятелем принялись раздавать газеты на донецких улицах в пользу одного из кандидатов в мэры и выслушали за весь период работы все, что думал рядовой шахтер обо всех этих «людях нетрадиционной половой ориентации, рвущихся на тягчайшие должности нашей страны».

Впрочем, настоящий успех ждал меня впереди, когда уже через год я вдруг решил приумножить весьма приличную сумму накопленной за несколько лет стипендии, влив ровно тысячу долларов в международный валютный рынок, где можно было зарабатывать миллионы не отходя от экрана компьютера. Идея была невероятно проста: купив определенный вид валюты по одной цене, необходимо было продать его по другой, значительно выше первой.

Но у читателя может возникнуть вполне законный вопрос — откуда у простого украинского

студента такие средства, да еще и вовсе не вписывающееся в местный ландшафт желание их приумножить? Что ж, все дело в том, что, сколько я себя помню, я всегда собирал деньги. Начиная с шестилетнего возраста, когда мама впервые дала мне несколько пятаков на тогда еще диковинные американские жвачки, а отец привез из Москвы в подарок целых пять долларов, я не тратил ни копейки, постоянно откладывая определенные суммы то от продаж макулатуры, то от сбора цветных металлов на местных помойках на совершенно неясные цели. Прочувшись в университете пять с половиной лет, за все это время я едва ли позволил потратить на себя и десять процентов суммы, которую щедро платило мне государство в виде повышенной стипендии, ездя домой с двумя пересадками с тем, чтобы экономить семьдесят пять копеек в день.

Что же до торгов валютой, то за год я собирался заработать не менее двадцати тысяч долларов, часть из которых думал потратить на поездку в Легион, а остальную часть суммы спустить в свое удовольствие уже после того, как через пять лет вернусь с зеленых полей Франции героем войны.

Когда я зашел в фешенебельный офис, располагавшийся в одном из элитных бизнес-центров Донецка, мне тут же предложили выпить чашку кофе на мягком кожаном диване и подождать, пока господин N, собственно, и проводивший беседы с вновь прибывшими инвесторами, освободится. Черт! Чувство собственной значимости едва не поглотило меня целиком, и я насилу удержался, чтобы не представиться мистером Блэком. Это был офис богатой компании, действительно порочающей приличными суммами, и для молодого украинского студента уже само присутствие здесь означало наличие собственных жилых апартаментов в центре Лос-Анджелеса.

Господин N оказался чуть старше меня самого, что поразило меня до глубины души. Впрочем, говорил он уверенно и весьма разумно, но мысль о том, что кто-то в мои годы уже имеет собственную компанию или, по меньшей мере, занимает в ней далеко не последнее место, тогда как собранная мной тысяча долларов за бог знает какое время уже давно прилипла к моей руке от волнения, заставила меня усомниться в декартовских истинах о человеческом достоинстве, причем, указывавших лишь на ценность мышления, совершенно ничего не сообщая о том, куда это самое мышление должно направляться. Очевидно было одно: думать о евро куда полезнее, чем размышлять о бытии, ибо ни то ни другое не приносило мне никакого удовольствия, но второе, по-видимому, уса-

дило меня именно с той стороны стола, с которой я и находился, а не наоборот.

Но едва мой собеседник открыл рот, как мне тут же вспомнился один из эпизодов старого фильма, выражавший всю суть ведшейся беседы. О, позвольте мне сказать пару слов об этом фильме! Теперь я уже не припомню его названия, но это и неважно, ибо главный герой, которого звали Джордж, был целиком поглощен идеей обогащения, въевшейся в его мозг после беседы с одним из парней с Уолл-стрит, который сказал ему следующее: «Черт, Джордж! Ты хочешь стать настоящим хозяином жизни, летая на собственном самолете в Милан и выпивая бокал шампанского за семьсот баксов, или закончить свое вонючее существование в стареньком форде с женой Даффи на заднем сиденье?» Эти люди общались со мной примерно в таком же стиле, и разница была лишь в том, что у сидящего передо мной Рокфеллера не было кубинской сигары в широком улыбочивом рту. Безусловно, такое явное надувательство сперва меня оттолкнуло, но никакой альтернативы заработку миллионов из воздуха в то время я не видел, и, более того, у меня самого не было никакого желания вникать в непонятные методы анализа финансовых рынков и мигающие котировки, для чего я тут же нанял предложенного мне трейдера, разделив с ним мой будущий многомиллионный доход в соотношении сорок к шестидесяти.

Мы пожали друг другу руки в знак успешно заключенной сделки, и я благополучно отправился домой, где на тусклом экране компьютера меня ждал неприятный сюрприз: едва я взглянул на работу моего компаньона, как тут же обнаружил проигрыш пятидесяти долларов за те сорок минут, что я ехал домой. «Что ж, — подумал я, — ведь сделка еще не закрыта. Как знать, быть может, к завтрашнему утру...» Но на следующий день пятьдесят долларов превратились в семьдесят, которые я потерял за неполные сутки, и несмотря на то, что за следующую неделю мой трейдер сумел выбить для меня в этих жестоких боях пару сотен, общий итог недели был минус сто, после чего я разорвал контракт и принялся самостоятельно управлять новым бизнесом.

Вначале мне показалось, что более примитивной вещи, чем игра на бирже, попросту не существует. Чего тут думать? Покупай дешевле, продавай дороже, вот и все дело. И как только этот идиот умудрился так бездарно проиграть мою сотню! Когда же я стал терять по двести-триста гривен в течение пяти-десяти минут, то осознал, сколь зыбкой оказывается связь между поднятием цен на нефть и заявлением немецкого канцле-

ра о намерении укреплять европейскую валюту. Короче, за месяц с небольшим от первоначальной тысячи осталась лишь четверть суммы, которую я с полным провалом благополучно снял со счетов. Этот урок я запомнил на всю жизнь, закрепив его в виде эпитафии великолепной фразой одного из моих преподавателей, так вовремя мной и не услышанной: «Это же просто жалкое зрелище — интеллигент, пытающийся заработать деньги».

Думаю, тот шок, который я испытал, потеряв столь огромную для себя сумму в такой кратчайший срок, стал причиной, по которой я до сих пор отношусь к деньгам как к чему-то сакральному, так же таинственно возникающему, как и исчезающему вне наших собственных представлений о нем. Конечно, это не так. Но тогда желание быстро заработать, не прилагая, в общем-то, никаких усилий, было очередной песочной чертой, переступив через которую я начал новый этап своей жизни.

Впрочем, настоящие трудовые будни начались лишь по возвращении из Легиона, когда мое нежелание думать чудесным образом совпало с предложениями местного рынка труда, на котором ваши мышцы пользовались куда большим спросом, чем ваши мозги.

Первым местом, куда я попал, была местная лесопилка, на которой я таскал бревна, грузил леса, распиливал остатки коры, собирал опилки и вообще делал все, что было заранее определено начальником смены еще в начале утра. Здесь я впервые почувствовал себя заключенным, ибо и характер работ, и обстановка из бетонных плит с колючей проволокой на верхушке весьма напоминали места не столь отдаленные, кроме того, в небольшом пространстве этого места повсюду были камеры, дабы никто из местных рабов и думать не смел о том, чтобы присесть на пенек и на минуту перевести дух. Надо ли говорить, что все работы велись здесь неофициально, и пройти на территорию «зоны», как в шутку называли это место сами участники трудового дня, можно было лишь после специального постукивания в тяжелую ржавую дверь.

Великолепие лондонской жизни и лучших светских балов едва ли сравнится с восхитительным блеском трущобных огней, манящих чистотой праведной жизни, где каждый кусок съеденного хлеба смачивается каплей пота и гордости за достойно прожитый день. Именно это обстоятельство позволило мне продержаться в этом славном месте целых три дня — ровно до того момента, как я узнал о двухмесячном долге тем, кто столь коротко работал здесь вот уже несколько лет.

Едва сойдя с les Champs Élysées, я и представить себе не мог, что можно два месяца бесплатно выполнять обязанности тех, кому следовало бы платить поминутно для поддержания духа среди добровольно вошедших в острог. И это стало фатальной ошибкой: я начал думать там, где следовало бы лишь посильнее ворочать лопатой, и пресловутый принцип «совпадения с ситуацией», о котором нам постоянно твердили в университете, был использован мною столь неуклюже, что выходило хуже, чем если бы я не знал его вовсе.

Лежа на бревнах под проливным дождем во время одного из обеденных перерывов, я пытался найти положение, при котором вода с крыши не лилась бы мне за шею, и только и думал о том, что это самое совпадение с действительностью для меня просто невозможно, ибо неровные доски под моей спиной были не сравнимы с нестройностью мыслей, словно вытесанных из самой вычурной коряги, какую только можно было найти на этой убогой земле. Я никак не мог для себя решить, что же все-таки заставляет меня находиться здесь, среди колючей проволоки и весьма специфичных людей, тогда как думать об этом в таких условиях уже само по себе было ошибкой.

И тем не менее из-за моей отрешенности ко мне с первого дня стали относиться с опаской, так как весь остальной коллектив в обеденные часы собирался в душном цементном подвале, где дюжина человек едва помещалась на бетонных плитах и ржавых валявшихся батареях и травила анекдоты о людских гениталиях вперемешку с поглощением домашнего борща. Не могу сказать, что я с детства не был привычен к такой картине или хотя бы не имел к ней некоторого рода пиетета, но такая близость расположенных друг к другу тел меня, несомненно, смущала, и свое отсутствие на заслуженном отдыхе я объяснял задымленностью помещения табаком, тогда как сам я не курил.

Однажды, в очередной раз валяясь на бревнах, я вдруг услышал пронзительный зов моего напарника, который кричал мне о том, чтобы я занял его место, пока он окончит только что полученный наряд. Став за станок, уже пораженный вирусом общей картины действительности, я стал наблюдать за моим приятелем, который возился с дровами метрах в двадцати от меня. И тут случилось нечто удивительное: он аккуратно снял ботинки, подвернув рваные джинсы до самых колен, и босиком отправился прямо в самую грязь, смешанную с глиной и древесной корой. Когда же он наконец закончил работу, то вышел на небольшой островок зеленой травы, росшей посреди бетонных

плит и асфальта, чтобы солнце подсушило глину на его ногах и ее можно было с легкостью счесать палкой. Не знаю, смогу ли я объяснить ту странную картину, представшую перед моим взором, но жилистые высушенные ноги с застывшим на них глиняным слоем на фоне ярко-зеленой травы показались мне самым прекрасным из всего, что я видел до этого времени. Правда, ощущение это посетило меня лишь на миг и уже через мгновение показалось мне абсолютной нелепостью и абсурдом, вызвав даже некоторое отвращение. Но все же то странное мгновение я помню и по сей день, отчетливо видя перед собой зелень влажной травы и белую глину, полностью обьявшаю его тонкие ноги.

Забрав вскоре положенные мне за три дня деньги, я убрался оттуда ко всем чертям, не дожидаясь того счастливого дня, когда меня объявят сторонником Анри Дюнана, сообщив о моем высочайшем альтруизме в свете бесплатных погрузок сосны. Заработанная за это время сумма равнялась той, что я ежемесячно отдавал матери в качестве платы за пропитание, чувствуя необходимость приобщения к той условности, что обычно подается под общим соусом «крепко стоять на ногах». Для матери это всегда означало работать по шесть дней в неделю менее чем за доллар в час; в моем же случае — триста семьдесят пять гривен, позволявшие мне не думать о сосновой коре тридцать один день в году. В общем, следующий месяц прошел в спокойном написании нескольких пьес и тщетных размышлениях о том, чего же я все-таки хочу от жизни. Тщетных, ибо никаких конкретных выводов сделано не было, и я лишь больше утвердился в мысли, которую все еще боялся проговаривать вслух.

Чем я хотел заниматься? Ничем. Не знаю, право, поймете ли вы меня, но хочу сразу же сделать ремарку — я вовсе не лентяй. Нет. Просто из огромного числа сменных мною профессий мне не нравилась ни одна, и я понятия не имел, в каком направлении мне следует двигаться дальше. Конечно, свою будущую идеальную жизнь я представлял себе эдак миль за шестьсот-семьсот от Украины, в прекрасных лесах Норвегии, где я полностью смог бы посвятить себя написанию книг, живя в тишине и покое от всех этих разнузданных криков вроде «борщ на столе» или «ганьба!». Я бы встречал редких гостей своей хижины в шелковом бордовом халате до самых стоп с томиком японского хокку в руках, пока на плите под треск нежной карамельной свечи варился бы шоколад, источая изумительный запах на многие мили вокруг. Но это было невозможно. Литература требовала чи-

стейшего времени — без примеси мыслей о том, чем заплатить за квартиру или где найти новую работу; когда же та все-таки находилась — смесь домашнего «борща» и криков начальства напрочь лишала возможности сосредоточиться и создать нечто достойное, лишенное повседневной грязи политиканства и скорби об утерянных плодах демократии. Время требовало денег и никак не хотело сдаваться под натиском моей убежденности в своей собственной исключительности, а потому мне приходилось точно так же, как и всем остальным, учтиво принимать данность обстоятельств, мелкой ржавчиной разъедавших эфирное тело свободы.

Через месяц высоких трудов на благо искусства передо мной вновь стал вопрос о деньгах, и мой старый приятель, который, как известно, был единственным человеком на этой земле, кого судьба обрекла на чтение моих пьес, посоветовал мне устроиться в местное похоронное агентство на должность гробовщика. Вам может показаться несколько странным то обстоятельство, что мой лучший и единственный друг столь открыто толкал меня поближе к могилам, но хочу вас уверить, что поспешность суждений — один из первейших недостатков людей, лишенных глубоких познаний в области погребального бизнеса. Совет моего друга исходил из его уникального дара видеть выгоду во всем, даже в гробах, а потому, зная мое отношение к интеллектуальному труду, а также то, что за одну выкопанную могилу платят не менее четырехсот гривен, он без зазрения совести натолкнул меня на эту, казалось бы, дикую мысль, которую я поспешил воплотить в жизнь уже следующим днем.

Подойдя к ржавой железной ограде, прилежавшей к самому агентству, и не решившись зайти вовнутрь, я окликнул полного бородатого старика, который неторопливо возился с каким-то надгробием с той стороны. Подав мне жест рукой и сказав, чтобы я подождал, через пару минут он вышел ко мне, отряхиваясь от цементной пыли, укрывавшей все его тело — от сапог до волос бороды. Узнав, что я хотел бы устроиться к ним на работу, этот вежливый старичок вкратце рассказал мне о принципах мрачного бизнеса, уже почти пожимаая мне руку, как старый и добрый партнер. После перечня услуг, которые я был обязан уметь оказывать нашим клиентам, я наконец спросил о главном — моей заработной плате. Но каково же было мое удивление, когда этот человек в просторной байковой рубашке и желтоватой майке с надписью «like it!» сообщил мне о том, что зарплата как такового не существует, что точная

цифра ежемесячного оклада никому не известна и целиком лежит в туманной области загробного мира, потому как прежде следует узнать, что я за человек и на что гожусь. Я был настолько поражен таким поворотом беседы, что не нашел ничего другого, как снова задать вопрос о том, сколько же все-таки мне заплатят, на что вновь услышал невнятное бормотание о том, что все зависит от заказов и выполненной работы, попросту говоря — от количества мертвецов за месяц и моего умения быстро обслуживать их потребность в новом жилье.

Конечно, копать могилы и колотить гробы за тысячу гривен или несколько бутылок водки, которыми вполне, может быть, расплачивались со своими сотрудниками в этом мрачном заведении, мне вовсе не хотелось, к тому же динамика роста населения нашего района говорила вовсе не в пользу престижа профессии гробовщика: по летним улицам то и дело прогуливались молодые мамы с младенцами, тогда как за последние полгода я едва ли мог припомнить два-три случая похорон, да и эта цифра была весьма оптимистична. Умирать никто не хотел, и жизнь все глубже пускала свои корни в промерзшую почву людского безразличия и порока. Но то, что обычно служило бы явным признаком подъема и развития, для меня выступало несомненной чертой будущей гибели, ибо каждая вновь отнятая победа у смерти означала нерентабельность моего собственного труда.

Отец моего хорошего друга зарабатывал на жизнь тем, что продавал пластиковые окна, и всякий раз, прогуливаясь в магазин за хлебом, оценивал цепким взором еще не застекленные дома. Это было ужасно, но я стал приглядываться к старушкам. Оценивая приблизительный возраст моих потенциальных клиентов, я вывел нечто вроде статистического алгоритма, позволявшего мне рассчитать приблизительные границы моего будущего оклада. Но если мои собственные ровесники едва ли собирались доживать до сорока, учитывая образ жизни, который вели, то добродушные старушки в ярких цветных платочках мирно сидели на лавках, собираясь, похоже, пережить Людовика XVI, революцию и еще грустно обсудить мои собственные похороны, присутствовать на которых, имея профессию гробовщика, было бы весьма неловко.

И тем не менее я решил рискнуть. Выпив утром чашку крепкого кофе и употребив вкусный хрустящий тост, я отправился на свой новый подземный рудник, предвкушая тот миг, когда я, наконец, окажусь под землей.

Мрачнее места мне не приходилось видеть за всю мою жизнь. Конечно, устраиваясь на работу гробовщиком, едва ли можно рассчитывать на блестящие мраморные полы и залитые светом багровые дорожки, но внутреннее убранство двух небольших комнаток поразило даже меня, оттолкнув своей угрюмой атмосферой, пропитанной духом скорби и смерти. Мрачная деревянная дверь с облезшей серой краской и пронзительным скрипом встречает вас у самого входа, располагаясь у грязного окна, сквозь которое виднеются лиловые и голубые прямоугольные подушки для покойников, впрочем, заметные еще издали и создававшие бесплатную рекламу этому заведению без специальных вывесок вроде «Путь в небеса». Внутри выбеленная старая стена разделяла две небольшие комнаты, одна из которых была до отвала заполнена гробами, часть из которых стояла в проходе, не вмещаясь в основном помещении, а в другой продавали различного рода аксессуаров для будущей загробной жизни и погребальной церемонии: венки, лампы, небольшие иконки, деревянные кресты, черные ленты с недвусмысленными надписями и всякого рода церковные коврики и накидки. Обе комнаты были настолько темны — ибо одну-единственную тусклую лампу в толстеном стекле в них зажигали лишь к вечеру, — что тревожный скрип двери и ваших собственных шагов по деревянным полам вкупе с почти что падающими вам на плечи гробами давали право любому добропорядочному гражданину просить убежища в самых развитых странах Европы на одном лишь основании работы в этом мрачном заведении. Впрочем, как затем выяснилось, все эти ощущения со временем меркнут так же, как и тусклый утренний свет, казалось, всасывающийся этой дырой из совершенно иного мира, который можно было увидеть, едва ступив за порог моего нового места труда.

Знаете, если вообразить себе жизнь в виде череды грозных гор, то порой, оглядываясь назад, я не вижу ничего, кроме торчащих из густого тумана маленьких серых точек — вершущек, на чьем острие я едва ли бы смог уместить свой башмак. Но и другой математический фокус порой занимает меня не меньше: только вообразите — где-то на всей этой огромной планете есть небольшой кусочек земли, уже поджидающий меня с незапамятных времен. Быть может, я уже даже ходил по нему, насмешливо топтал его своими башмаками, даже не подозревая, что в конечном итоге он возьмется надо мной верх. Тысячи звезд проходят надо мной, миллионы остаются невидимыми, но только эти два с половиной метра веют остротой

неизбежности, заключая в себя всю вселенную разом. И разве не удивительно, что, размышляя об этом с самого детства, в итоге я оказался именно здесь, среди людей, управляющих последними футами вашей судьбы?

Что ж, как и ожидалось, на первых порах работы было немного: с утра до вечера мы подбивали тяжелые деревянные гробы, обтягивали их бархатистой тканью, те же, которые были подороже и покрыты специальным лаком, просто протирали от пыли, а также плели искусственные пластмассовые венки из тонкой, но прочной проволоки, и приходилось попотеть, чтобы согнуть ее в нужную форму, не растеряв при этом разноцветных цветочных листков. Коллектив подобрался что надо: двое моих коллег — молодой парнишка, смахивающий на бродягу, и старый худощавый дед, видимо, приходившийся родственником моему менеджеру, — были столь молчаливы, что даже мне, с моим природным талантом к коммуникации, было как-то не по себе. Что же до полной хмурой дамы, почти круглосуточно не выползавшей из-за прилавка с венками и лампадками, то с ней у меня сложились вполне приятельские доверительные отношения с самого первого дня, чего нельзя было сказать о ее замене, приходившей к вечеру в одинаково хмуром настроении и грубившей всем, кто только попадался ей под руку. Кто знает, быть может, именно из-за нее у нас не было клиентов, основной поток которых вполне мог приходиться на вечернее время суток, когда люди бывают особенно расположены к вечности. Как бы там ни было, а однообразие работы начало меня удручать, и я хотел уже было идти за расчетом, как его величество Случай в очередной раз все решил за меня.

Благо в то время я жил один, и единственным человеком, знавшим о моей работе в бюро блаженства, был мой друг, который сам же его и посоветовал. Так и не решившись рассказать ему правду, я солгал, будто бы еще в первый же день отринул эту низкую мысль клепать гробы с венками за неизвестное вознаграждение, рассчитывать на которое теперь приходилось все меньше. Но вот однажды случилось то, после чего закончился и этот период моих мытарств по местным фабрикам производства богатств, ибо вызов на работу прозвучал ровно без четверти полночь.

Оговоренные условия нашего сотрудничества заранее подразумевали возможность такой ситуации, как рытье могил в любое время суток, но рассудок не позволял мне перевести вероятность безумия в мир реальной гармонии мирно спящих людей. Когда же ночью, спешно влетев в приго-

товленную к утру одежду, я уже громко трясясь в кузове погребального грузовика с еще одним парнишкой по дороге на местное кладбище, в мою сонливую душу вдруг прокралась мысль о том, во что же такое следует верить, чтобы, имея степень магистра и пару дипломов с отличием, ехать в полночь копать могилу за неизвестно какие гроши? Впрочем, деньги играли здесь едва ли не последнюю роль, затмеваясь яркими лучами полночной луны на фоне белеющих гранитных крестов. Так как это был мой первый — и, надеюсь, последний — опыт выкапывания могил, я не на шутку волновался, хотя, конечно, и знал, как выглядит лопата, и имел приблизительный вариант необходимого результата в своей голове. Но все оказалось банально: едва сделав пару первых ударов ногой о металлический корпус, я тут же приловчился к общему ходу процесса и уже не замечал всей химерности происходящего. Подвох оказался в другом: копать вглубь было невероятно тяжело и неудобно, учитывая, что мой напарник явно жульничал и мешался под ногами — уж простите за каламбур. Но, наконец, с двумя небольшими перерывами работа была окончена, и, получив по двести пятьдесят гривен на душу, нас благополучно развезли по домам, после чего я уже навсегда для себя заклеил проклятьями чужую смерть. Какое-то время по приезде домой мне даже хотелось умереть специально, назло моему напарнику, который так бессовестно мухлевал, выкапывая меньшую часть могилы, дабы ему пришлось тут же копать еще одну, не успев перевести дух. Но от бессилия я свалился замертво, и уже через час мирно спал на теплом уютном диване.

Распрощавшись с карьерой гробовщика, я перестал изобретать велосипед и решил устроиться на первый попавшийся склад в качестве грузчика с той целью, чтобы наконец проработать хотя бы месяц в одних и тех же штанах, — если вы, конечно, понимаете, о чем я. Кроме того, ситуация с моими финансами угрожала стать катастрофой, и я принял твердое решение ни при каких условиях не отказываться от брошенного судьбой спасательного круга. Получив по телефону необходимые координаты, я направился на поиски своей новой работы, уже предвкушая тот миг, когда с первой зарплаты издам сборник пьес и новелл.

Склады находились на отшибе, под одним из объездных мостов, так что нашел я их не сразу. Но тот радушный прием, который мне оказали в этом богом забытом месте, стал для меня настоящей неожиданностью, ибо нигде еще, включая революционный Петроград, к грузчикам не относились

с большим уважением и почтением, чем на этой пустынной земле.

Надо сказать, что где бы мне ни приходилось работать, чем бы я ни занимался, специфика вновь обретенной золотой жилы становилась ясна в первый же день: невероятная скука, каторжность труда, невыносимый запах коллег, сотни людей за день — вот далеко не полный список того, что давало четкое представление о предстоящих трудовых буднях. Не стала исключением и лучезарная улыбка моих новых работодателей, буквально через час проявившаяся для меня до глубины души, ибо желающих работать на этих замечательных людей было столь мало, что каждого вновь пришедшего смельчака одаряли просто божественными почестями.

Все дело в том, что кроме меня в бригаду грузчиков входило еще три человека, и все они были бывшими заключенными. Общий срок отсидки одного из них превышал тринадцать лет, а двое других были настолько бледны, что, поранившись однажды ножом для резки бананов, я тут же решил сдать кровь на предмет всевозможных инфекций, и лишь мощнейшими доводами рассудка сумел убедить себя в иррациональности этой идеи.

Моих новых друзей звали Синяк, Буча и Крест. Судя по всему, верховодил местными банановыми залежами именно Крест, которого в реальности звали Макс, но имя это лишь изредка слетало с уст заходившего к нам начальства, тогда как весь остальной коллектив — впрочем, на удивление молчаливый, — обращался друг к другу не иначе как по прозвищам, полученным, видимо, еще на зоне.

По приходе на склад меня сразу же ознакомили с местными порядками, суть которых сводилась к тому, что часть денег, зарабатываемая на загрузке банановых фур неофициальным клиентам, уходила в местный общак, с которого брались деньги на нужды нашего дружного коллектива. Под этими самыми нуждами подразумевались сахар, чай, влажные салфетки и обыкновенная вода, купленная для заваривания все того же чая. Учитывая, что сам я собирал каждую копейку, а питался исключительно собственными пожитками, мысль фактически бесплатно загружать чьи-то десятиметровые фуры не приводила меня в восторг, — но кто из вас решился бы возразить человеку по имени Крест или Буча, увенчанному целой галереей потемневших наколок вроде звезд на груди, ради нескольких десятков гривен собственной прибыли? Кто знает, быть может, среди моих читателей и отыщутся такие смельчаки, но сам я не стал ломать местные порядки ценой собственной

жизни и покорно отчислял небольшие суммы Кресту, впрочем, по привычке так ни разу и не отобедав вместе с моими новыми приятелями.

Сама работа была достаточно простой: большую часть дня мы загружали коробками, набитыми панамскими бананами, различные грузовые автомобили, в перерывах меня отправляли в холодные газовые камеры на так называемую подрезку, суть которой состояла в том, чтобы обрезать кончик кулька с бананами, торчащий из коробки, так, чтобы при наполнении камеры специальным газом бананы могли созревать. Едва я пришел на склад, как эта обязанность целиком была переложена на мои плечи, ибо ни Крест, ни Буча, ни Синяк не помещались в узких проемах между коробками и камерными стенами, а в самой камере было столь сыро и холодно, что выполнять эту грязную работу мог лишь тот, чье тело не покрывали десяток церковных куполов и карточные масти на пальцах.

В целом, как я уже говорил, ребята эти были довольно молчаливы, и их компания не доставляла мне особого дискомфорта, за исключением редких случаев, когда кто-нибудь из них не выходил из себя, называя наше начальство «дырявыми курами», с особой злостью вскрывая ножом банановую кожуру. Так как работали здесь люди специфические, то и работа приобретала весьма условный характер, когда половина коллектива могла попросту не выйти на работу и загружать огромную фуру приходилось нам с Синяком. График был столь свободным, что и зарплата оставляла желать лучшего, отчего постоянно возникали проблемы с начальством, и все повторялось с начала: все трое из раза в раз клялись в том, что больше не выйдут на эту рабскую плантацию, чем лишь более усугубляли свое положение, так и не решаясь уйти. Впрочем, одного из них мы все же потеряли, когда однажды на склад явились сотрудники местной полиции, искавшие господина Синяка, нарушившего какое-то важное предписание своего освобождения. С того дня этого человека мы больше не видели.

Но обещанные десять часов рабочего времени, на которые я нехотя согласился в сияющем блеске улыбок патрона, уже в первый же день соскользнули на одиннадцать, а затем и двенадцать, тринадцать часов тяжелой работы, так что в свой последний рабочий день я проторчал на этом чертовом складе с восьми утра до начала одиннадцатого вечера. Должен заметить, что мой рабочий день так и не окончился, и я плюнул на все и самовольно покинул рабочее место, будучи вынужденным прошагать несколько киломе-

тров по опустевшим улицам, прежде чем меня на своей машине подобрал мой приятель, спасая от назойливых шлюх с окружной. Две недели принесли мне чуть больше тысячи гривен, после чего я еще долго смотрел на те пять помятых бумажек, в которые вошли тонны разгруженных фур и сотня рабочих часов, пытаюсь осмыслить всю степень скотства, в которую из раза в раз возводили моих земляков. А происходило это примерно так.

Вы приходили на один из складов, сам факт присутствия на котором говорил о большущей дыре в вашем кармане, отчего плантаторы-пуритане с присущей им христианской добродетелью обещали принять вас в ряды своих батраков, заранее намекая, что ни о каком снисхождении в случае недовольства грязной одеждой или отсутствием мыла в клозетах, а зачастую — и самих уборных не может быть и речи, так что десять часов тяжелой работы за восемь гривен в час без малейших намеков на официальный договор — это просто божья милость, на которую вы, конечно же, соглашаетесь. Едва вы свыкаетесь с мыслью, что десятичасовой рабочий день — это вершина блаженства, как тут же получаете к нему еще час, после чего свой безропотный гнев заливаете просроченной водкой на деньги, которых хватает ровно на то, чтобы забыть, что завтра все повторится с начала. Сменив немало складов, я все чаще встречал людей, которые более не видели ничего особенного в том, чтобы, вставая к семи утра, ложиться лишь к часу ночи, едва успевая перекусить и принять освежающий душ. И надо ли говорить, что в списке «Форбс» этих счастливиц не было?

Мысль, начинающая блистать на просторах времени, в железных тисках двенадцатичасового рабочего дня оборачивается долгой северной ночью, не позволяющей не только задуматься о необходимости такого удела, но и полноценно отдохнуть, дабы попросту перейти к этому самому осмыслению своей судьбы. В вязкой рабочей трясине, обволакивающей так или иначе каждого своего поначалу лишь любопытного зрителя, важной чертой была именно непомерная скорость времени, съедавшая человеческую жизнь сквозь призму кривых разумности и благополучия.

С тех пор как человек был объявлен высочайшей ценностью, а его жизнь сделалась всеобщим достоянием общественности, словно музейный экспонат, выставленный в отделе ренессансных шедевров, кресты и гильотины сменились на бедность и привкус металла во рту, а величайшее благо ревностно охранялось тридцатидолларовыми дотациями с плеч великих держав. Вместе со сменой форм жизни менялись и формы смерти,

становившиеся теперь едва отличимыми от прозрачных полуденных теней: нет, вы не умирали от изрезанных ран в бою, вас больше не ставили прилюдно на качающийся деревянный стул с петлей вокруг шеи, — смерть подкрадывалась незаметно, шурша своим змеиным хвостом среди офисных бланков и отчетов, среди густых туч фабричного дыма и шахтных лав, среди тысяч рук, протянутых у церковных дверей и вокзалов теми, кто был не в состоянии покорно ждать инфаркта в сорок два года прямо за рулем автомобиля, только что смененного на двадцать лет каторжного труда. Рабство стало свободой, равенство — благом, объявившим в себе единое братство нищих, убогих людей, искренне радующихся равноправию среди бесправных.

Но были и личные причины, окунавшие меня в этот круговорот безысходности и тонких жилистых рук. С какого-то момента я знаю, что обычный мир для меня недоступен. У меня никогда не будет жены, с которой бы мы весело выбирали цветные обои для стен нашей спальни, где в будущем будет резвиться пара малышей, пока их мать ставит рождественский пирог в духовку. Не будет у меня и нормальной работы, ибо тяга к постоянному бегству от самого себя будет всячески скрываться мной за вечными внешними переменами, создавая иллюзию сиюминутного глотка свободы, так, в сущности, ничего и не меняя. Да, я буду ходить по тем же улицам, что и остальные люди, заходить в те же самые магазины и лавки, вежливо справляясь о свежем молоке или теплом хлебе, быть может, у меня даже будет искренний интерес к какой-нибудь автомобильной марке или, скажем, путешествиям. Но я никогда не смогу убедить себя в том, что все это — не очередная уловка, иллюзия, призванная скоротать время, перед тем как отправиться в бесконечное турне уже безо всякой надежды на финал. Нет, этот мир для меня такой же чужой, как и утренний холодный рассвет, который я теперь все чаще наблюдаю из окна своего балкона из-за своей бессонницы.

Но неужели, спросите вы, мне никогда не хотелось покоя, банального семейного счастья, теплого очага с огромным лабрадором у ног и стаканом прохладного виски на гладком столе? Что ж, я бы кривил душой, если бы ответил «нет»: не скрою, иногда меня посещают подобные мысли, но сколько я ни пытаюсь представить себе такую картинку, сколько ни силюсь вооружить свою душу двухтонными гириями, которые бы прочно приковали меня к этой семейной реке, всегда получается только одно: в этом кресле я сижу абсолютно один в совершеннейшей тишине, задумчиво

рассматривая блестящие грани стакана. Даже собаку, и ту мне удается представить с трудом, не говоря уже о шумном доме с детьми и женой в хлопковом фартуке с запеканкой из чернослива.

В худшие же из дней депрессия достигала своего апогея: мысли сворачивались в один упругий комок, подступая к горлу, словно застрявшая рыба кость, каждую секунду напоминавшая о себе острым уколом. В такие минуты ни одно событие на земле не могло расшевелить моей сонной души: политика, войны, работа, любовь, переживания моих близких, даже я сам в виде клубка из всех этих мерцающих тусклых образов, мелькавших передо мной словно кадры из старой киноплёнки, — все это не имело ровным счетом никакого значения, представляясь мне банальным пятном пожелтевшего моха, застывшего на мокрой древесной коре. Память — мой собственный маленький ад — была единственным, что заполняло пустоту этих дней: я целиком предавался воспоминаниям, тем самым выигрывая несколько часов у вечности. Мое равнодушие стало тем зеркалом, в котором отражалась зияющая дыра всеядного мира, сползавшая чернильным пятном на все еще белеющие листки человеческого энтузиазма. И все это заканчивалось одним и тем же — полнейшим осознанием того, что, по большому счету, я никогда не смогу ничего изменить, отчего мир представлялся мне в виде бесконечной тропы, по которой неспешно бредут те, кто обречен на однообразие полдневных пейзажей. Миллионы людей жили до меня, миллиарды будут жить после; то, что заставляет нас сегодня идти на смерть, в будущем поставят в смешную музейную рамку, показывая как экспонат для развлечения пришедших малышей-первоклашек, и, быть может, те же самые мысли блеснут в уме кого-то еще через столетие, на этом самом месте, в канун какого-нибудь из праздников, на мгновение сметя с лица довольство праздничной жизни. В сущности, мне все равно.

Но подобное всепоглощающее равнодушие не только разрушало внутреннюю, невидимую сторону моей жизни, но и не давало двигаться дальше по пути обыденной, но необходимой действительности. Конечно, я говорю о работе. Для меланхолического созерцания бытия требовались немалые суммы, дабы лежать на философском диване одетым и сытым, а не просто пребывать в забытии от собственных недельных носков. Именно так я пришел к мысли, что самый тяжелый труд, пожалуй, — лучшее лекарство от наихудшей из всех людских добродетелей — мышления. Намеренно отыскивая такую работенку, где не было бы и на-

мека на задействие ваших мозгов, я искренне пытался искоренить из себя назойливый шепот дипломов, с головой погружаясь в причудливый мир тяжелых пихтовых бревен и распиленной сосновой коры.

И вот что я вам скажу — усталость несколько не избавляет от этой гнилой привычки. Нет, конечно, когда вы устали настолько, что руки просто не поднимаются выше уровня локтя, словно к ним привязали свинцовые гири, но все же, по обычаю, все еще подергиваются, будто сгружая вагон, а рот превратился в пересохший каньон, жаждущий хотя бы малейшей капли воды, да и кровь в голове пульсирует целым фонтаном, — в таком состоянии единственная мысль, на которую вы способны, — это мысль об отдыхе, притом заключающем в себе целые реки прохладной воды и теплый бульон, стоящий прямо здесь, у вашей предсмертной кровати. Но стоило мне как следует выспаться, отлежаться в горячей ванне и хотя бы на йоту вновь почувствовать себя человеком, как мысль возвращалась ко мне с еще большей силой, словно волна, разбившаяся о гигантскую стену и возвратившаяся бурным цунами: мозг требовал немедленного оправдания таких бессовестных попыток, жадно ища аргумента в пользу своего ежедневного истязания. И если принять тяжелый труд за лекарство, избавляющее от недуга раздумий, то в качестве побочного эффекта выходило сомнение в целительных свойствах отвара, что лишь больше побуждало к новым размышлениям о цели и смысле моей бестолковой жизни.

И все же был один способ, помогавший мне переносить особенно тяжелые дни, когда мысль о смерти переставала быть абстракцией и все ярче принимала форму ножа или высокой крыши, — шоколад. Едва я ощущал, что вот-вот перешагну Рубикон, как тут же клал себе в рот кусок горького черного шоколада, творившего в моем мозге просто-таки чудеса: настроение выростало в мгновение ока, после чего я намеренно выходил на балкон и специально заставлял себя смотреть на дневной свет, который я не переносил с самого детства, отдавая предпочтение хмурой дождливой погоде. Так я снимал симптомы, навсегда оставив надежду избавиться от причины шоколадных десертов.

Итак, работая максимум по два-три месяца, я накапливал определенную сумму денег, на которые затем жил примерно это же время, занимаясь написанием книг, после чего все повторялось с начала. Выходило, что я тратил заработанные деньги вовсе не на материальные блага: я покупал на них время, в свою очередь переводя его в нико-

му не нужны рассказы и пьесы. В такие минуты я проклинал себя за то, что никак не могу избавиться от необходимости что-либо писать и полностью перестроить свой мозг в сторону бухгалтерских отчетов или таскания мешков с цементом, что уже давно должно было сделаться нормой моей жизни, как стало нормой жизни подавляющего большинства известных мне людей. Но ничего поделать я не мог: едва я клялся самому себе, что больше в руки не возьму перо после того бездарного бреда, который я в очередной раз создал под воздействием какого-то дьявольского заблуждения в своем таланте, как снова принимался за работу — словно узник, клянувший свою собственную невидимую цепь.

Но должен вам в чем-то признаться, раз уж откровенность стала разменной монетой в нашем маленьком багровом ларце. Я никогда не ощущал чувства стыда из-за бедности. Кроме того, мерилом последнего для меня всегда выступало ощущение голода, которое я никогда не испытывал, — стало быть, и не был столь беден, чтобы говорить об этом с полным пониманием дела. Но искушение оказалось в другом. В определенный момент своей жизни я едва не стал гордиться своей бедностью, как бы говоря самому себе: «Ты беден, и все равно продолжаешь писать книги, все равно продолжаешь тратить на них последние деньги. Неважно, прочтут ли их когда-нибудь, неважно, узнают о тебе или нет, — сам факт того, что ты возложил свою жизнь на алтарь искусства, литературы, таит в себе твое достоинство. Ты гений лишь потому, что продолжаешь писать, не имея ничего, и в этом твоя судьба». Что ж, я действительно никогда не стыдился отсутствия денег, но если вы начинаете гордиться своей нищетой — уверяю вас, с вами что-то не так. В тот момент мне хватило внутренней иронии ухмыльнуться собственному напыщенному отражению в зеркале, и я благополучно протер его рукавом, смахнув притворную вековую пыль с только что купленного гарнитура.

В дальнейшем я пытался подыскивать себе такую работенку, которая бы позволила мне писать книги, не отрываясь от необходимого заработка денег. Но найти нечто подобное было не так просто, ибо нежелание думать означало работу руками, а та, в свою очередь, влекла за собой усталость и одну-единственную мысль о горячей ванне и теплом одре.

Так, когда я устраивался однажды на очередной пищевой склад, передо мной стал выбор: работать по десять часов в размеренном темпе либо устроиться на восьмичасовую смену на погрузку мертвых коровьих туш, которые к тому же еще

и следовало разделявать. Подсчитав, что с дорожкой, рабочим днем и обедом у меня будет уходить двенадцать-тринадцать часов в сутки на проклятые консервные банки, после которых следовало еще хорошенько отоспаться и лишь в промежутке всего этого что-либо написать, я выбрал мертвых коров, но едва я ступил ногой в холодильный цех, где, собственно, и разделявали несчастных животных, как тут же осознал, что сэкономленные два часа времени будут уходить на надраивание себя мылом и отмывание своего тела в кипятке, ибо запах здесь стоял такой, будто оставалась секунда до второго пришествия Христа и все усопшие облеклись в отобранную временем плоть.

Что ж, все говорило о том, что легальным способом мне было не пробить ту стену, в которую меня вмуровывала родная земля вместе с уже торчащими из нее костями моего родителя, — и нужна была свежая мысль, или, если хотите, повод признаться себе в том, что я все еще со страхом таил в глубоком молчании с того самого дня, как вернулся с парижских ветров. Так я скрутил свой первый «косяк». Сразу замечу, что он же стал и последним, ибо привел к весьма неразумным решениям, чьи последствия едва ли могли сравниться с легкой эйфорией от сладковатых дымов.

Достать «траву» в наших краях было несложно: один из моих неблизких приятелей отмотал целый срок — более шести лет — за торговлю наркотиками, и такое легкое баловство, как коробок марихуаны, было для него просто детской забавой. Кроме того, большая часть моих знакомых уже лет десять как находилась в этом бизнесе, продавая либо покупая небольшие дозы «небесной травы» — как ее называли в нашем районе, — так что моя девственность в этом вопросе уже давно смущала всех, кто переступил черту в двадцать пять лет с десятилетним опытом *The weed smokers dream*.

Решив разделить радость предстоящей душевной весны, я пригласил моего друга провести вместе со мной этот древний обряд. Но как однажды заметил один мой приятель со склада, с которым мы ночами напролет упаковывали яйца, порошки и гречку в полиэтиленовые пакеты, имевший весьма внушительный опыт поглощения различных психотропных веществ, «марихуана — это искусство, чьи ступени должны вести тебя к раю, а не на пятый этаж. Чтобы ощутить всю прелесть “травы”, — продолжал он свою проповедь, нисколько не смущаясь моей неопытностью в этих тонких делах, — ты должен сидеть на удобном восточном диване с чашкой розового каркаде, рассуждая о Боге и смысле жизни, а не шататься по вонючим

подворотням, ожидая, пока тебя вывернет наизнанку в кустах».

Каркаде у нас под рукой не оказалось, а персидский диван мы решили сменить на куда более приятную панораму, отправившись под вечер в небольшой лесок на окраине города, дабы размеренно насладиться умиротворенным закатом, вельветовым покрывалом стелившимся по кронам деревьев, неспешно утопавших в теплой полутьме вечернего неба.

Уже через некоторое время мы сидели на верхушках качавшихся елей, не говоря ни слова и задумчиво всматриваясь в горящий красный диск, медленно меркнувший за черными горами терриконов. Удивительно, что и здесь, в одном из самых неживописных уголков планеты, в месте, изрытом шахтными лавами и усыпанном угольной пылью, здесь, где человек распротер свою волю столь далеко, что проник в самую глубину, в самую душу некогда священной земли, изрыгнув на поверхность бесформенные серые плиты заводов и фабрик, — было что-то от вечности: почти неслышное, почти пропавшее за пеленой горячего тумана из выхлопных газов и пыли, это нечто скрывалось в тишине ночных сумерек, в теплом ветре окраин, неспешно качающем листья рябин на фоне ярко горящего неба.

Свой путь от монастыря до марихуаны я проделал за неполных пять лет, но даже это время казалось мне необычайно быстрым, если учитывать, что мой собственный духовный рост перешел от синяков на спине к зеленым листкам *Cannabis sativa*. В моей жизни было явно что-то не так, но я все еще не был готов принять мысль, что этим «чем-то» была сама жизнь. Так я вернулся к тому, с чего начал свой финальный отсчет, — Легиону.

Да-да, вам не послышалось: я вновь решил лететь в *Legion Etrangere*, ощущая, что просто не могу больше жить без этой глубинной цели, объяснявшей меня с головы до пят. Деньги уходили в пустоту, не доставляя мне ни малейшего удовольствия, ибо никаких особых желаний я не имел. Книжки? Но мне приходил отказ за отказом, и я не понимал, что же в моих трудах не так. Ведь я обладал неплохим стилем, вкладывая в каждую пьесу глубокий философский смысл, иначе требовавший прочтения целых томов французской метафизики, — но все это не приносило никаких результатов, так что работать по двенадцать часов в сутки лишь на пустые бумажные листки было неменьшим безумием, чем конвертировать это же время на недельный отпуск в Сочи или банальный воскресный уик-энд. Да, я долго бы так не протянул, и все же... Теперь, вот теперь, когда все это

уже случилось, когда я прикоснулся ногтем к своей безумной мечте, ощутил ее плоть и кровь на своих руках, превратив их в почти осязаемое существо из кованых ворот и мощеных французских стен, — почему же и теперь я не могу найти покоя, почему я вновь влезая в этот омут, высасывающий из меня год за годом, меняя их на жалкие три дня? О! Год за день! Как это нелепо, как жестоко обречь себя на поднятие этого камня, который раз за разом скатывается с проклятой горы.

Но решиться лететь в Легион было лишь половиной дела, ибо ни отсутствие нужной суммы, ни «засвеченность» документов, ни все еще болевшая при чрезмерных нагрузках нога, ни даже никуда не девшийся искусственный хрусталик в моем правом глазу не шли ни в какое сравнение с тем обстоятельством, что я был пожизненно изгнан из его славных рядов. Куда бы я ни отправился, где бы ни стал «сдаваться» в руки французских солдат, достаточно было лишь четверти часа, чтобы все мое прошлое всплыло на поверхность ярким красным штампом при вводе двух паспортных букв. Так я стал Александром.

Вам и самим наверняка приходилось видеть в своей жизни одержимых людей, чей пламенный блеск в глазах было не утолить никакими житейскими благами, лишь более — будто подпитый в огонь стакан рома — разжигавшими этот пожар. Но скажите, кто из вас решился бы взять в руки весы всеобщего благоразумия и возложить на их чашу собственный семейный альбом? И сколь низко к земле склонилась бы эта чаша, взгромозди вы на нее проторенный путь из квадратной конфедератки, блестящих колец с белесой фатой и пожизненного списка из благ, в котором первейшее место занимает покупка Renault к сорока? Кто знает, быть может, узнай вы о том, что невозможно доказать полноту и завершенность нашего математического мира, вы бы покончили с собой от отчаяния, осознав до конца всю тщетность притязаний нашего разума на постижение хмурой вселенной. Но большинству из нас об этом ничего не известно, и мы спокойно живем на этой планете, измеряя маленькие островки нашего счастья утренним поцелуем в нос любимого человека, медленно двигаясь привычным маршрутом вечернего кресла и треска каминных огней.

Уже через месяц у меня в руках был новенький паспорт, в котором девять букв моего прежнего имени чудесным образом поменялись на новую девятку, словно номер рейса на квадратном табло. Оставалось сменить лишь «загран», в котором вместе с именем должны были измениться серия и номер паспорта, чтобы окончательно стереть любые

подозрения о моей прошедшей поездке в Париж. Но вас, любезный читатель, верно, волнует один пикантный вопрос: ладно, ты решил отправиться в Париж уже дважды; допустим, ты настолько безумен, что забыл обо всех увечьях, исключаяющих твою службу в наемных войсках; предположим, у тебя за пазухой было еще пару лишних лет, которые можно было бы потратить на ловлю воды решетом, — но какого черта ты сменил только имя, вместо того чтобы поменять еще и фамилию?

Что ж, во-первых, теперь я летел не в Париж, а в Марсель, ибо мой актерский талант уступал той ситуации, при которой бы я, встретив во французской столице знакомого мне капрал-шефа, сумел бы убедить его в том, что я — это не я, ссылаясь на столетние записи Фихте. А во-вторых, я понятия не имел о системе проверки в Иностранном легионе, и не было никакой гарантии того, что эти добрые люди все же не наткнутся на мое старое фото, с удивлением обнаружив полное сходство с человеком, прилетавшим сюда пару лет назад. Едва ли у меня нашлось бы объяснение тому, что парень, родившийся со мной в один и тот же день в одном и том же городе и к тому же выглядывший так же, как я, при всем этом не связан со мной никакими родственными узами, имея совершенно иные паспортные данные. Именно поэтому я оставил свою фамилию на прежнем месте, получая в подобной ситуации весомый аргумент в пользу того, что я — свой собственный брат.

Да и потом: ужимки в сторону собственного достоинства еще никто не отменял. Наивное заигрывание с собственным страхом, отчаянием — называйте как угодно — всегда ставило человека над этими чувствами, наделяя фальшивкой из светлых полутонов. И если первая поездка в Легион была абсурдом, то вторая должна была вернуть эту пощечину обратно в лицо небесам: мол, бейте сильнее — я все равно не скажу, или что-то в этом духе. Так я приобрел новый оттенок в скитании по бесцветным складам.

Но не будем забывать и о моей матери, чей сын днями напролет прожигал свою жизнь, намеренно влезая в помойную яму нищеты без малейшего для того оправдания. Несмотря на ежемесячные платежи в виде жалких грошей за свое пропитание, ее беспокоил сам факт моего безрассудства, ибо — так уж было заведено в нашей семье — добропорядочный гражданин не смог бы и дня провести без согнутой спины, вызывая тем самым негласный кивок головой и шепот коллег по площадке. Так однажды я услышал стук в свою дверь, предвещавший наивный опус о том, сколь важна для человека работа.

Едва я успел приоткрыть свою келью, как мама тут же объявила, что мне следовало бы подумать о скорейшем трудоустройстве, и желательно в официальном виде, дабы суметь получить субсидию для семьи на следующий отопительный сезон. Конечно, это был лишь предлог, но все же... Это оскорбило меня до глубины души! Я вовсе не из тех, кто считает, что писатели не должны думать о субсидиях, но для человека, который только что закончил пьесу «О чем молчит Пигмалион», этот вопрос был явно не главным, а даже если и был таковым — то в это трудно было поверить. Нет, скажу больше: даже если бы сам Господь Бог спустился ко мне и сказал, что я немедленно должен подумать о субсидиарных начислениях на будущий год, даже и тогда я бы скорее стал атеистом, чем внял посетившей меня галлюцинации из сбившейся нейронной цепи, или что там у этих атеистов вместо Бога.

Но именно так меня и воспринимали: в качестве взрослого парня, целыми днями сидящего за закрытой дверью в своей каморке и только одному богу известно чем занимающегося в свое свободное время, совпадавшее с целыми сутками. Конечно, если бы мать узнала о моих литературных трудах, отношение к моей персоне резко бы изменилось, но даже все возможные привилегии не смогли бы затмить моего отвращения к тем вздохам умиления, которые наверняка липли бы шумным водопадом от мысли, что ее сын писатель. Да и каким писателем я был? Критика всегда была для меня тонким бичом, чей просоленный хвост заставлял меня корчиться в муках при виде каждого своего вновь испеченного творения.

Наконец, проштатавшись по целой дюжине заводов, складов и лесопилок, я решил, что с меня довольно ковыряния в грязи и черной земли под ногтями и что неплохо было бы попробовать что-нибудь более интеллектуальное, отвращение к чему у меня несколько поубавилось после того, как на одном из складов украли мои старые вещи, настолько потертые и дырявые, что ходить в них мог лишь человек, поступивший на службу в пансион для слепых. Но особо я не спешил: заработав некоторую сумму денег еще на прошлой работе, я лениво просматривал объявления в местных газетах, продолжая писать книги и одновременно искать подходящее место, не имея ни малейшего представления, каким оно должно быть.

Но вот однажды, прогуливаясь по окраине города, я заметил на дверях одного из крупнейших банков страны небольшую вывеску — «требуются сотрудники», и так как особого маршрута прогулки я не имел, то решил зайти в это чудесное

заведение, где вежливость и белые воротнички персонала вкупе с запахом только что сваренного кофе заставили меня почувствовать неопишуемый восторг, не сравнимый с гулом и пылью холодных складов. Сперва я даже решил, что работать здесь — моральное преступление, ибо деньги вы получаете не за что иное, как за постукивание по компьютерным клавишам при оформлении заказа богатых клиентов, тогда как в это же самое время кто-то поднимает сорокафунтовые коробки или гремит молотком на километровой глубине, добывая уголь для тучных богачей.

В физическом труде не было ничего дурного, кроме того, что он сам по себе был дурен, — там же, где следовало шевелить мозгами, мне всегда приходилось испытывать непреодолимое отвращение к самому себе, ибо после двенадцатичасового однообразнейшего забрасывания коробок в вагоны всякую иную работу, хотя бы на йоту уступавшую своей сложностью этому почтенному занятию, вы сочтете непристойным одурачиванием тех, кто все еще остается среди шума холодной полутьмы. Так, устроившись однажды в одну из крупнейших почтовых компаний, я только и делал, что целыми днями неторопливо упаковывал двухсотграммовые документы в плотные пакеты, да еще и ходил на получасовой перерыв, работая всего по девять часов в сутки. В первый же месяц клиентов было так мало, что я смог прочесть все «Преступление и наказание», вызывавшее у меня в школьные годы невероятную тоску и уныние, что и стало причиной нескольких пропущенных уроков по мировой литературе. И все это финансовое благоденствие требовало лишь двухнедельного курса одной компьютерной программы, овладев которой вы сможете благополучно перечитывать мировых классиков прямо за рабочим столом.

Но вспомнив об украденном пакете с тряпьем, я тут же отказался от подобных мыслей и отправился на собеседование с начальником банка, после которого мне было предложено пройти еще одно — уже через неделю — с вышестоящим руководством. Этот разговор также прошел без особых проблем, и я приступил к рассказам о своей биографии и целому ряду тестов, призванных выяснить, не решил ли я ограбить тот самый банк, который так слезно молю о работе. Тест на полиграфе показал, что я честнейший человек на земле, и, заполнив пару-тройку анкет и пройдя еще одно собеседование уже с моим непосредственным боссом, я вышел наконец на работу в качестве стажера, дабы обучиться всем нюансам моей новой профессии.

Но было одно «но»: так как большей частью я работал на грязных складах, таская деревянные поддоны и разгружая мешки, выяснилось, что у меня совершенно нет подходящей одежды для фешенебельных банковских стен, и я вынужден был на последние деньги купить себе пару итальянских рубашек и черные узкие брюки, — на те самые деньги, за которые я собирался издать только что созданный сборник новелл. «Что ж, — подумал я, — в конце концов, это ведь банк, и одного месяца работы здесь окажется достаточно, чтобы окупить и брюки, и книгу, и даже пару светлых рубашек, в которых можно задохнуться от тесноты». Так я гордо вступил в свою новую жизнь.

На бархатном ковре вечерних небес плыло одно медовое облако, переливавшееся всеми оттенками желтого янтаря от мелькавших в нем бликов вечернего солнца, яркий оранжевый диск молчаливо сходил за голубую гладь горизонта. Душистый аромат полевых трав и жасмина витал в прозрачном ветерке полей, донося свою тишину до алевших верхушек деревьев, едва шевеливших устами под нежными ласками уставших небес. Все это открылось передо мной благодаря томительному покою, который я наконец ощутил за многие месяцы безуспешных исканий, зайдя на вечернее поле накануне предстоящего трудового дня. Я наконец мог не думать о деньгах и работе, и стабильное благополучие открывало передо мной дорогу к бесконечным глубинам творчества, в которые я собирался окунуться после размеренных будней в прохладных офисных стенах с откидной кресельной спинкой и комфортным немецким кондиционером.

Обо всем этом я сообщаю вам, мой дорогой читатель, дабы вы смогли ощутить всю разительную несправедливость, ниспосланную мне судьбой в очередном из этапов моей славной жизни. И для чего я только поперся на это поле! Зачем небесам было угодно ублажать мою душу медовыми цветами сходящего вечера, уже наутро поменяв их на грязных торговках с ближайшего рынка и невыносимое мерцание ярких ламп, то и дело тухнувших и вновь вспыхивающих прямо над оголенными нервами моей хмурой души? Но обо всем по порядку.

Прибыв на новое место работы в лазоревой гладкой рубашке без единой складки и в черных, начищенных до блеска туфлях, я прежде всего обнаружил для себя две вещи: во-первых, помещение, в котором мне предстояло работать, было столь убогим и узким, что в нем едва помещались сами сотрудники, не говоря уже о толпах нервных людей, собранных в душном коридоре в длинную

очередь, а во-вторых, из всех стажеров, вышедших на работу, я был единственным, кто выдержал полагающийся дресс-код, тогда как остальные были одеты откровенно развязно и ничем не отличались от стоявших здесь же клиентов банка. Разочарование охватило меня целиком. Неужели я зря потратил последние деньги на эти чертовы рубашки? А туфли? Ведь я начищал их добрую четверть часа, прежде чем решиться переступить порог крупнейшего банка страны! Нет, такое попустительство наверняка объясняется новичками, тогда как я намерен остаться здесь всерьез и надолго, и уж в будущем эти рубашки наверняка пригодятся мне.

Меня усадили за один из столов с компьютером, на котором должно было проходить обучение, но из-за технических трудностей и загруженности персонала нужная программа никак не запускалась, и нам было приказано спокойно ожидать прибытия необходимого специалиста. Было ровно восемь часов утра, когда я уселся за этот стол вместе с остальными счастливыми и стал наблюдать за обычным трудовым днем моих будущих коллег. Но вместо миллионеров в шикарных костюмах и дорогих туфлях первой, кто сел прямо передо мной за стол, была толстая пожилая дама в грязном сером фартуке, заляпанном маслянистыми пятнами и отдававшим резким запахом рыбы, пришедшая, видимо, с соседнего рынка. Битых двадцать минут она пыталась доказать свою платежеспособность вежливым менеджером, апеллируя к своему куму Петру в качестве поручителя, после чего, не достигнув нужного результата, устроила скандал прямо в отделении банка. Ей на смену пришла старушка лет под семьдесят, для которой язык банковских карт был просто санскритом, и взволнованная еще первым посетителем девушка передала честь общения с новым клиентом молодому парню.

В следующие полчаса картина повторилась: одно за одним менялись мрачные лица несостоявшихся миллионеров, тогда как сотрудники банка становились все менее вежливыми пропорционально движению часовых стрелок. Но больше всего меня раздражало мерцание лампы, которая трещала и тухла прямо над моей головой, отчего гул и ароматы набившихся в офис людей вместе с работой офисной техники предстали передо мной в десятикратном масштабе, и я ощутил себя словно в нью-йоркском метро, сдавленный со всех сторон гудящей толпой.

Но шло время, а таинственный специалист так и не появлялся. И вот наконец после двух часов совершенно бессмысленного сидения у выключенного монитора, насмотревшись на работу доведенных почти до отчаяния молодых девушек и одного высокого парня, произошло то, чего я опасался более всего на свете, торжественно входя в двери своей новой работы, — я начал думать. А так как ощущение надвигавшихся мыслей, сравнимое с впрыскиванием горячего воздуха прямо внутрь ваших легких, было знакомо мне с детства, то еще до его начала я намеренно наступил себе на ногу каблуком правой туфли: особой боли я не ощутил, но из-за того, что я знал, что обувь начищена до блеска, мне стало ужасно неприятно, что отвлекло меня ненадолго от приближавшейся катастрофы. Однако в конце концов я стал говорить с самим собой, все с большим презрением обводя взглядом всех окружающих меня людей:

— Оглянись вокруг. Просто взгляни. Неужели ты хочешь потратить свою жизнь на разъяснение условий депозитов? Неужели престиж и деньги значат для тебя все и ты готов копать остаток жизни в бесчисленных отчетах под невыносимым треском люминесцентных ламп? Сможешь ли ты полюбить такую работу или будешь всю свою жизнь вспоминать о том, что так и не ушел в тот день в неизвестность, запивая потерянное будущее дешевым коньяком? Нет, лучше умереть с голоду, лучше сразу превратиться в ничто, чем рачительно ждать целое десятилетие, прежде чем тебе повысят зарплату на пару сотен и ты сможешь шагнуть на следующую ступень ничтожной эволюции, уйдя от рыбных помоев в свой собственный отдельный кабинет. Как здесь все выверено, как подогнано под каждый миллиметр расчерченного мозга, и, спорю, что те зеленые стебли фиалки, стоящей на подоконнике в пластмассовом горшке, сбрызгиваются не реже двух раз за день. Как могут эти люди терпеть такую жизнь? Ведь загружать грязные пыльные мешки куда лучше, чем сидеть здесь, обвесившись фальшивой стабильностью в виде болтающихся немецких часов и нагрудной золотой цепи: там, в этой грязи, ты был абсолютно свободен, не сдерживаем ничем из того, что не позволяет этим людям даже повисеть тон на безумные крики клиентов. Ты больше никогда не увидишь то яркое облако, плившее в синеве тускнеющих небес, и пленяющий аромат трав навсегда исчезнет из твоей души.

Уверяю вас, какими бы безумными вам ни казались эти мысли, едва ли вам удастся оценить всю степень их безрассудства, ибо думать о тонущих в теплых лучах облаках, сидя в помещении банка в свой первый рабочий день, означает прославлять смерть прямо за праздничным свадебным столом.

Уверяю вас, какими бы безумными вам ни казались эти мысли, едва ли вам удастся оценить всю степень их безрассудства, ибо думать о тонущих в теплых лучах облаках, сидя в помещении банка в свой первый рабочий день, означает прославлять смерть прямо за праздничным свадебным столом.

Но ненависть к самому себе росла во мне с невероятной силой, чего не было еще ни на одном из моих прежних рабочих мест, — и чем больше я смотрел на вынужденные улыбки своих коллег и их надменную снисходительность в выглаженных белых воротничках, тем более я был близок к тому, чтобы просто выбежать отсюда вон, скрутив обидную рожу и намеренно пнув кого-нибудь из них под зад. Сдерживало меня лишь одно: полное отсутствие денег, так что я еще около часа колебался между затеванием драки и ожиданием прибытия мифического специалиста, представлявшегося мне теперь уже в виде таинственного незнакомца, владевшего вовсе не нужной компьютерной программой, а ключами от самой истины.

Но человек тот так и не появился, и когда часы пробили ровно половину двенадцатого, я, наконец, молча поднялся из-за стола и, не сказав ни слова, вышел прочь под свежий кусочек лазурных небес.

Это был абсолютный рекорд. Три с половиной часа! Ни один работяга на этом свете еще не познал прелести столь скорого увольнения, как это сделал я: пройдя через три собеседования, проверку на детекторе лжи, заполнив бесчисленное множество анкет, выполнив несколько тестов и, наконец, купив на последние деньги брюки и две рубашки, чтобы влиться в бесцветный океан офисной пыли, — я покинул это место через двадцать минут, задыхаясь от радости, душившей меня на свежих просторах донецкой земли. Я находился в полнейшей эйфории и, вместе с тем, на абсолютном дне. Впрочем, мое денежное положение на время все же спасло то, что я сумел продать только что купленные итальянские рубашки младшему брату Джейн, которому они пришлось впопыхах, а проклятые узкие брюки и по сей день висят у меня в шкафу, напоминая о том дне, когда я с радостью выбежал из душного яркого помещения с мерцающим светом, с облегчением расстегнув верхнюю пуговицу душившего меня воротника.

Я плохо помню дальнейшую дорогу домой. Не знаю, что меня так поразило в тот день, ведь сам я не раз бывал в помещениях банков и, в общем-то, знал о трудовых буднях этих людей, — но та серость, ванильная слащавость их рабочих часов перекинулись на всю мою жизнь, словно этот самый костюм с туфлями я не сумел бы стащить с себя даже в гробу. Размеренность и покой их жизни стали для меня чем-то вроде игровой кости, застывшей на одной из своих граней и никак не способной принять конечное положение. Исчезли люди, которые бы могли встретить конец света двумя бутылками андалусийского хереса и му-

зыкой танго из старого радиоприемника. Вместо них на троне вселенной взгромоздился маленький серый человек, чья размеренность жизни служит мерилом величия будущих веков. Боясь даже громко чихнуть, мы пугливо роем глубокие норы от малейшего ветерка безрассудства и безумия, чьи гигантские торнадо бушевали когда-то над нашей землей. О, величие жизненных полдней, этих томящихся знойным покоем дней, когда ничто не в силах потревожить тихо плавящейся голубой глади неба в наших собственных бесцветных зрачках! Когда-то человек был всем, не имея ровным счетом ничего, теперь же, имея все, мы превратились в ничто, с каждым днем все более испаряясь с воздушных страниц истории своим молчаливым бляением в вечность.

Так размышлял я, пока наконец не добрался домой, где в очередной раз придумал историю о том, как после двух недель детальнейшего отбора меня не взяли на эту должность из-за моего диплома, не имеющего отношения к экономике, будто это выяснилось только теперь, а не в первый же день. Что ж, звучало не слишком убедительно, но едва ли я мог объяснить своим близким, почему я сам отказался от престижного места в крупнейшем банке страны с хорошим годовым окладом после работы на грязных складах и во всякого рода дырах с копеечной зарплатой. Не уверен, что это объяснение имелось у меня и для себя самого, ведь не может же в самом деле в вопросе вашей будущей судьбы основным аргументом служить мерцающая люминесцентная лампа и политые кусты фиалок? Но в тот день именно они и были для меня высшей формой действительности, и никакие законы логики не определяли мою жизнь столь строго, как легкий чистый ветерок, повисший на моей шее в канун злосчастного дня.

После случая в банке я окончательно оставил идею работы в белых перчатках и вновь принялся искать нечто до умопомрачительности примитивное, пытаюсь устроиться то грузчиком, то кладовщиком, то уборщиком. В последнем случае мне вновь не повезло, ибо едва мой работодатель узнал о моем возрасте и двух дипломах, как, видимо, решил, что над ним подшучивают, и не на шутку рассердился, не веря в то, что кто-то изъявил желание драить полы после престижного университета. Но сумев убедить его в серьезности моих намерений, ибо, несмотря на характер работы, оклад и график в этом кафе были весьма неплохими, мне все же было отказано в трудоустройстве по причине, обычно являвшейся несомненным достоинством юных соискателей:

— Молодой человек, простите, но мне будет не по себе от мысли, что мой уборщик имеет степень магистра, — сказал он мне, нисколько не шутя, — поищите еще.

Итак, мои познания в области греческой метафизики только что лишили меня возможности мыть полы, в очередной раз заставив задуматься о сущностной основе полученных знаний. Ход моих рассуждений был примерно следующим: раз уж я не могу работать в банке по той же причине, по которой и не могу чистить унитазы, не означает ли это... И в этот самый момент мне на ум не пришло ровным счетом ничего, что могло бы сойти хотя бы за мало-мальское оправдание моего ничтожного положения, — все это действительно ничего не означало.

Знаете, я с большим почтением отношусь ко всякого рода мелочам. Так, к примеру, маленькая костяная статуэтка должна стоять именно в двух сантиметрах от края стола, и ни миллиметром левее, и едва я замечаю, что она сдвинута хотя бы на йоту, то чувствую себя самым паршивым образом до тех пор, пока не исправлю этой оплошности. Или вот еще другой пример: слегка приоткрытый уголок окна, просвечивающий сквозь плотно завешенные шторы, может не дать мне уснуть до тех пор, пока я не закрою эту узкую брешь и вся комната не лишится последнего луча света, погрузившись в тягучий полумрак. Зачем я обо всем этом говорю? Все дело в том, что в тот период моей жизни Легион, к которому все еще стремилось все мое существо, казался мне тем самым неприкрытым кусочком окна, который раздражал меня своей белизной в дремучем полумраке осенних тонов. Меняя работу за работой, я и не подозревал, сколько же лет мне может понадобиться, чтобы вновь собрать нужную сумму денег для своей мечты. Выходило, что образ бездомного странника, живущего одним днем, не давал наступить главному дню моей жизни, все более заключая меня в железные кандалы. Впрочем, это была уже не мечта. Одержимость довела меня до предела, я похудел. Неустанный Давид, я все сильнее размахивал пращей над своей головой, так и не решаясь сделать бросок.

Так однажды во мне блеснула мысль, что ничто уже не заставит меня отказаться от этой идеи: вторичный провал лишь усилит тот зов, что звучал для меня с преисподней душевной тоски, — и я вновь отправлюсь туда, где раз за разом нахожу упоение в своих неудачах. Не владея собственными мыслями, я стал бояться самого себя. Что, если мне взбредет в голову нечто ужасное, что покажется мне совершенной мечтой и от чего я

не смогу отказаться, как бы я ни старался? Где теперь мне искать ту грань, что отличит реальность от вымысла, удовольствие от боли, жизнь от безумия? Раньше я сам был этой чертой, но стоит ее перечеркнуть — и пустота овладевает вами целиком, сливая тысячи дорог в одну возможность, делая выбор лишь игрой случая, обидной гримасой, чей лик лишь отдаленно напоминает вам вас самих. Абсолютная свобода — удел безумцев, безумие — судьба храбрецов, а сам я был меж острием дамоклова меча и его завораживающим блеском, манящим красотой смертельной игры.

Как я сказал себе «стоп». Понимая всю степень безумия, объявшего мой бледный мозг, я решил отказаться от абсурдной поездки и уже навсегда — пускай и лишь на бумаге — смириться с тем обломком, который все еще сжимал как копьё. Находясь на распутье, я не стал дожидаться очередного припадка безумия и уже следующим утром набросал заявление, в котором вновь просил поменять мое имя уже на привычное мне Станислав. Так в моем распоряжении оказалась приличная сумма накопленных денег и целая бездна времени, глядевшая на меня с цинизмом приподнятых плеч.

Какое-то время после отказа от марсельского бриза я просто лежал на полу, целыми днями смотря в потолок и представляя, будто мое тело медленно, словно кусок тягучего сыра, плавится на жару времени, превращаясь в липкое желтоватое пятно. Апатия и депрессия захлестнули меня целиком. Я забросил письмо, за целый месяц не написав ни строчки. Я размышлял о Джейн, с которой не виделся уже около полугода, своей матери, чья жизнь в отдаленной перспективе напоминала мне мою — безрадостные рабочие будни, постоянные склоки с собственной выжившей из ума матерью, радость от победы демократов и покупки дешевых огурцов. Вот только с надеждой на Бога у меня не сложилось. Ну что ж, думаю, она надеется за нас двоих, возможно, даже за все человечество. Да, это так. И все же все это едва ли затрагивало мое существо. Из всех людей на этой скучной планете, говорящих шаблонными фразами и желающих, в сущности, одного и того же, меня интересует лишь мой мертвый отец. Я частенько представляю себе эту встречу: за шатающимся кухонным столом он сидит передо мной в своем старом спортивном костюме с прыгающей синей пумой, облокотившись о холодильник и невольно теребя пальцем алюминиевый уголок стола. Теперь я понимаю, что не знал этого человека в принципе, и лишь теперь, когда самому мне уже не шесть лет, а он остался все тем же тридцатилетним мужчиной со смешными усами, я мог бы... Впрочем, даже не знаю,

что бы я сказал ему сейчас, какой бы вопрос задал, предпочтя, верно, послушать его самого, о чем бы ни шел разговор. Для меня бы это была однозначно новая встреча — встреча с человеком, поселившимся в моей детской душе легким покашливанием и ненавистью к себе самому, человеком, который столь же бесконечно далек от меня, сколь и близок мне, и которого у меня никогда не будет. Но эта встреча идеальна. Втайне я не хочу ни объятий, ни возвращения его с того света, ни примирения с самим собой, — мне нужна эта боль, чтобы из раза в раз возвращаться к той встрече и по-прежнему не слышать ни единого слова, по-прежнему смотреть на уголок стола, затертого, словно башмак Маймонида, приносящий удачу счастливым иберам. Меня устраивает мой ручной безмолвный призрак, и я не хочу наделять его говорящей душой.

Недолгое время после отказа лететь в Марсель я еще пробовал себя в различных амплуа, пытаюсь устроиться то мельником, то продавцом косметики, то рекламным агентом на радио, одно время даже занимаясь продажей небольших артефактов вроде старинных книг или недорогих монет. Но все это длилось не больше месяца, после чего я вновь уходил в глубины тоски и депрессии, пока наконец не устроился на самую тяжелую из всех сменных мною работ, ощутив весь дух донбасской земли.

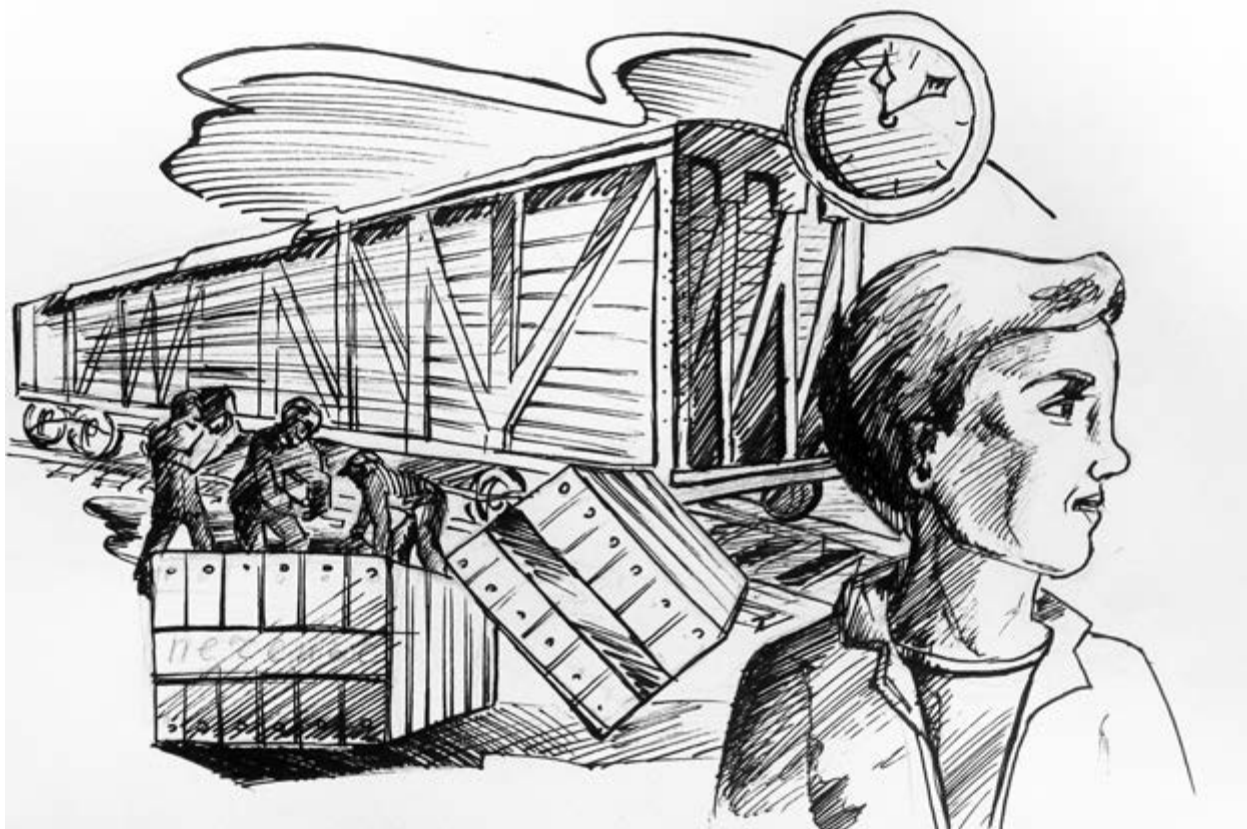
Вам, мой дорогой читатель, может показаться, что всякая работа грузчика однообразна и одинакова, — но, уверяю вас, это не так. За свою небольшую рабочую жизнь я успел ощутить на своих руках тяжелые высокие холодильники, мешки с кроличьими и свиными кормами, коробки с бананами и печеньем, бревна и доски, скользкие мокрые шины — и в каждом отдельном случае это был целый мир со своими особенностями и подводными камнями. Вот, к примеру, грузить десятикилограммовые банановые коробки куда удобнее, чем однофунтовые тарталетки, ибо количество последних, помещаемых в товарные вагоны, столь велико, что приходится делать в сотню раз больше движений, прежде чем выложишь ими хотя бы четверть вагона. Зато загружать этот же вагон такими же по размеру банановыми коробками, которые до отвала набивают печеньем и пирожными, следует со специальным математическим расчетом, ибо неровные стенки вагона не позволяют загружать его равномерно одним и тем же количеством той самой продукции, которая без проблем помещается в специальные фуры. Итак, легкие тарталетки менее предпочтительны тяжелым конфетам, но те, в свою очередь, хуже коробок с панамскими бананами, в которых

имеются специальные вырезы для рук, отчего забрасывать их в кузов грузовика поначалу приносило мне даже некоторое удовольствие, пока я за один только день до крови не натер себе мозоли, непредусмотрительно сэкономив на перчатках. Что же до мешков с отрубями и различного рода кормами, то здесь вообще требуется специальный подход, ибо тащить их можно дюжиной способов, и лишь один из них наименее труден, хотя требует определенных усилий при первоначальном подъеме мешка, неверное поднятие которого грозит вам срывом спины.

Как вы уже догадались, мой жизненный путь наконец уперся лбом о железные стенки вагонов, и я стал причастным к одному из самых благородных трудов на земле — производству медовых конфет.

На кондитерской фабрике работало огромное число людей: пекари, сортировщики, отборщики, упаковщики, логистики, целый взвод охраны, обыскивавший нас долгими осенними вечерами и создававший из огороженной территории неприступный форт, и еще множество достойных людей. Низшую же ступень во всей этой карьерной эволюции занимали грузчики, ниже которых стояли лишь грузчики, работавшие здесь неофициально. Среди них также имелась особая каста тех, кто уже не первый год гнил в грязных вагонах, с вершин своего опыта презрительно глядя на тех, кто лишь впервые забрел в «Алькатрас». Строгость нравов начальства и высочайшие меры безопасности целиком намекали на то, что за одиннадцать рабочих часов — не считая двух небольших перерывов — вам и думать не стоит о том, чтобы хоть на секунду перевести дух: каждый час оплачивался в размере семнадцати гривен, и именно сквозь это число на вас и смотрело начальство с высоты трех десятков экранов, следивших за вашим трудом. Эти тысяча семьсот копеек наполняли вас с головы до пят, и думаю, на всемирных весах справедливости ваши чаши б застыли в единой черте. Что ж, это действительно была самая высокооплачиваемая работа из всех, которую мне удавалось найти, — но и те восемнадцать тысяч кило конфет и печенья, которые каждый сотрудник обязан был загрузить за свою смену, приводили в восторг даже самых бывалых работяг на нашей земле.

А объяснялось все это нехитрым подсчетом, который, надеюсь, не отобьет вашего желания и дальше поглощать вкусные ванильные кексы с лимонным желе. Итак, позвольте небольшой математический фокус. Из двенадцати часов рабочего дня работали вы ровно одиннадцать, остальное время проводя на двух перерывах. Стало быть,



восемнадцать тысяч килограммов конфет и печенья ложились ровно на одиннадцать рабочих часов, а это означало, что в час вы должны были успевать загрузить чуть более тонны шестисот. Далее, разделяя и это число на шестьдесят минут известного времени, мы получаем двадцать шесть килограммов в минуту, а если учесть, что средний вес коробки равнялся пяти килограммам, то выходило около пяти коробок в минуту, или двенадцать секунд на каждую коробку. А теперь представьте, что вам нужно забросить две тонны печенья на трехметровую высоту в темном вагоне к концу смены, когда ваши руки уже не поднимаются выше локтей, при этом не теряя прежнего темпа и порой просто вбивая каждую коробку в сужавшийся ряд. Не будем забывать и о погрузке пустых поддонов, а также о том, что в морозные дни металлические листы, по которым эти поддоны ввозились в вагон, покрывались тонким слоем льда, отчего затащить полторы тонны печенья наверх можно было, лишь разогнавшись с середины пирона, что требовало навыков немецкой спор-

тивной езды. Конечно, все это отнимало время, и, чтобы выполнить план, мне было необходимо работать из расчета коробка в секунду, что превращало ваше тело в первые два рабочих часа просто в живой механизм, конвейер, лишь иногда поднимающий руки при обыске бравыми солдатами. Да и напарники менялись здесь чаще, чем проверяли карманы штанов, что нисколько не облегчало выполнения поставленных целей.

Так, в одну из ночей судьба в очередной раз свела меня с бывшим заключенным, который работал в таком засаленном и грязном полушубке, что запах от него наполнял собою весь огромный вагон, погружая меня в глубины неизбежности, ибо никаких вариантов избавиться от дымящего аромата не было вовсе. Кроме того, этот человек постоянно сморкался и говорил исключительно матом, используя лишь редкие междометия для пояснения своей позиции, что чрезвычайно меня раздражало. За четверть часа до обеденного перерыва он и еще один паренек из соседнего вагона, выглядевший столь экстравагантно, что концертные костюмы

Фредди Меркьюри были просто верхом обыденности (парень этот был одет в старую рваную куртку, заклеенную синей изоляционной лентой, а вместо ботинок его ноги украшали зеленые резиновые сапоги до самых колен, больше походившие на наряд с Квартала красных фонарей), отвели меня в дальний угол склада и предложили проверить небольшое дельце, заключающееся в краже нескольких коробок с печеньем во время предстоящего обеденного перерыва. Суть грандиозного плана сводилась к следующему: так как выйти с территории фабрики до конца смены было в принципе невозможно, то под покровом ночи двое из нас должны были прокрасться к одному из заборов, в котором уже давно был сделан небольшой подкоп, перед тем прихватив по две коробки с печеньем, конечно же, минуя камеры наблюдения и двигаясь по так называемым слепым зонам. Третий же в это время должен был отвлекать охранника, который на данном участке приходился знакомым парнишке с Де Валлен, на которого и возлагалась ведущая роль. После смены нам оставалось лишь подойти с той стороны забора и спокойно забрать заслуженный приз.

Надо сказать, что весь разговор о предстоящем предприятии велся в таких оживленных красках, что я едва сумел убедить себя хотя бы секунду поразмыслить, прежде чем согласиться на ограбление века: глаза этих несчастных людей блестели огнем, словно только ради этой минуты и текла вся их жизнь. Мой напарник убеждал меня в абсолютной безнаказанности предстоящей аферы, не зная, что в глубине души я уже все решил. Мой ответ был «нет», после чего мои новые приятели, совершенно разочарованные, отправились на обед, до конца смены не сказав мне ни единого слова, хотя сам я благословил их на это дело и сказал, что не собираюсь их выдавать, даже если меня станут пытаться оплачиваемым отпуском.

Завалившись на лавку в душевой раздевалке, я стал обдумывать произошедшее под уже привычным мерцанием загадочных звезд над верхушками спящих терриконов. Скажу сразу, что идея красивого ограбления какого-нибудь из местных банков с оставленной алой розой вместо мешков с деньгами тлела в моей душе с самого детства, так и не уйдя в небытие и поныне, как это случилось с остальными детскими грезами и мечтами. И если бы эти двое предложили мне идеальный план, продуманный до мелочей, до каждой секунды вдоль и поперек, я бы не раздумывая согласился, ибо не имел никаких моральных предрассудков в отношении красоты. С другой стороны, будь я настолько голоден, что коробка теплого печенья могла бы спасти мне жизнь, едва ли я сильно бы

сокрушался и в этом случае, переживая о том, что нарушил многомиллионный баланс компании своей стогривневой кражей. Но все это не имело ко мне никакого отношения. Мне было предложено то, что вызвало у меня дикое отвращение к самому себе, почти тошноту, так что я едва назло не согласился на абсурдное предложение.

Все дело в том, что я был на самом социальном дне, не имея ровным счетом ничего и восполняя это самое ничто двенадцатью часами каторжной работы в холодных вагонах с воняющим напарником за два доллара в час. Но сам я знал, что за моими плечами десятки новелл, сотни стихов, дюжина пьес и рассказов, великолепная память, хорошо поставленная речь, достоинство, вмещающее в себя способность видеть эти яркие звезды даже здесь, среди ржавой пыли и холодных ночей, — что сам я вовсе не грузчик, не потерявший свое будущее в этой глуши человек, а лишь тот, кто на время погружен судьбой во мрак неизбежности, которая обязательно обернется таким же неминуемым успехом. Но предложение стащить эти проклятые коробки делало все это ничем. Эти двое словно сказали мне: «Ты такой же, как все. Ты — никто, и это чертово печенье — единственное, что будет в твоей жизни, кроме, может быть, водки или просроченной колбасы. Ты должен стащить его с этого склада вовсе не из-за голода, вовсе не из-за того, что обижен на начальство и решил его проучить, — ты сделаешь это лишь потому, что на твоём месте так сделал бы каждый, превратившись в ничтожную мышь, которая радуется объедкам и крохам со всеобщей помойки под названием жизнь».

Я отказался. Но этого было недостаточно. Сам факт того, что подобное было предложено мне, говорил о том, что в каком-то смысле эти двое были правы. И чем больше я об этом размышлял, тем более ростки этой истины превращались в глубокие корни. В душе я так и не снял университетский пиджак, и весь комизм моего положения состоял в том, что я загружал грязные проржавевшие вагоны с бабочкой у белого воротника. Что ж, я благодарен судьбе, что возможность думать в ту ночь была полностью соразмерна обеденному времени, а потому едва лишь закончился перерыв, как я вновь принялся наполнять холодный вагон с моим уже молчаливым напарником.

Должен вам признаться, что отказ от участия в том деле имел для меня и другой эффект, ибо нередко перед началом смены наши мастера, отпуская официальных сотрудников на уже начавшуюся работу, выстраивали тех, кто пыхтел здесь неофициально, в длинную цепь, после чего долго и строго, зачастую разъяренно крича, объясняли,

что если и далее будут появляться регулярные недостачи печенья на этом проклятом складе, то недостающую прибыль станут высчитывать из наших зарплат, что было вполне справедливо. Однако после того, как я отказался участвовать в краже, все эти доморощенные лекции о вреде воровства я мог переносить не иначе как глядя в пол, ибо злость в такие минуты превышала разумные силы моего рассудка, и я едва сдерживался, чтобы не плюнуть своему патрону в лицо.

Но моя судьба была не худшей — или уж точно не единственной из судеб тех, чья жизнь вертелась в руках безысходности, словно пустой барабан на холодном ветру. Любой, кто прикасался к этому миру оголенными нервами мыслей, с необходимостью познавал свое место в далеком сером ряду. Я знал человека, который годами работал в одной из местных шахт, не оставляя надежды вскочить в тот самый прозрачный пиджак, что никак не слезал с моих плеч. Парень, готовясь поступать на физмат, сидел с учебником по квантовой физике на глубине семисот метров, следя за конвейерной лентой в грязном пыльном респираторе. Шесть часов монотонной работы превращались в куб мыслей о том, что когда-то он вылезет из этой дыры к светлым лучам науки, обязательно натянув на себя белоснежные махровые перчатки. Это была его мечта. Не знаю, что с ним стало потом, слышал, будто он трое суток копал окопы для ополчения после того, как напился до такой степени, что обнаружил себя уже в наручниках

на одном из военных постов, но что-то мне подсказывает, что наш мир устроен не так. Да, он должен был читать эти книги, лежа на мягкой постели, а я уж никак не прозябать в ржавом вагоне по собственной воле, словно насмехавшимся над его мечтой. Так не должно было быть, но тот факт, что именно так и было, доказывал обратное.

Наконец после многочисленных скитаний по заводам, фабрикам, складам, мельницам, ритуальным агентствам и прочим менее благородным местам я вывел для себя самую мысль, что человек должен работать в своей жизни как можно меньше, по возможности не работать вообще. Но если все же работа для него неизбежна, то выбирать ее надо исходя из того, что она должна быть самой тупой и тяжелой, какую только можно представить себе в его краях. Развитие человеческого духа не может быть подкреплено выкапыванием могил или тасканием бревен, но и разительное сходство тяжелого труда с полнотой жизни не должно проходить мимо нас: сжимая в руках молоток, вы вольны швырнуть его за край света, тогда как от «Паркера» с золотым пером не так-то легко и избавиться.

Но вскоре мне более не пришлось ломать голову о железных рабочих цепях, ибо все это рухнуло само собой, словно маленький карточный домик: в стране началась революция, а затем и война, и я, как и сотни моих земляков, в одночасье потерял все, будучи окончательно выброшен за борт понимания и всякой надежды на смысл.

Окончание следует.



Николай МИТРОФАНОВ

Из «Автографа о себе»

...Мне трудно теперь сформулировать, как и какими путями приращивались в моих писаниях темы, как своеобразно порой трансформировались некоторые из них, тем более что с самого начала своей по-настоящему сознательной жизни я с большей или меньшей интенсивностью действовал в журналистике, вступил в Союз журналистов СССР, несколько лет руководил литературно-драматической редакцией Всесоюзного радио, в 1990-е годы часто печатался в газете «Вечерняя Москва», где работал штатным обозревателем. Я был шеф-редактором журнала «Странствия и приключения», главным редактором издательства «Знание». Последние десять лет мною отданы «Московской энциклопедии», оригинальному изданию историко-биографического толка, о котором, сдается, будут немало говорить после его завершения примерно через год. В вышедших трех томах «МЭ» напечатано множество моих статей о знаменитых и неизвестных москвичах и гостях Первопрестольной — большинство их подписаны мною и потому легко узнаваемы...

ЛЮБОПЫТНЫЙ БЫЛ ПИСАТЕЛЬ ВАСИЛИЙ РУБАН

Привычно беру в руки самую старую книгу моей домашней библиотеки. Этот сильно потрепанный томик в кожаном переплете много раз помогал наводить непростые исторические справки. И тут меня осеняет. Ба, да ведь у нашего чудесного издания юбилей!

Двести сорок лет назад выпорхнуло оно из типографии Московского университета прямо в его книжную лавку и пошло гулять по белу свету, рассказывая любознательным российским грамотеям о множестве интересных и полезных вещей. В «Предуведомлении» от анонимного автора говорилось, что его воодушевил успех выпущенного им в 1775 году «Любопытного месяцеслова» и он свежим своим трудом продолжает знако-

мить читателей с достопамятными датами отечественной и других «главных Ер и Эпох народных». Человек, купивший тогда вот эту книгу с обещанными «многими новостями», хорошо знал, кому принадлежат написанные слова. Поэтому и начертал на первом чистом листе необозначенное книжкино название: «Любопытный месяцеслов 1776 г., издан В. Рубаном».

Сколько раз приходилось раскрывать симпатичный пухлый фолиантик, чтобы справиться о забытых именах и фактах! Или заглянуть в святцы. Исключенный напрочь из повседневного обихода, этот перечень православных праздников позволял с легкостью определить, какому дню нового стиля соответствует то или иное событие православно-

го календаря. Достаточно было только к датам, бывшим в ходу в XVIII веке, прибавить поправку на век XX. Для знающих людей здесь были помещены разные, так сказать, «хронологические примочки», позволявшие безошибочно вычислять дни Пасхи и других так называемых «переходящих» праздников.

По-своему интересен примененный в книжке метод указания на давность некоторых событий: составитель приводил цифру миновавших от них лет. Так указывалось, например, что с изобретения пороха прошло 434 года, с начала езды на каретах — 366, «сыскания Америки» — 286, начала книгопечатания в Москве — 191, «зачатия российского флота» — 79, введения привития оспы в России — 8, «переименования реки Яика Уралом» — 2, разрушения Запорожской Сечи — 1 год. Вот такая задом наперед арифметика! А что, может быть, отсчет помогал трезвее и предметнее осознавать быстротекущее время?

Логично соседствовала с такими данными роспись правящих российских личностей, начиная с Рюрика. Этот раздел на протяжении долгого времени, видимо, читали очень внимательно, дополнительно вписывая от руки добытые разными путями достоверные данные. Так, один из владельцев внес чернилами поправку, касающуюся великой княгини Ольги, — автор утверждал, что она прожила около 80 лет, а он уточнял: «по хронографу жития — 88 лет».

Сolidную часть книги занимали росписи губерний (их было тогда 23), епархий (их насчитывалось 33 с 460 монастырями и 20 535 церквями), киевских митрополитов, архиереев всех епархий со дня основания и т. д.

Составитель «Месяцеслова» явно располагал весьма обширной информацией об истории и топографии Коломны, выделяя ее из других пунктов Подмосковья. Есть тут даже и такой абзац: «У купцов, торгующих в коломенских лавках, состоят товары, привозимые ими из Санкт-Петербурга, из Москвы и других городов, шелковые разные материи, сукна, выбойки, китайки, кумачи, холст и прочая мелочь. Хрустальная и фарфоровая посуда, сахар, овощи, мед, воск, свечи, железный разный поделок и хмель. В погребках виноградные вина». Очень недурно жили коломенцы в XVIII веке!

Замечательны по полноте сведения о медалях, выбитых в России с самого начала Петровской эпохи. Любое достопамятное событие находило свое бронзовое выражение. Взятие Азова, «искоренение стрельцов», заложение Санкт-Петербурга, «установление монетного дела», окончание



кронштадтского канала, «установление Императорской академии художеств на инаугурацию» (1765 год) и даже устроенная на следующий год карусель... Кавалеры ордена Белого Орла, удостоенные этой награды польскими королями Августом III и Станиславом Августом, — целая плеяда громких имен: Кирилл Разумовский, Иван Шувалов, Петр Шереметев, братья Иван и Захар Чернышевы, Петр Трубецкой, Яков Брюс, Александр и Михаил Голицыны, Григорий Потемкин...

Составитель книги, конечно, не преминул воздать должное и самой главной российской фигуре — императрице Екатерине II. Ода, поставленная в открытие книги, превозносила ее со всей экзальтированностью придворной поэзии:

Монархиня! Тебя произведя, Природа
Ко славе все твоей устроив время года,
Одолжавшие тебе определила дни,
Да Россы процветут твоих доброт в тени...

Листая книжку-юбилея, разумеется, хочется приоткрыть завесу перед портретом ее создателя — Василия Григорьевича Рубана. Толком о нем мало что известно. Трудолюбивый потомок украинского казака (он родился в 1742 году) был одним из первых питомцев Московского университета. В студенческие годы изучал турецкий и польский языки, писал для отечественных журналов. По-видимому, уже тогда накопил немало

пригодившейся впоследствии разнородной информации. С 1774 года служил секретарем у фаворита царицы князя Григория Потемкина на протяжении почти двух десятилетий. Чего только он тогда не сочинял! Гимны, элегии, эпитафии. Цитированная выше ода, несомненно, его собственный плод. И тем не менее в «предпенсионном возрасте» материальное положение Рубана оставляло желать много лучшего. Не поправили дела энтузиаста пера и издаваемые книги. Кстати, несколько лет спустя, а именно в 1782 году, выпустил он еще один замечательный труд — «Описание императорского столичного города Москвы» — первый в истории путеводитель по Первопрестольной. Умер Василий Григорьевич 24 сентября 1795 года в бедности. Его скромное имущество пошло с молотка. Могила на Охтинском кладбище в Петербурге вскоре затерялась.

Закрывая книгу Василия Рубана, вижу любопытные доказательства интереса к его труду. Первоначально томик этот принадлежал некоему Гавриле Данковскому. Далее судьба его прошла через поворот, о котором лучше всего говорит владельческая запись на одном из последних чистых листов: «Сия книга от сего подписателя вручена мне

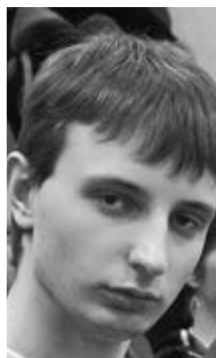
в вечное владение, потому что она куплена в Москве управителем Степаном Семеновичем Селивановым, а по нем в наследство поступить должна за его дочерью Натальей Степановной, которая за мною в супружестве с 20 апреля 1788 года. Чего ради и подписал сие в знак достопамятности апреля 10 дня 1792 года управительский помощник Иван Хайлуков».

Новый владелец благоприобретенной книгой дорожил, о чем говорит следующий его автограф: «Сию книгу не в подарок, а прочесть и возвратить доверяю почтенному старичку Якову Ивановичу Рябову 29 ноября 1797 года». Что с «Месяцесловом» происходило в последующие «эпохи», сказать трудно. Знаю только, что вскоре она стала принадлежать моему пращуру Анисиму Филипповичу, проживавшему в Петербурге и в Москве, Бронницах и Коломне.

Вот какие истории всплывают, когда иной раз надумаешь обратиться за помощью к старому московскому изданию-раритету. Да и только ли к старому? Своя судьба, переплетенная с биографиями их владельцев и читателей, есть у каждой книги. Иногда вспомнить о ее пути к нам очень даже стоит.



Лоуэлл Ховард МОРРОУ



Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», в настоящее время учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета по специальности «история».

Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4 за 2015 год

ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Хотя дни по-прежнему были томяще-жаркими, ночи становились холоднее. У берегов озера нередко появлялся лед, исчезающий лишь с лучами восходящего солнца. Омега знал, что это сулит, и холодный страх снова стиснул сердце. Если не случится чуда и влага не вернется, ни одно живое существо не сможет долго выносить попеременно дневной зной и морозные ночи.

Чтобы как можно дольше сохранить бесценную жидкость, Омега расширил облако так, чтобы оно накрывало озеро целиком. Испарение уменьшилось, и надежды на наступление новой эры воспрянули. Супруги представляли, как Альфа с другими детьми проведут здесь тихую, мирную (раз монстра теперь не было) жизнь. Мужчина принял дополнительные меры предосторожности; воды должно было хватить на много-много лет, а прежде чем она кончится, быть может, какое-то чудо вызовет над землей дождь.

Они проводили много времени (поскольку не было никаких дел, кроме как управлять машинами) вдали от дома (теперь больше не нужно бояться монстра): выходили с закатными лучами

солнца, бродили по тенистым утесам и лицезрели призраков прошлого, возвращаясь, когда спускался холод. Порой Тальма с Альфой сидели в сумерках и слушали Омегу, рассказывающего увлекательные истории из минувших эпох. И сегодня они сидели рядышком на скале над кораблем, глядя на закат. Омега, правда, не захотел рассказывать. Он сидел молча, взирая большими умными глазами на огненный диск, садящийся на краю земли. Его охватили небывалая тоска и предчувствие беды. Разум не мог внятно объяснить, почему, но впервые в жизни ему хотелось, чтобы солнце вернулось. В душу закрался необъяснимый страх перед наступающей ночью. Казалось, до рассвета с ними случится что-то ужасное.

— Почему ты так печален? — с испугом прошептала Тальма.

Сидящий на коленях отца Альфа удивленно посмотрел на него.

— Ничего особенного, — чересчур спокойно ответил Омега, погладив мальчика по голове. — Просто глупые мысли. Холодает — лучше пойдём

в дом. Ох, как же я боюсь этого жуткого холода, беспощадно расплзающегося по свету!

Тальма, как обычно, улыбнулась и согласилась. Они взлетели в воздух и направились к дому. Уже на пороге все трое остановились и посмотрели на облако, укутывающее озеро.

— Хорошо держится, — заметил Омега. — Благодаря ему вода сохранится на долгие годы.

— Да, все ради нашего малыша, — с гордостью кивнула Тальма.

Альфа пошел на берег — поиграть.

— Скоро для него наступит пора обзавестись супругой, — задумчиво продолжал Омега. — У него должна появиться сестра, ты знаешь.

— Верно, — улыбнулась Тальма.

Омега прав: без жены Альфа не сможет возродить человечество. Потому было решено, что еще до восхода солнца должна зародиться новая жизнь.

Прогресс сильно увеличил продолжительность жизни. Когда Альфа появился на свет, Омеге было двести, и он пребывал в возрасте зрелости. Тальма была младше на двадцать пять лет. С веками рождаемость упала, а природа становилась все требовательнее к условиям, необходимым для выживания людского рода. Тальма не могла позволить себе ждать. Спутницу жизни для Альфы следовало создать незамедлительно.

— Альфа хочет еще поиграть. Я присмотрю за ним.

— Хорошо, милая. Пойду готовить ужин.

Мужчина повернулся к дому, но не прошел и дюжины шагов, как его остановил пронзительный вопль Тальмы. Омега резко повернулся и застыл, парализованный ужасом. Из облачного занавеса высунулась уродливая чешуйчатая голова монстра, считавшегося мертвым, и нацелилась на играющего мальчика. Чудище раззявило пасть, быстро-быстро высовывая черный язык и капая на песок слюной, а его жуткие глаза горели, как угольки. В мгновение ока челюсти сомкнулись на ребенке, голова запрокинулась, пасть захлопнулась, обрывая крики Альфы, и змей пополз обратно под облачный покров.

* * *

После первого приступа ужаса Омега очнулся и помчался за чудовищем с безумным криком. По пути он схватил камень и метнул в голову монстра. Снаряд угодил точно в костяное веко над правым глазом. Ящер не поранился, но разозлился, страшно зашипел, швырнул Альфу на камни и бросился на Омегу. Тальма встала между чудовищем и намеченной жертвой. Монстр был готов сокрушить ее своим весом. Однако вид пострадавшего

ребенка и угроза мужу пробудила в женщине демоническую ярость. Тальма тоже схватило первое попавшееся под руку — камень размером с кулак — и, уже чувствуя жаркое дыхание на лице, метнула его со всей силы в разинутую пасть.

Животное застыло, издало ужасающий крик, подалось назад, бешено замотало головой. Уродливое тело плюхнулось в озеро, окатив берег волной. Монстр забарахтался, извиваясь в агонии и не переставая страшно шипеть.

Потрясенные, Омега и Тальма застыли на месте, не понимая причины происходящего. Но вскоре стало ясно: камень застрял в глотке, и теперь ящер задышался.

Родители подбежали к сыну. Омега подхватил его на руки. С первого взгляда стало ясно, что ребенок мертв. Череп был раздроблен, как и каждая косточка в его теле.

Сердце Омegi разрывалось, но он не зарыдал. Он обнял безжизненное тело сына, поднял глаза в небо, к Богу, скрывающемуся от человека уже много веков, и улыбнулся смиренно и покорно. Тальма смотрела на Альфу пустым взглядом.

Оставив монстра биться в предсмертных муках, они отнесли сына в домик, сделали инъекцию, чтобы тело никогда не разложилось, и положили в кроватку. Он останется с ними до конца дней. Только тогда Тальма разрыдалась, найдя облегчение в слезах, истари спасающих женщин.

Омега взглянул на озеро и увидел, что монстр затих. Они выиграли долгую битву, но ужасной ценой. Должно быть, электрические заряды лишь временно оглушали укывшееся в глубокой пещере гигантское существо.

* * *

Тальма игнорировала Омегу. День за днем она проводила над телом сына, оплакивая его, не слушая утешений и увещаний мужа. Разорванное сердце не залечивалось. Даже обещание нового ребенка не вырвало ее из пучин горя. Она упорно отказывалась рассматривать такую возможность. Жизненная сила ушла из нее, и Тальма была готова подчиниться жестокой судьбе, забрасывающей их миражами и насмехающейся над их горем. Тщетно Омега объяснял, что их долг — продолжать бороться; что они, последние из некогда великой расы, не могут выбросить белый флаг трусости. Он упомянул, что присутствие их сына рядом, хоть и безжизненного, должно побуждать их не сдаваться. Но женщина не слушала, ибо хотела вернуть живую душу, услышать слова любви и ласки, которые так радовали материнское сердце.

Омега мог снова вдохнуть жизнь в сына. Люди освоили все тайны биологии и жизни. Он мог бы починить переломы и разрывы сухожилий, заставить ожить сердце и легкие, очистить мозг. Альфа снова бы встал на ноги, но был бы не с ними. Нечто загадочное, именуемое душой, улетело навсегда, а замены ему человечество не придумало. Оживлять Альфу было бы издевательством над его памятью — Омега припомнил много печальных примеров такой реанимации.

Он предвидел конец и улыбался ему навстречу. Хотя он остался все тем же преданным и любящим спутником Тальмы, женщина больше не чувствовала его любовь. Омега редко покидал жену, но порой, охваченный горем, уходил к вершинам и один на один общался с прошлым.

Сегодня он взобрался выше обычного. Красное солнце жгло тело парящего в воздухе и неотрывно смотрящего на далекий горизонт человека. Его взгляд был взглядом умирающего от голода зверя. Казалось, вот-вот над безнадежной землей появится облачко и принесет новую жизнь. И все же Омега осознавал нереальность подобного. Темные глаза обежали горизонт. Человек презирал его унылую монотонность и одновременно восхищался ею. За этой мертвой линией земли и неба не было ничего, кроме призрака смерти. Многочисленные путешествия на корабле и Зеркало утверждали именно это. И все же человек продолжал надеяться.

Когда Омега, наконец, вернулся домой, солнце село. Он вызвал в памяти часы — за бесчисленные поколения человечество перестало нуждаться в устройствах для подсчета точного времени — и понял, что прошло три часа. Он упрекнул себя в невнимательности, вошел в дом и содрогнулся.

На широкой постели Тальмы, над которой висели картины древнего зеленого мира, лежало тело Альфы. Рядом неподвижно распростерлась его мать. Остекленевшие глаза усталились на картину, а на губах — впервые за много недель — играла улыбка.

Омега склонился над женой, взял ее холодные руки в свои, поцеловал в лоб. Его горе было слишком глубоким, чтобы выразить слезами. Он улыбнулся, благодарный за любовь, которой его одаряла Тальма. Он не подвергал сомнению План Создателя — План, который довел его, отпрыска великих мира сего, до зенита жизни и теперь оставил одного — последнего из своего рода. Тальма ушла. В первые мгновения Омега испытывал соблазн присоединиться к ней. Без малейшего усилия, без страха или боли, ибо его машины повелевали жизнью.

* * *

Сокрушенный, сломленный Омега сидел у изголовья мертвой. Ночные тени окутали расщелину мягкими объятиями. Когда пробьет его час? Он мог отсрочить этот миг или ускорить, но на самом деле ответ на вопрос таился в маленьком озере под звездами, которое неизменно таяло, невзирая на облачную завесу. Жить было не для кого, но человек все равно намеревался жить и умереть, сражаясь, как доблестные рыцари древности, чтобы послужить примером для сыновей других миров.

Несмотря на бравую решимость, горе едва не побороло его. Наконец, человек с разбитым сердцем вышел в ледяные сумерки и с мольбой посмотрел на небеса.

— Один! — прошептал он; всеобъемлющее одиночество сокрушило его дух. — Один-одинешенек в мертвом мире — единственный, кто пережил канувшую в небытие жизнь!

Он рухнул лицом в холодную пыль. Мысли блуждали в лабиринте боли и уныния. Он был не в состоянии ни молиться, ни рассуждать логически. Хватая ртом воздух, умирая тысящей смертей, человек пластом лежал в пыли. Но поднялся, отряхнул грязь с век и снова усталился в небо. Он смирится с жестоким уроком природы. Он станет жить дальше и постарается победить всех — даже смерть.

Омега перевел взгляд на берег озера. Звезды озарили тушу монстра, который, если б не меткая рука Тальмы, стал бы последним выжившим на Земле. Омега со вздохом вернулся в дом к своим мертвецам.

Хоть он и принял решение жить, одиночество неустанно грызло его. За последующие недели безрассудства и отчаяния он рассеял облачный покров над озером. Лучи светила снова беспрепятственно полились с небес, быстро испаряя остатки влаги.

Время шло, Омега становился все беспокойней. Выносить ужасающую тишину помогали только постоянные полеты по всему свету. Он стал последним путешественником, посетившим наследие древних — дань надежде, выражение отчаяния жизни. Порой он громко разговаривал с самим собой, но слова звучали пустыми призраками в густой тишине, еще больше усугубляя мучения.

И однажды в приступе отчаяния он восстал. Он проклял судьбу, обрекшую его выпить горькую чашу до дна. В таком решительном настроении у него родился смелый план. Он разделит остатки жизни с кем-то еще!

Перевод с английского Евгения Никитина.

Окончание следует.

ОТ РЕДАКЦИИ

Почти пятнадцать лет назад 21 марта на всем земном шаре впервые прошел Всемирный день поэзии. Сегодня мы привыкли к этому постоянному празднику. Дорожим им, любим его, его очень ценим. Именно в этот день возникают новые фестивали, дарятся книги стихотворений, особой любовью пользуются литературные журналы. В усадьбах классиков по всей России кипит жизнь. Например, в Овстуге, где родился Федор Тютчев, появился новый фестиваль. Мо-

лодежный! Название его тютчевской строкой и обозначили.

Не только поэтические опыты молодых оценивались благодарной публикой, приветствовались и скромные эссе о судьбе и творчестве великого поэта, объединителя славян и пантеиста. Казалось бы, о Федоре Ивановиче давно все сказано и написано... Ан нет! Каждое поколение открывает своего Тютчева — неповторимого и единственного! И зазвучали молодые голоса! Послушаем!

НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ПОЭТИЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ ЧУДНОЙ»

НАДЕЖДА ВИНОГРАДОВА,
18 лет, г. Брянск, МБОУ СОШ № 41

* * *

Встречай же, Москва! Я поклонница!
Полна безрассудства к тебе.
И поезд, как римская конница,
Меня приближает к мечте.

«Уж скоро — стучит подколесную,
Дорожную песню — лишь в ночь
Ворвемся в московскую, томную...
Там кто тебе сможет помочь?»

Будь тише! Чугунный, бессовестный!
Любовный секрет растучал!
Как будто на бешеной скорости
Ты дразнишь и дразнишь меня.

Ты знаешь, мне мало — любовницей.
Раз ехать, так ехать всерьез.
Пусть буду врагом и виновницей,
Стучи сталью конных колес!

НАТАЛЬЯ КАНДАУРОВА,

28 лет

* * *

Позови меня в даль туманную,
Выси отчие неоглядные.
Полечу вперед над обманами,
Полуправдами и неправдами.

Вслед за соколом сизой горлицей,
Распластавшейся в небе крыльями,
Над просторами за околицей,
Где вражда растет в изобилии.

Где над речкою месяц клонится,
Опускается в рожь колючую.
Где терпения чаша полнится,
Слезы горькие всё горячее.

Над землей своей, с потом вспаханной,
Над Отчизною, кровью политой,
Сизой горлицей, малой птахою
Зачерпну крылом неба толику.

Распескаю синь над Россиюю,
Буераками с косогорами.
Солнце красное, небо синее
Отразится пусть над просторами.

«Богу — богово, черту — адово»,
Без раздумья над вопросами.
А убогому много надо ли?
Хлеба крошицу, каплю росную.

Нам поклоняться — ниже гордости,
А дающему — дастся с троицей.
Не ума, не сил — дай нам совести.
Все наладится, все устроится.



Наталья Кандаурова



Елена Капанжи

ЕЛЕНА КАПАНЖИ,
студентка 4-го курса филологического факультета
Брянского государственного университета
имени академика И. Г. Петровского

ДРУГОЙ ПОЭТ

«Есть поэты, которые чувствуют, и есть поэты, которые выражают. Первые — наиболее счастливы», — именно на эти два типа разделяет французский писатель Оноре де Бальзак гигантов поэтической мысли. Видимо, подразумевая, что для одних поэзия — инструмент, для других она же — орган чувства. Было бы бессмысленным спорить с великим французским писателем-реалистом, если бы не мое опосредованное знакомство с личностью, жизнью и творчеством Федора Ивановича Тютчева.

Он — утонченный европеец, бесконечно любивший Россию, там, на чужбине, потерял всякую возможность говорить и мыслить на русском. Только чувствовать на иностранном языке Тютчев так и не смог научиться. Русский был преданным слугой его сердца. Переданный с молоком матери, Великий и Могучий выражал все то, о чем кричала душа русского поэта. «Русская речь служила Тютчеву только для стихов, никогда для прозы, редко для разговоров...» — вспоминает Иван Сергеевич Аксаков.

Он был профессиональным дипломатом, но поэтом — никогда. Поэзия для него — как часть естества, как потребность выдохнуть, чтобы снова наполнить легкие воздухом. Человек, который был слишком ленив для того, чтобы осваивать поэзию как инструмент, и в то же самое время так остро воспринимающий действительность, что выражение испытываемых чувств становилось жизненной необходимостью.

Любовь — волшебная, неземная — чаще всех остальных чувств овладевала всем его существом. Он растворялся в любви к Природе, Родине и, самое главное, к Женщине. Страстной, роковой, беспощадной и губительной была она для него. И, несмотря ни на что, всегда такой желанной. «О, как убийственно мы любим...» — пишет поэт. Он с горечью признавался себе в том, что в каждом из своих любовных союзов выступал палачом:

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел — спроси и сведай,

Что уцелело от нея?
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей...

Эти строки, на мой взгляд, можно отнести к каждому из трех любовных союзов, которые и определили вектор его жизни. Первый и второй союз ознаменовались вступлением в официальный брак, рождением детей, недолгим счастьем и предательством, а третий — рождением детей и бесконечным осуждением со стороны света. Три роковые истории любви, три прекрасные, мужественные, преданные женщины оставили нестираемый след в жизни великого поэта, в его творчестве. Элеонора Петерсон — первая жена Тютчева, которая мгновенно влюбляется в него и любит самозабвенно, окружая трогательной заботой мужа и взваливая на себя всю хозяйственную часть супружеского быта. До конца своих дней она страдает от мучительной ревности, предпринимает неудачную попытку самоубийства и умирает от сильного нервного потрясения после пережитой катастрофы. Горе Тютчева было так велико, что, сидя у гроба супруги, он посидел за несколько часов:

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой.
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной, везде, всегда,
Недостижимый, неизменный, —
Как ночью на небе звезда...

Но через год поэт снова вступает в брак. Баронессой Дернберг Тютчев увлекся, еще будучи женатым на Элеоноре: с Эрнестиной его роднила духовная близость, и поэт не смог устоять. Эрнестина была богата, красива, умна и великодушна. Она простит супругу измену, и однажды, после длительного разрыва, семья воссоединится вновь:

Перед любовью твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюсь тебе...

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Той самой причиной разрыва станет молодая любовница Тютчева Елена Денисьева, воспитанница института, где обучались дочери Тютчева. Четырнадцать лет Тютчев, как уже было однажды, разрывался между двумя любимыми женщинами — законной и «гражданской» супругой — безуспешно пытался помириться с первой и никак не мог расстаться со второй. Но Елена пострадала от этой губительной страсти гораздо больше: от нее отказались отец, друзья, о карьере фрейлины можно было забыть — все двери для нее отныне были закрыты. Она была готова на такие жертвы, была готова оставаться незаконной женой и чувствовала себя абсолютно счастливой, записывая своих детей на фамилию Тютчева и не понимая, что подчеркивает их «незаконное» происхождение. Денисьева боготворила его, считая, «что более ему жена, чем бывшие его жены» и, действительно, вся жила его жизнью:

Одолеваемые губительными страстями, все три женщины, несмотря ни на что, были безумно счастливыми. Они познали бесценную радость глубокого, всепоглощающего, настоящего чувства. Это заставляет бесконечно ими восхищаться. Сегодня примеры такой любви чрезвычайно редки, мир диктует приоритет совершенно других ценностей. Лирика Тютчева — прямое следствие его личных эмоциональных потрясений. Это всегда роковая страсть, которая может стать причиной гибели одного из любящих, и жертвой чаще всего оказывается женщина. Однако, несмотря на опасность разрушения, которую несет в себе любовь, поэт тоже воспринимает ее как счастье.

Смею надеяться, что если бы Оноре де Бальзак успел познакомиться с жизнью и творчеством великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева, он определил бы третий тип поэтов — тех, которые и чувствуют, и выражают.



Кульминация поэтического молодежного фестиваля
«Великий праздник молодости чудной»





ВЕДА КОЖИНА,

21 год, Налинский район, п. Черемушки, студентка
филологического факультета (отделение «Журналистика»)
Брянского государственного университета
имени академика И. Г. Петровского

ЛЮБОВНАЯ ДРАМА ТЮТЧЕВА

Поэт, которого изнутри сжигают огненные эмоции; остроумный, колкий собеседник в фарсе светских вечеров; любимец женщин, терзающий себя избытком чувств от преклоненья перед ними, — все это Федор Тютчев — желанный любовник и неверный муж.

Судьба поэта необузданной кобылицей несла его навстречу светлому счастью любви, которая вскоре оборачивалась кровоточащей раной на трепещущем сердце. Он жил, мечась в омуте переживаний и страстей, которыми одаривали его женщины. Они становились его вдохновением, сладкой болью, пульсирующей на страницах его любовной лирики.

Как трепетны были чувства молодого Федора к юной графине Амалии Лерхенфельд, повстречавшейся ему в Мюнхене! Так много титулованных претендентов добивалось ее расположения, но именно незнатный Тютчев, внештатный чиновник при дипломатической миссии, вызвал ее интерес.

Возможно, именно в эти мгновения душевный ураган поэта стал набирать свою неистовую мощь, которая будет сокрушать его до смерти.

Обменявшись цепочками от часов на одном из свиданий, они словно связали себя незримой нитью. Тютчев полюбил.

Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье...

Но произошло все как в книге о несчастной любви, которой так и не дали раскрыться. Родители желали более знатного, более состоятельного жениха для своей дочери. И не было возможности противиться их воле.

Как горько было Теодору (так Тютчева называли в Германии) расстаться со своей возлюбленной, а потом узнать, что юную графиню выдали замуж за его сослуживца. Это глубоко оскорбило Федора. Отрадой стало то, что нить, образовав-

шаяся между ним и Амалией, сохранилась, оставив теплую дружбу и воспоминание. После это вдохновит его на ностальгический мотив:

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло.

Сколько нежных воспоминаний кроется в этих строках! Тютчев умело пользуется возможностями русского языка, облекая свою мысль в изысканную вязь. Стихотворение стало своеобразным поэтическим эпилогом их светлого чувства, с трепетом пронесенного через долгую жизнь.

Время, как известно, лечит. Вскоре поэт тайно женится на Элеоноре Петерсон. Она стала для него женщиной, которая всегда его ждет. Он ценит это и был благодарен ей за любовь. Но натура вечно влюбленного тянула его из семейного уюта.

Владимир Соллогуб напишет в своих воспоминаниях: «Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны как воздух каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршание дорогих женских платьев, говор и смех хороших женщин».

И как ужасна была трагедия боготворившей Тютчева Элеоноры, когда она узнала о его увлечении Эрнестиной Дернберг, одной из самых красивых девушек в Мюнхене. Раздавленная, она пыталась оборвать свою жизнь ударом бугафурского кинжала. Но выжила, чтобы еще несколько лет страдать от неверности мужа. Словно в укор, она умерла на руках у Тютчева, боль которого за одну ночь окрасила его волосы в серебро.

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой... —

напишет он через десять лет.

Ураган страстей играл эмоциями поэта. Его параллельная любовь к Эрнестине Дернберг и Елене Денисьевой была как две яркие звезды в его жизни. Эрнестина, став второй женой, боготворила Тютчева, несмотря на его измену.

О, сколько жизни было тут,
Невозвратно-пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!

Самые трогательные любовные стихи Тютчева посвящены Леле Денисьевой, которая, как и первая его жена, умрет на его руках. Ее смерть стала самым горьким потрясением в жизни поэта, источником постоянного душевного отчаяния, которое в итоге вылилось в цикл удивительных стихотворений о любви.

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Он наполнил их стихийной страстью, неуправляемой волей человека и чувством безграничной вины. Любовь лирического героя причиняет самому дорожному для него человеку мучения.

Любовь, отчаяние, утрата сыграли роковую роль и в жизни, и в творчестве Тютчева. Неумная жажда переживаний неосознанно тянула поэта к страшным испытаниям. Поэзия стала для него отдушиной, в которой он так нуждался. Примечательно, что Федор Тютчев творил гениальные произведения на русском языке, в то время как в остальном он пользовался французским. Только через бездну богатства русского языка он смог выразить сложный узор его спутанных чувств. Он показал, какой одновременно сильной и губительной бывает любовь.

ОЛЬГА ПРИЛЕПОВА,

29 лет, г. Жуковка, помощник участкового лесничего
ГКУ БО «Жуковское лесничество»

Думы

Ночь покрыла все темным саваном,
Звезды яркие появляются,
Старый волхв сидит в саду яблонном,
Возле люлечка все качается.
Думу думает, через лоб тесьма,
Очи светлые видят многое,
Яблони цветут, будто бы зима
Замела опять бело-строгая...
«Ветер-баловень с веткой ивовой
В игры игрывал немудреные,
Да веселые, да шумливые,
Листья все трепал да зеленые.
Но коль на море разгуляется
Ветер-брат буян разбуянится,
Бурею тогда разыграется
Ветер милый друг, что с ним станется!
Вот и дитяtko спит, не будится,
Песнь ему пою, да не длинную —
Улыбається... только чудится,
Дремлет силушка в нем былинная.
Но пройдут года — мальчик вырастет,
Станет молодцем, взгляд засветится,
Словно сокола в небо выпустят —
Богатырь пойдет по земелице.
Чистый дух его, очи ясные,
Сердце доброе да открытое,
Чувства яркие да прекрасные,
Думы древние, позабытые...
Пусть растут они — русы малые —
Сила русская, богатырская,
Развеселые, разудалые —
Солнце красное, счастье близкое!»



Ольга Прилепова



Татьяна Шилова

ТАТА ШИЛОВА,

24 года

МАРК ШАГАЛ. НАД ГОРОДОМ

Слушай, внимательно слушай, Белла,
Ветер и гул площадей под нами.
Я так люблю, когда небо белое,
Ты любишь синее, с облаками...
В сереньком дне упрощен и высушен
Абрис города. Все окраины
Грезят о снеге, еще не выпавшем,

О том, что укроет слова и тайны.
 Это осень, Белла; пора затишья,
 В переулках прохожий настолько редок,
 Что и месяц спустя, как я часто слышал,
 Он — предмет обсуждения всех соседок.
 Как хорошо, что ты рядом, Белла.
 Мы летим и чутко храним молчанье.
 Две цветные души в бесконечно белом
 С иллюзорными крыльями за плечами.

Монолог бочки Диогена

Что?.. Диогена?.. Помню Диогена...
 В те дни была моложе я, новее,
 И спутницею мудрости бесценной
 Себя считала... Слава, что же с нею,
 Все гении посмертно только правы...
 При жизни им — нужда, гоненья, голод,
 Непониманье — люди все же глупы,
 Им посудачить только дайте повод,
 Жестоки в наше время были нравы,
 Да и теперь не лучше, так же грубы.
 В ту пору мне по глупости казалось,
 Что скажут: «Диоген» и вспомнят: «Бочка...»,
 И гордости я вмиг преисполнялась,
 Да, так и будет, так и будет точно.
 Когда же умер он — я опустела,
 Я опустилась и живу теперь на свалке;
 «У бочки нет ведь ни души, ни тела,
 Одни лишь доски, — говорят, — ее не жалко».

* * *

Отчего мы не встретились раньше, когда весна
 иная была за окнами? и другой
 апрель говорил капелью, что не до сна
 никому, и коты выгибали спины дугой.
 Отчего мы не встретились раньше, когда вода
 разливалась, ломала лед, грохотала «стой!»,
 а теперь кругом темно и одна беда,
 и слетает с губ вместо песни холодный стон.
 Отчего мы не встретились раньше — еще детьми,
 когда каждый день был звездой, летящей в ладони,
 когда в память врезался каждый слепящий миг,
 все тогда, быть может, сложилось бы по-иному?
 а сейчас мы злые, взрослые — это да,
 у обоих свои печали, потери, тайны,
 я права? — насколько проще было тогда
 подойти и сказать: «Привет, меня зовут Таня...»



Анна СЕВЕРИНЕЦ

Здравствуйте, «Юность»! Решила попытать судьбу в области художественной литературы: как журналист давно работаю в печатных и электронных изданиях Беларуси, как доморощенный психолог издаю в «Фениксе» и «Питере» (в последнем — под псевдонимами).

О себе. Родилась в 1975 году в Минске. Окончила филологический факультет Белгосуниверситета, аспирантуру при кафедре русской литературы. Публиковалась в журналах «Дружба народов» и «Литература». Автор книги «Смайлик, фейк и другие изобретения русских писателей» (2015), в соавторстве — «Всемирная литература в лицах, фактах и комментариях» (2014) и «Практическое литературоведение: что сказал писатель» (2015). Преподаватель кафедры журналистики и филологии (Институт парламентаризма и предпринимательства, г. Минск), автор научных публикаций, информационно-аналитических статей и рекреативных материалов, бизнес-тренер, блогер (Velvet.by).

ПОВЕСТЬ ПРО БЕЛКИНА

Если бы не тридцать лет разницы в возрасте, я бы непременно влюбилась в Белкина. Светлое, чистое лицо, серые глаза, обрамленные черными пушистыми ресницами, строгой линии нос, уже по-мужски жесткий рот, впрочем, очень щедрый на мальчишескую улыбку. Думаю, и он бы тоже в меня влюбился, ему нравятся такие: заводные, кудрявые. Впрочем, ничто не мешает нам обмениваться неравнодушными взглядами и при существующей разнице, тем более что из-за моего стола все взгляды видны, и даже те, которые усердно скрываются за учебником, прилично размещенным на желтой мурзатой подставке.

Хотя со стороны может показаться, что Белкин меня ненавидит. Ему ничего не стоит запеть во время контрольного диктанта, полететь вверх тормашками со стула посреди напряженного поиска суффикса в слове «сияние», а также упасть лицом в тетрадь и смачно захрапеть под аккомпанемент чтения наизусть. На переменах Белкин — само совершенство: откроет и придержит дверь, пока я выношу из класса башню из тетрадей, сложенных поклассно перпендикулярно друг другу, забежит со спины и радостно поздоровается, принесет персональную валентинку в соответствующий день или цветок на Восьмое марта, сопроводит маленькой

шоколадкой переписанное сочинение, словом, кавалер. Стоит прозвенеть звонку — и я начинаю верить в оборотней.

С русским языком у Белкина — полное взаимопонимание. Даже более полное, чем у нас всех с вами, вместе взятых. Это у него в дневнике в прошлом году я первый раз в своей жизни увидела то, о чем много раз слышала в разных учительских анекдотах: «Лермонтов биографию чит, «Мцырь» — гл. 18 наиз». Потому что много Мцырей — это ж разве выучишь, а вот одного Мцыря — это можно попробовать. Белкин категорически отказывается считать слово «действие» существительным, не верит, что прича-

стие — это особая форма глагола, при слове «подлежащее» высоко поднимает брови и с искренним недоумением спрашивает: «А что это?» Я втайне разделяю недоумение Белкина: будь моя воля, я бы тоже расформализовала русскую морфологию, раз и навсегда разделила бы глаголы с причастиями и вернула бы, несмотря на Михаила нашего Ломоносова, вместо невразумительного «подлежащего» прекрасное латинское «субъект», но то, что позволено быку и уж тем более — Белкину, Юпитеру разрешается далеко не всегда. Я с удовольствием оставляю Белкина после урока объясняться по поводу подлежащего, и он с величайшим удовольствием остается и посещает еще и факультатив, но поскольку ни одна дополнительная встреча никогда не венчается усвоением пройденного, я делаю вывод, что ему просто приятно проводить со мной свободное время.

А еще у нас есть тайна на двоих. Мы с Белкиным готовимся к городской конференции. Если у нас все получится и нам будет что на нее заявить, вся школа просто упадет — так считает Белкин, и я с ним полностью согласна. Потому что Белкин и конференция — это две вещи несовместные.

Вышло так. Не ожидая ниоткуда подвоха, я записала на доске домашнее задание на следующее внеклассное чтение: «"Повести Белкина" — одну на выбор». Была перемена, и поэтому громогласного хохота всего класса не было. Был бы — я бы нашлась и спасла бы своего Белкина от школьного юмора, бессмысленного и беспощадного, но нет: мои восьмиклассники, проводя переменную в челночном беге туда и обратно, по одному прыскали в рукав, давились смехом и имели достаточно времени, чтобы изобрести соответствующие шуточки.

— Белкин! Что твоего почитать посоветуешь? Из раннего или из позднего? — выкрикнул с последней парты заводила Фомченко.

— Да ты не поймешь ничего, там же в слове «мама» пять ошибок! — отыгралась за все отдерганные косички противная Кукушкина.

— Белкин, дай автограф! — И толстый Семенов шлепнул на парту нашему герою свой дневник.

Белкина застали врасплох, и он выкрикивал в ответ что-то невразумительное, но возмущенное. Если бы у него была привычка читать то, что написано на доске, он, конечно, придумал бы что-нибудь достойное или хотя бы сообразил улыбаться, но таковой привычки мы у него не выработали, и — вот он, результат.

— Эй, остряки, кто первый Болдинскую осень характеризовать? Жду у доски! — Есть у нас паратройка не совсем порядочных, но безотказных методов восстановить пошатнувшуюся дисциплину.

Юмористы попрытались.

— А «Повести Белкина» спросу у каждого: сюжет, герои, смысл.

— А что, в них обязательно будет смысл? — пробурчал Белкин, и я вдруг поняла: вот она, тема победного доклада, которую уже с полгода трясла из меня директор. «Тему, дайте же тему, Анна Константиновна, вы же филолог, что вы, тему не можете ребенку дать?»

* * *

И вот мы с Белкиным третью неделю пыхтим над гениальным докладом «Есть ли смысл в "Повестях Белкина"». Это только кажется, что тема глупая. Беллинского помните? Это ведь он сказал: «Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия: это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать, но они не художественные создания, а просто сказ-

ки и побасенки». А спустя полвека Лев Толстой восхитился: «Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу — прочтите сначала все "Повести Белкина"». Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение». Что же увидел в «Повестях...» Толстой и чего не заметил Белинский? Вот здесь-то и натянут тугой канат нашего с Белкиным доклада. А что название провокационное — так это нам только на пользу. Нам с Белкиным не привыкать начинать путь к славе с полатей Иванушки-дурачка.

Пыхтеть нам еще месяца три — конференция только в мае. Но это не так уж и много, особенно если учесть, что мой Белкин читает по десять страниц в неделю.

— Сережа, давайте с самого начала начнем. Кто «Повести Белкина» написал?

— Так это... Пушкинский фейк.

— В смысле?

— Ну я так понял, что Пушкин притворился Белкиным и написал. Потому что если бы он как Пушкин писал бы — то должен был бы про царя или про Пугачева писать. А про всяких мелких людишек — это Пушкину стыдно. Я «ВКонтакте» тоже не только Белкин. Белкина мать в два счета вычислит, больно надо подставляться.

Ну надо же. И тут он первый.

Моя русичка учила нас когда-то экзаменационному уму-разуму: если спрашивают, кто изобрел что-нибудь в русской литературе, сразу отвечайте «Пушкин». Скорее всего, так оно и будет. Вот и с фейком — наши школяры уверены, что это они такие хитрые, а был школяр их похитрее.

Это я давно за Пушкиным заметила. Кто помнит содержание пушкинских «Современников», тоже обязательно замечал. Вот

скандальная статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах» в первом номере, авторства молодого да горячего Николая Гоголя. Была бы у «Современника» сетевая версия — был бы представительный шум и гам в комментариях. Кто-то воспринял статью как программную: мол, пушкинский «Современник» будет теперь воевать напропалую со всеми толстыми журналами России. Кто-то обиделся лично. Кто-то — за государство. Гоголь, чего греха таить, погорячился в формулировках, а Пушкин и рад — эту пользу от информационного «вброса» он, кажется, тоже первым открыл. Журнал-то раскупили, еще бы, такой повод. Но польза пользой, а последствия тоже наступают неотвратимо: Бенкендорф вчитался в статью и совсем было решил на этом форуме зарегистрироваться.

И тут — какая счастливая случайность! — akurat к моменту выхода в свет третьего номера журнала приходит письмо из далекой провинции, из Твери (уже и там читают «Современник!»), от внимательного читателя А. Б.

Витиеватым слогом, с красноречиями и помпезностями, но крайне вежливо и почтительно внимательный читатель начинает с общего замечания в адрес молодой редакции: «Приемля журнальный жезл, собираясь проповедовать истинную критику, весьма достохвально поступили бы вы, милостивые государи, если б перед стадом своих подписчиков изложили предварительно свои мысли о должности критика и журналиста и принесли искренне покаяние в слабостях, нераздельных с природою человека вообще и журналиста в особенности».

Ни за что не распознать в этом провинциальном стиле пушкинского пера! Как медленно подбирается к теме, как много лишних

слов и оборотов накручивает на зерно смысла, как осторожен, как высокопарен...

И вот уже наш фейковый А. Б. по пунктам решает все проблемы нашего настоящего А. П.: догадывается, что статья была вовсе не программной, высказывающей мнение редакции, а обычной критической, из тех, с которыми редакция может быть и не согласна; спорит с автором, обеляя и где-то даже непрямо льясь тем, кого остроязыкий Гоголь приобидел и оскорбил; мягко указывает критику на его собственные ошибки и слишком вольные допущения; добавляет от себя похвалы тем персонажам литературного процесса, которые были позабыты Гоголем в публицистической горячке; предлагает новые темы и направления для критических разборов.

Очень лихо! И спорщики довольны, ведь на страницах журнала прозвучало-таки мнение «против», и обиженные при сатисфакции, как-никак упреки сняты, а достоинства перечислены, и Гоголь, друг сердечный нашего издателя, некоторые указания в мягкой и не обидной форме получил.

Чтобы А. Б. выглядел совсем уж реальным, под письмом стоит точная дата (28 апреля 1836 года), а ниже — примечание издателя, то есть Пушкина, дескать, «помещаем это письмо с удовольствием». Эка замел следы! Учись, Сережка Белкин!

Потом мы пару дней разбирали пушкинскую матрешку: кто там в повестях за кого писал и кем прикидывался. Есть ведь что разобрать. В наличии имеются: издатель (Пушкин то бишь), сосед Белкина, отчего-то (отчего?) безымянный, но симпатичный человек, Иван Петрович Белкин, бросивший и службу, и хлопоты по имению ради литературных занятий, а также титулярный советник А. Г. Н., подполковник

И. П. Л., приказчик Б. В. и девица К. И. Т. — ведь это они, а не Иван Петрович, были первыми владельцами незамысловатых сюжетов повестей. Но мало того! Подполковник И. П. Л., например, от которого Белкин услышал рассказ о дуэли, длившейся без малого шесть лет, в своем рассказе приводит два других рассказа — рассказ Сильвио и рассказ графа. Смотри, Сережка, как получается: сначала, к примеру, Сильвио рассказывает своему другу И. П. Л. одну старинную историю. И. П. Л. пересказывает ее Белкину. Белкин записывает в литературном виде. Издатель — редактирует и издает. Сколько людей внесли свой вклад в незатейливый сюжет! И всех этих людей взял да и зачем-то придумал Пушкин.

Белкин чешет затылок и задумчиво смотрит в потолок:

— Вообще непонятно, зачем это он. Может, хотел, чтобы его знакомые себя не узнали? Ну, те, про которых он писал? Чтобы в суд не подали, например, можно же подавать в суд, если неправда.

— Мысль. Но в таком случае Пушкин не там прятался. Помнишь, как граф на дуэли с Сильвио ел черешню? Это ж сам Пушкин на дуэли с неким Зубовым так нахальничал: стоял, выбирал черешню из фуражки и косточками плевался в соперника. Хотел бы спрятаться — разве писал бы про черешню?

Но мой Белкин уже откровенно скучает. «Выстрел» ему не понравился.

— Я вообще ничего не понял.

— Ну как, Белкин? Что именно ты не понял?

— Да чего он вообще взелся, Силин этот...

— Сильвио.

— Ну да. Не понял я ничего.

— Э-э-э... Ну вот, смотри. В девятнадцатом веке понятия о чести были несколько иными, чем сейчас. Тогда в среде бла-

городных дворян считалось, что личное оскорбление можно смыть только кровью.

Смотрю, серые глаза моего Белкина заволакиваются туманной пеленой. Скучно. Лихорадочно пытаюсь найти в себе какую-нибудь другую точку отсчета для рассказа о Сильвио.

— Ладно, не так. Скажи, а вот если бы в ваш класс пришел новичок и стал бы всех стареньких задирать, с девчонками

подружился бы, Калитину, например, в кино бы пригласил... — Тут я бью в больное место, и глаза Белкина проясняются:

— Чего бы это он ее пригласил?

— Ну понравилась она ему. И Калитина согласилась бы.

— Так а разве у Силина этого девушка была?

— Ну при чем тут девушка, Белкин, он просто хотел быть самым крутым в этом полку, а тут приехал граф и занял место главного.

— Ну так чего он его сразу не убил?

— Да потому что подумал, что нет смысла убивать человека, который не дорожит своей жизнью.

— Ай, не понимаю. Давайте про него не будем.

Ну, не будем так не будем. Отпускаю Белкина домой с заданием найти и прочитать дуэльный кодекс. Но только вот при чем тут кодекс? Мне в «Выстреле» вообще никогда не был интересен сюжет.

Продолжение следует.

г. Минск



Марина ПЕСКОВА

Марина Пескова родилась в Омске в 1962 году. Окончила один из омских технических вузов, вечернюю художественную школу, Красноярский институт искусств. Художник декоративно-прикладного искусства, керамист, живописец, участница краевых красноярских и омских областных выставок живописи и ДПИ, дизайнер, преподаватель художественно-графического факультета Омского педагогического университета. Произведения хранятся в художественных музеях Красноярска и Омска. Имя вошло в Словарь известных художников Сибири, от Тобольска до Иркутска (XVII—XXI века). В 1999 году познакомилась с ведической философией и культурой. Путешественница, автор книг «Священные места Индии», «Путешествия с Гурудевом», «Южная Индия». Автор-составитель книги «Милость Вриндавана», редактор. Рассказы и стихи печатались в литературно-художественных журналах и газетах Омска, Смоленска.

Немодная ода

При встрече поэты негромко делились:
Война, ветераны, немодные темы.
Ушли поколения и — с Богом — простились...
Ну сколько же можно слагать им поэмы.

Мы им благодарны за мирное небо,
За верность отчизне и нашу свободу.
Но время летит, и, однако ж, нелепо
Из пальца высасывать прошлому оду.

Чтоб лиру зажечь, важно свежее семя.
Что в душу легло и сознание пронзило,
Чтоб жизнью дышало — упругое стремя —
И плодом своим земляков наградило.

Я даже согласна была с ними в чем-то,
Но, к счастью, судьба мне назначила встречу
С той женщиной, кто про войну знал девчонкой,
Что лиру зажгла. И поэмой ответчу.

Она вспоминала, как в Муроме жили.
И не было скорби в глазах ее мудрых,
Да — голод, и холод, и бедность бродили.
С улыбкой: «Лишь снег вместо сахарной пудры...

Нас — четверо дочек у мамы, Полины.
И я — причитали — совсем не жилица,
Я третьей была и больной малярией.
Росла между жизнью и смертью, как спица.

Мне было лет шесть или семь, когда немцы
К Москве подступали и местность бомбили,
А жители наши — что те стратотерпцы...
Над Муромом фрицы все время кружили.

Мы в детском саду ночевали, в том зале,
Что ближе к убежищу был и больнице,
Где пели когда-то для пап, танцевали...
Теперь там сверкали снарядов зарницы.

Обстрел среди ночи, и всех — в подземелье,
Меня ж оставляли на той раскладушке
Одну-единешеньку, словно в ущелье, —
Тебе помирать все равно где, подружка.

Сначала боялась, потом попривыкла.
Медведи и волки мне грезились в тьмище.
А после с жирафом в углу подружилась.
Он ласковый был, мой неожиданный защитник.

Ведь снова была так близка я от смерти,
Но выжила. Правда, потом нам сказали —
У Гитлера город наш был на примете.
Так немцы на Муром и бомб не бросали.

Музей самой тонкой роскошной посуды
Был в городе нашем. И точно — немецкой.
И прибыл фарфор неизвестно откуда
Пред самой войной — экспонатом эстетским».

Галина Борисовна здесь встрепенулась.
«У нас Карачарово рядом, вот чудо, —
И памяти гордость за город проснулась, —
Сам Муромец вышел, Илья ведь! Оттуда.

И в русские праздники дружная тройка
Коней богатырских по городу плыла,
А в седлах Добрыня, Алеша Попович,
Илья Муромской — вот где русская сила,

Чей щит был незримо на фланге переднем,
Чей дух защитил нашу землю и город,
Сражаясь за Родину-мать до последней...
И Муром сберег — пусть немецким фарфором.

Осколки снарядов летели на крыши —
Так наши стреляли по их самолетам,
И женщины все собирали в затишье
Осколки и ключья обойм пулеметных.

И думали матери, чем накормить нас,
Мы хлеб, как ириски, подолгу сосали.
Где мыло взять, вечно чумазных отмыть нас,
Мы в саже от пороха в детстве играли.

А в школе был госпиталь — неподалеку.
Туда я пошла и кричала в окошки:
“Эй, дяденьки, гляньте, — ладошку под щеку, —
Концерт я вам дам, только нету гармошки”.

И вот уже смотрят из окон солдаты —
На цыпочки встав, закружилась в танце
Девчурочка в ситцевом простеньком платье.
И ручки из стороны в сторону: “Асса!”»

Один подарил ей губную гармошку,
Другие бросали в ответ шоколадки,
Печенья давали и хлеба немножко,
А кто-то ей вынесет супа остатки.

«Но мама однажды про все разузнала:
Инфекции там очень страшные лечат!
Хоть я ничего в этом не понимала,
Но маме не стала я противоречить.

И вроде бы сыта, но мама в платочек
Все плакала: “Лучше бы ты там не ела...”
Я снова от смерти была в волосочек,
Но выжила, вовсе я не заболела...

Но петь я любила! И вот когда немцы
К Москве подходили, то брошены были
Правительством нашей отчизны советской
В защиту столицы все русские силы.

И к нам офицеров тогда поселили.
Две комнаты мы тем военным отдали,
А сами же в кухне все пятеро жили.
В большие квартиры солдат размещали.

У нас жил тогда офицер, дядя Коля.
Был добрым, посадит меня на колени...
“Ой, Коля, грудь больно, любила довольно...”
Все пела... Смешно от моих откровений.

И он угощал меня чем-нибудь снова.
И в нашей квартире тепло теперь было.
Так пахло там пихтовым лесом, сосновым.
Ведь им, офицерам, дрова подвозили.

А мама моя была местной ткачихой
На фабрике днями, а ночью — за прялкой.
Мы, девочки, с нею все спать не ложились.
Хорошая выдалась в детстве закалка!

Мы прясть научились. Носки, рукавицы
Для фронта — отцам и для братиков наших —
Ночами вязали крючком и на спицах.
И пели! Поэтому не было страшно.

А было и так — вместе мы собирались,
Кто жили в округе и неподалеку.
Попеть под гитару (и малы, и стары)
Гармонь развести задушевно, широко...

Мы все о любви в эти говорили:
“Ты мам, расскажи нам, как папу любила,
Как вы повстречались, как счастливо жили...”
Любовь из домов наших не выходила.

Хотелось любить в то тяжелое время
И петь о любви, и любить без оглядки.
Мы жили надеждой (без всяких полемик),
Что скоро уж немца свергать будут пятки.

Мы Родину нашу безмерно любили,
Пройдя через страх, через боль и разлуку,
Надежде своей доверять мы учились.
Война стала полною жизни наукой!

Победа с любовью извечно дружила.
Победа на крыльях летела навстречу.
Туда, где любовь! В сорок пятом кружилась,
Над Родиной нашей любимой. Предтеча...»

И слезы, и радость, и сердце сжималось,
Пока про Галину стихи написала.
Я ей благодарна, что память осталась
О том, что вокруг никогда не встречала.

И верить в любовь и прощать захотелось,
И сердцем обнять нелюбимых и злобных...
В душе словно искра любви загорелась.
И вера в ее неземную способность.

И голос ее откровением лился,
Звуча, как набат колокольный, — до боли.
Любовью мы сможем от бед исцелиться!
Зачем нам войны ждать — смертельной той доли?!

г. Омск



Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

Татьяна Медиевская — член Союза писателей России, москвичка.

Окончила МХТИ имени Д. И. Менделеева по специальности «инженер-химик» и патентный институт. Работала тренером по фигурному катанию, инженером на строительстве Токтогульской ГЭС, патентоведом в научно-исследовательских институтах и на часовом заводе «Слава». В 2011 году окончила Высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького.

Пишет стихи, рассказы, пьесы. Публиковалась в журнале «Юность», в сборнике поэзии и прозы «Путь мастерства», в сборнике современного рассказа «Точки соприкосновения». Автор книги повестей и рассказов «В поисках Цацы», сборника стихов «Надежда».

А ЗАКУСИТЬ-ТО И НЕЧЕМ!

Луч солнца властно пробился сквозь густую листву яблонь, отразился в цветных стеклах чердачного окошка и радужным зайчиком запрыгал по лицу. Надя мгновенно проснулась с первой мыслью: «Сегодня! Это произойдет сегодня!» Удовлетворенно посмотрела на безмятежно спящего сыночка в кроватке. Через несколько минут Надя спустилась по деревянной лестнице в сад, полный дыхания летнего утра. Обойдя дом по тропинке среди цветущих флоксов, она вошла на террасу, где ее ждала бабушка. Они обнялись и вышли на крыльцо.

— Не волнуйся, все будет хорошо! Иди! С Богом! — сердечно сказала бабушка, поцеловала внучку и перекрестила вслед.

Надя поспешила по дорожке к калитке, сорвала по пути

несколько спелых ягод малины, отперла ржавый замок и быстро, почти бегом устремилась на станцию Детская к электричке на 6:17 утра.

В облике Нади угадывалось что-то от грузинской княжны: брови черные вразлет, гордая осанка, грациозность в движениях.

С опушки леса доносилось мычание коров. Надя обрадовалась, что стадо уже прошло и она избежит встречи с быком. На прошлой неделе, когда Надя шла вечером из магазина в красной юбке, то чуть не попала к злощему быку на рога. Сегодня она предусмотрительно надела голубой сарафан.

В электричке Надя выбрала место у окна по ходу движения. Основной народ набьется после станции Болшево. Надя попытает-

лась заставить себя уснуть, но не получилось.

Она впервые оставила на даче годовалого сыночка Илюшу со своей восьмидесятишестилетней бабушкой — самой доброй, мудрой и удивительно красивой, как настоящая королева. К ней на подмогу обещала приехать из Пушкино еще и восьмидесятипятилетняя бабушка мужа. Обе убеждали, что справятся.

Надя ехала в свою московскую квартиру в Тушино, где ее ждал муж Игорь. Он, конечно, очень умный и красивый — почти как «высокий блондин с голубыми глазами», но в повседневных хозяйственных делах — сущий ребенок.

Надя весь путь четко рассчитала: в 7:30 электричка будет на Ярославском вокзале, в 9:30, ну максимум к 10:30, она должна до-

браться до дома. Это еще зависит от того, как удастся сесть в автобус от метро. Все сложилось удачно.

Приехала, а муж в панике. Когда он брился, запачкал кровью единственную чистую белую рубашку. Надя быстро застирала и отгладила ее. Кроме того, оказалось, что у его свадебного, не надеванного ни разу за десять лет черного костюма, не хватает нижней пуговицы. Надя быстро нашла подходящую пуговицу в коробке для шитья. Игорь сказал, что такси заказано на два часа дня, так как их просили приехать не позже 16:00. Время поджигало, а Надя еще не привела себя в порядок.

Вдруг раздался звонок в дверь. Открыли. Там почтальон. Он важно сказал:

— Вам молния! Правительственная телеграмма! Распишитесь!

Раскрыли золотистую телеграмму и прочитали: «Поздравление Президента Российской Федерации с присуждением Государственной премии РФ в области культуры и искусства Воробьеву Игорю Николаевичу». Подпись: «Ельцин Б. Н. 25 июля 1994 года». Надя положила телеграмму в сервант рядом с официальным приглашением.

Посмотрела на часы — и опрометью побежала в ванную. Когда она через пятнадцать минут вышла с замотанным тюрбаном голубым полотенцем на голове, то чуть не задохнулась от запаха гуталина. Оказалось, Игорь додумался прямо в их однокомнатной квартирке начищать ботинки. Не мог догадаться выйти на лестницу! Надя распахнула окна и бросилась к шкафу искать платье. Нашла.

Это было чудесное бальное мамино платье, в котором та покорила когда-то сердце английского посла на приеме в посольстве в Индии, где родители Нади были в заграничной команди-

ровке. Мама рассказывала, как папа тогда от ревности напился, и прямо в зале принялся ходить на руках, и еще, хвастаясь силой, поднял над головой жену посла, не удержал и уронил ее в фонтан. После этого родителей выслали из страны, и папина международная карьера закончилась.

Надя примерила платье, посмотрелась в зеркало. «Великовато, но поправимо», — решила она.

Игорь, как потерянный, слонялся по комнате, показывал на часы и, нервно заикаясь, ворчал:

— Т-ты еще не готова! М-мы опоздаем!

Надя подошла к нему, обняла на секунду, чмокнула в ушко, шепнула:

— Галстук надень!

Она быстро достала из шкафа туфли на высоком каблуке. Затем, прямо на руках, на живую нитку села к окну ушивать платье по боковым швам. Игорь начал ныть, что ему жмут туфли и он не может выбрать галстук:

— Все ч-четыре — голубые и не мо-одные!

Надя выбрала тот, что поярче, ловко завязала его узлом, приговаривая нараспев:

— Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля! Все будет хорошо!

В дверь позвонил водитель такси и сообщил, что машина ждет.

— Спускаемся через пять минут! — сказала Надя и сосредоточенно, стежок за стежком, быстро дошила платье.

Оделась. На ходу один раз крутанулась перед зеркалом. Кинулась еще раз к шкафу, нашла там маленькую стеклярусную театральную сумочку, побросала в нее расческу, косметичку, паспорта и приглашение. Все! Она наконец готова!

Посмотрела на Игоря. Он стоял у двери — бледный, прямой, на негнущихся ногах, похожий на манекен.

— Сели на дорожку, посидели. Ножки оторвали. Пора! — приободрила она мужа.

Томительно долго дожидались лифта на лестничной площадке с исписанными стенами. Спустились с пятнадцатого этажа в дребезжащей, исцарапанной кабине. Сели в пахнущую бензином раздолбанную «Волгу».

— Куда везти? — угрюмо спросил водитель.

— В Кремль! Боровицкие ворота! — ответила Надя и стала спокойно расчесывать свои волнистые, пушистые темно-русые волосы.

Открыла косметичку и посмотрела на себя в маленькое зеркало. Решила, что к такому наряду не хватает украшений, но бриллиантов у нее нет, а дешевая бижутерия может все опозлить.

Взглянула на мужа. Тот вжался в сиденье, прикрыл глаза и шевелил губами, повторяя ответную речь.

Ну вот машина уже на набережной, и перед ними открылась неповторимая панорама: обрамленные зеленью, высятся зубчатые красные башни и стены, сверкают белизной и золотом храмы на фоне ясного голубого неба, и все это великолепие зеркально отражается в Москве-реке.

«Ах, неужели я через несколько минут окажусь в Кремле! — пронеслось у Нади в голове. — Не отвлекаться!» — приказала она себе и еще раз внимательно и придирчиво оглядела мужа.

После нескончаемых постов охраны Надя с мужем вдруг оказалась перед огромной мраморной лестницей. Когда Игорь и Надя поднимались по красной ковровой дорожке, то в высоком зеркале в золоченой раме, в отражении хрустальных люстр, они в восхищении увидели идущую прямо на них прекрасную пару — ну просто принц с принцессой. Он, высокий и элегантный, в темном, безупречного покроя костю-

ме и в голубом галстуке, который подчеркивал глубину и выразительность васильковых глаз. Она с грацией королевы плавно ступала в мерцающем облегающем декольтированном платье. Глаза принцессы, распахнутые в пол-лица, светились счастьем!

Надя и Игорь оказались в роскошном бело-золотом зале, где в нервном ожидании робко прогуливались гости. И какие гости! Весь цвет русской интеллигенции: ученые, актеры, режиссеры, писатели, художники, архитекторы. Одни знаменитости, известные Наде только по кино, театру и телевидению.

Но, что удивительно, Надя несколько не заробела, а, наоборот, чувствовала себя легко, как в прекрасном волшебном сне.

Георгиевский зал Кремля поражал воображение пышным парадным убранством: блеском инкрустированных паркетных полов, богато отделанными мрамором и золотом высокими стенами, изящно расписанными потолками, сиянием огромных хрустальных люстр.

Стоило только нашей паре войти в зал, к ним тут же подошел главный архитектор Москвы. Он радушно пожал мужу руку, поздравил с будущей премией, а Наде сделал комплимент. Официант во фраке, похожий на герцога из фильма, на серебряном подносе предложил им шампанское в хрустальных бокалах.

Трое энергичных молодых мужчин уверенной походкой подошли к Игорю с Надей и заговорили о его будущей речи.

Они дружески хлопали его по плечу, подбадривали, одаривали Надю комплиментами, шутили и мягко намекали, что в ответной речи перед президентом неплохо было бы упомянуть про них, заказчиков здания банка «Возрождение России» — архитектуруно-

го шедевра, представленного на Государственную премию.

Под аплодисменты появился президент. Началось вручение премий. Каждому награжденному президент лично вручал диплом, медаль и огромный букет цветов.

Надя запомнила, как все награждаемые очень волновались: Юлия Борисова, известная актриса Театра Вахтангова уронила на пол цветы, стала поднимать их, и из рук выскользнул диплом. Следующей вызвали актрису Людмилу Максакову, и она стала помогать Юлии Борисовой, но от волнения споткнулась на скользком паркете и упала. Юлия Борисова стала помогать ей подняться с пола и чуть сама не упала. Странно, что известные актеры с ответным словом почти не выступали. Только народный артист Василий Лановой заворочил всех магическим голосом, звучащим, как прекрасная музыка.

И вот наконец вызвали Игоря. Надя погладила его по руке, и он направился к президенту. Она с восхищением увидела, как муж свободно и с достоинством принял премию, а на предложение сказать ответное слово Игорь подошел к микрофону и начал говорить. Слова его лились настолько спокойно, уверенно и убедительно, будто для него выступить — привычное дело.

Вот Игорь под аплодисменты зала уже идет к Наде и несет великолепный букет, даже не букет, а произведение искусства — чудо флористики из роз, орхидей и лилий.

Последней в списке лауреатов была Алла Пугачева. Она выглядела слишком экстравагантно в коротком сарафанчике в горошек и в греческих сандалиях с ремешками выше колен. Пугачева выразила благодарность за то, что в России впервые так высоко оценен труд эстрадной певицы, а всю денежную премию

12 000 долларов она пожертвовала в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

После вручения премий кремлевский фотограф снял лауреатов на памятное фото с президентом, а затем всех пригласили в автобусы ехать на банкет в «Президент-отель» на Большую Якиманку.

Праздничный стол был накрыт а-ля фуршет. Гости сильно проголодались — некоторые так нервничали, что и не завтракали, — поэтому за десять минут со столов смели почти все салаты и закуски.

Все время Надю не покидало ощущение нереального счастья. Она оставила мужа с архитекторами и художниками вести профессиональные разговоры, а сама решила воспользоваться возможностью и поздравить знаменитых людей. Надя с бокалом шампанского смело подходила к очередной знаменитости, чокалась и выражала восхищение их исключительным талантом. Оказалось, что известные люди очень скромны. Они вовсе не важничали, а искренне радовались Надиным похвалам. В ответ она слышала комплименты. А народный артист Юрий Яковлев даже поцеловал Наде руку.

Вино и шампанское лилось рекой, а закусок явно не хватило, и все с нетерпением ждали горячего. Надя подошла к столу и услышала за спиной очень знакомый голос:

— Давай с тобой выпьем!

Она обернулась. Перед ней, улыбаясь, с рюмкой водки стоял один из самых ее любимых актеров — Ролан Быков. Надя, не смутившись, ответила, что выпьет с удовольствием, но шампанского. Он взглянул на стол, присвистнул и сказал:

— А закусить-то и нечем!

Оба рассмеялись. Действительно, на столе среди батареи буты-

лок, пустых салатниц и тарелок почти ничего не было. Надя с трудом соорудила для любимого артиста бутерброд черного хлеба с салом, который украсила перышком зеленого лучка. Ролан с жаром рассказывал, как он отстаивал на комиссии по Госпремии работу ее мужа, какие у него грандиозные планы на организацию детского кино, а Надя рассказывала, как муж работал над проектом здания банка и какой у них прелестный сын. Обоим было интересно, так как говорили они друг с другом о самом любимом. Как ни увлечена была Надя, но краем

глаза она с удовольствием замечала, с каким удивлением и восторгом на нее смотрит муж, когда она беседовала со знаменитостями.

Казалось, праздник будет длиться и длиться без конца. Но в тот момент, когда она долизывала с ложечки второе ананасное мороженое, шутливо кокетничая с известным режиссером, к ней вдруг подошел начальник мужа и хмуро сказал, что у его жены заболела голова и Наде надо срочно спускаться к машине. Его водитель отвезет сначала их с женой на Садовое

Кольцо, а потом Надю с Игорем в Тушино.

Сказочно-прекрасное всегда заканчивается не вовремя.

На следующее утро Игорь уехал на работу, а Надя, опаздывая на вокзал, перед выходом на улицу все же заглянула в почтовый ящик, откуда она извлекла странного вида большой конверт. Надя спрятала его в сумку и достала уже, сидя в электричке. На конверте стояли ее имя и адрес на немецком языке, но вскрывать его одна Надя побоялась — она догадывалась, что там.

Но это уже другая история...

МАЛЮТКА

Хочу рассказать про приключение, которое произошло со мной на конкурсе «Золотая маска» в Малом театре перед спектаклем режиссера Льва Додина «Коварство и любовь» по Шиллеру.

Вначале все шло прекрасно. Накануне дома я перед зеркалом решила трудный вечный вопрос «в чем выйти?». Отвергла, не без сожаления, некоторые любимые платья, что, увы, стали тесны, и остановилась на панбархатном костюмчике бутылочного цвета с воланами и бантом сбоку.

За пятнадцать минут до начала спектакля я вышла из метро на Театральную площадь. Величественный фасад Большого театра сверкал в закатных лучах солнца. Малый театр в строительных лесах походил на гигантскую коробку из-под обуви, завернутую в рекламные плакаты. Вход напоминал прогрызенную мышами нору. Но именно туда спешила нарядная московская театральная публика, постукивая каблучками выходных туфель.

Лев Додин, один из лучших театральных режиссеров современности, привез свой новый

спектакль из Питера на конкурс всего на два вечера. Понятно, почему у московских театралов это вызвало такой ажиотаж!

После сутолоки на входе мы с мужем случайно встретились в гардеробе. (Он, как правило, приходит на свое место после третьего звонка, а тут мне на радость ушел пораньше с работы.) Мы чинно спустились в настоящий театральный буфет (не то что в Большом театре, где буфет после перестройки стал похож на подземный лабиринт). В Малом же мы спокойно, без всякой очереди, взяли по бокалу Asti Martini и по пирожному и выпили за театр. Я крутила головой — искала приятельницу, и напрасно: она разделась в верхнем гардеробе и поленилась спуститься. С любопытством разглядывала я в буфете настоящих театралов, пришедших на спектакль заранее, а не сломя голову, как большинство обычных зрителей — вечно опаздывающих, запыхавшихся, поминутно нервнорыскающих в сумке и достающих то мобильник, то расческу, то по-

маду. Заметила я за столиком известную актрису с мужем режиссером-депутатом. После третьего звонка мы с мужем чинно, под ручку, поднялись в переполненный, гудящий зрительный зал.

Когда я с трудом пробралась на свое законное место № 1 в седьмом ряду партера, то оказалось, что перед моим креслом впритык, между рядами — там, где должны быть мои ноги, — на малюсенькой табуреточке сидит огромный дедина килограммов в сто двадцать, спиной подпирая сиденье.

Я вежливо попросила его дать мне возможность занять свое кресло. Он не двинулся с места и совершенно невозмутимо ответил:

— Кресло ваше свободно!

— Да как я на него сяду? — удивилась я. — Вы же мне мешаете!

— Когда я пришел, то табуретка тут стояла! Я сижу тут законно! У меня билет! — пробасил великан с вызовом и в доказательство показал «билет» — розовую бумажку с типографской надписью «малютка». Нахалу на вид лет двадцать пять — тридцать. Он посмотрел на меня в упор бессты-

жими глазами и отвернулся читать программку: мол, не мешайте, вы ничего со мной не сможете поделать, не уйду — и все, я вашего места не занимал!

Сейчас вот-вот начнется спектакль, и антракта не будет! Что делать? У мужа билет в следующем ряду за моим местом, и за него я не волновалась.

Гигант, возвышаясь горой над всеми, невозмутимо ждал начала спектакля и не реагировал на мои призывы уйти.

Я, ошарашенная такой наглостью, через весь ряд, поднимая зрителей с мест, ринулась искать администратора. Кидалась к теткам, продающим программки, трясла своим законным билетом, умоляла выгнать злодея, но тщетно. Они объясняли, что мне может помочь только главный администратор. На мой вопрос: «Как его найти?» — они сочувственно отвечали: «Ищите, он где-то в зале!»

Наконец, вся взъерошенная, с помятыми воланами и развя-

завшимся бантом, я таки отловила всесильного главного администратора. Он пожалел меня и обещал помочь. Пока я в давке вела его на «место преступления», его то и дело отвлекали очередные жертвы, у которых наглые «театралы» отняли законные места. Администратор орлиным взором углядел пустое место в третьем ряду и взмахом руки отправил туда нахала-гиганта, куда тот с грацией носорога попрыгал буквально по головам.

Я, истерзанная, но счастливая одержанной победой, наконец заняла свое законное место. Отрадно, что все поддерживали меня в праведной борьбе и страшно возмущались наглостью «слона» на табуреточке: он загораживал сцену даже соседней ложе! А билеты стоили о-очень дорого!

Вот такое «драматическое театральное» действие публика наблюдала до начала спектакля!

Усевшись в свое кресло, я поискала глазами на балконе приятельницу и даже увидела взмах руки.

Тут потух свет и начался спектакль, и начался сразу с долгого французского поцелуя Луизы и Фердинанда. Вздуродраженная публика, глядя на страстных влюбленных, смогла, наконец, успокоиться (или завестись — в зависимости от личного темперамента).

Лев Додин — молодец! Актеры хороши! Театр жив!

Но «Золотую маску» за режиссуру я бы присудила не Льву Додину, а Константину Богомолову за «Идеального мужа» в МХТ — чудесный коктейль из Оскара Уайльда, Чехова, попсы, показного православия и желтой журналистики. Я давно так не веселилась: чуть не падала с кресла!

Да, вот еще про табуреточку: она была крошечная, круглая, примерно тридцать сантиметров в диаметре, обтянутая малиновым бархатом, на низеньких белых ножках. Во время спектакля я на нее положила свою театральную сумочку.

РОЗЫ И КРЫСЫ

Есть у нас один знакомый, сосед по дому — очень добрый и хороший человек. Он почти всегда перед праздниками нам дарит дорогие подарки: обожает смотреть, как люди радуются. Он высоченный — под два метра, худой, как Дон Кихот. Зовут его Григорий Львович. Он уже не молод, но страшный щеголь и модник: на нем всегда элегантная шляпа и цветная курточка.

Однажды летом мы с мужем пошли прогуляться в парке и случайно встретили Григория Львовича. Выглядел он неотразимо в шикарном «депутатском» светло-сером костюме с желтым галстуком, в ботинках из

крокодиловой кожи, благоухал духами. И не только... Григорий Львович был в небольшом, а может, и в большом подпитии. У него «тяжелая» работа администратора, он вхож в Думы разного уровня, где без возлияний, как известно, ни один серьезный вопрос не решается. Завидев нас, он бросился ко мне с объятиями и поцелуями, что меня не удивило, поскольку это его обычная манера здороваться.

После витиеватых комплиментов он вдруг воскликнул:

— Я сейчас, стойте здесь, ждите! — и убежал, а через пятнадцать минут он появился с огромной охапкой ярко-розовых

шикарных роз. Их было тридцать или даже сорок штук.

Вот так сюрприз! Восторг и удивление! Столько роз в подарок я получила только на собственной свадьбе. Тогда друг мужа оборвал все цветы в оранжерее. Ну, тогда было понятно: я догадывалась, что очень ему нравилась.

А сейчас с какой стати Григорий Львович мне дарит столько цветов? Это даже не совсем удобно, вызывает неловкость. Муж может подумать, что Григорий Львович в меня влюблен! Ошеломил! Я польщена и немного растеряна, еле удерживаю охапку роз. Муж увидел,

что я мучаюсь, взял у меня цветы.

— Ах, какая погода стоит прекрасная! Пойдемте, дорогие мои, я покажу вам мое любимое местечко — ресторан «Сокольничий», где я часто провожу свои холостяцкие вечера. Хозяин ресторана — мой знакомый азербайджанец, и у него хорошая кухня и вино! — радушно позвал нас Григорий Львович и, обнимая, повел по темной липовой аллее к ресторану.

Григорий Львович давно развелся с женой. Его взрослые дети живут отдельно. Он большой сердцеед, и мы часто встречаем его в обществе молодых «аспиранток». А тут в такой роскошный летний вечер он в полном одиночестве. Странно!

Помпезное здание ресторана, похожее на трехэтажный мраморный мавзолей с арками, казалось вовсе неуместным в парке летним вечером. Мы прошли во дворик, где за деревянным забором расположились по периметру бревенчатые избы в псевдорусском стиле. На замощенном дешевой плиткой, плохо подметенном полу в ряд, как солдаты, выстроились грубые деревянные столы. В торце дворика высился огромный вульгарный искусственный грот-водопад, подсвеченный разноцветными прожекторами.

Григорий Львович захотел сесть за столик именно перед этим чудовищным сооружением. Рядом никого не было. Официант принес ведро с водой и поставил ослепительный, благоухающий букет на соседний стол. Сделали заказ. Наш приятель нам с воодушевлением что-то рассказывал. Он из тех людей, которые могут говорить на любые темы без остановки и не дают собеседнику вставить ни слова.

Чудный летний вечер! Я залюбовалась цветами. Ну просто как в песне: «Миллион, миллион

алых роз». Только мои розы были не алые, а темно-розовые. Их головки крепко сидели на длинных толстых стволах с острыми ровными шипами. В каждой чаше пышного цветка блестела слезинкой капля воды. Наверное, перед продажей продавец цветов опрыскал их из лейки.

Прекрасные розы, классические, лепесток к лепестку, безупречные! Но что-то было не так, что-то меня смущало. И тут я догадалась. Они, все тридцать или сорок штук, были совершенно одинаковые, без малейшего изъяна, ну как яйца из инкубатора, или, вернее, клоны. Создавалось впечатление, что это не живые цветы, а штампованные искусственные заводские изделия из тончайшего ароматизированного пластика. Каждый цветок, выращенный на земле под солнцем, должен обладать индивидуальностью. Мои розы были начисто лишены этого необходимого качества. Мне после таких размышлений стало грустно, и я повернула свой взгляд на грот.

Присмотрелась — и вижу, что из искусственных пещерок степенно выходят какие-то странные мелкие зверьки и разгуливают поодаль. Цвет их шерсти невозможно было определить: она переливалась всеми цветами — от желтого и зеленого до красного и лилового, в зависимости от лучей прожекторов. Мерзкие твари с длинными отвратительными хвостами важно ходили, как актеры, по освещенной сцене. Жуткое разноцветное зрелище. Просто какой-то аттракцион!

Я сначала подумала, что, может быть, в ресторане есть живой уголок? Рядом в парке находится кафе «Березка», где в большом решетчатом вольере живет пара огромных сов. Я очень люблю наблюдать за ними, особенно когда рождается птенец. Невозможно удержаться от умиления, глядя на

совенка: серого, пушистого, как шар, с большими круглыми желтыми глазами.

Но эти зверьки очень напоминали обыкновенных крыс. Они стали нагло приближаться к нашему столу. Казалось, что Григорий Львович был пьян настолько, что ничего не замечал. Подали очень вкусный азербайджанский теплый мягкий хлеб. Приятель наш вдруг прервал свой монолог, увидел зверьков, расхохотался и, оторвав от лепешки большой кусок, метко, с удовольствием, запустил им в самую наглую крупную крысу, но промазал, а та не испугалась и не убежала.

Подошел официант с большим дымящимся блюдом, от которого исходил вкусный пряный аромат. Но у меня пропал аппетит.

Я спросила его, что это за зверьки, указывая на копошащихся на полу тварей.

— А, это! Крыски! — ответил он спокойно с восточным акцентом. — Что еще мадам желает?

Как же мне стало мерзко и противно! И уйти нельзя — обидеть хорошего человека, да и нужного: он иногда дает заказы мужу. И оставаться невозможно!

Гадко, хоть плачь. И прекрасные розы, и чудесная национальная домашняя кухня, и хорошее вино, и добрый приятель — все это отравили крысы, вольготно живущие в ресторане. Испорчены весь вечер и память об этом вечере. Я с негодованием подумала: «Что, нельзя было известить крыс? Конечно, можно. И почему не вызывают СЭС?» Наверное, хозяин думает, что пьяные клиенты ничего не заметят, а кто заметит, то промолчит и уйдет.

Приятеля нашего появление крыс ничуть не расстроило, даже позабавило. Для него, завсегдатая этого ресторана, крысы были, наверное, в порядке вещей. Никогда бы не подумала, что всегда элегантный, модный и на-

душенный Григорий Львович может спокойно отнести к соседству с крысами. Это только мы с мужем сидели, брезгливо морщась и поджимая ноги. А вечер обещал быть таким чудесным, благоухающий розами! Но он непоправимо испорчен.

Я сказала, что у меня разболелась голова, и мы, быстро попрощавшись с Григорием Львовичем, покинули это «чудное» местечко. Муж, глядя под ноги, нес тяжелую охапку роз, молчал и тяжело вздыхал.

Я посмотрела вокруг. Ах, как хорошо было опять оказаться в парке!

На чистой темно-синей шелковой скатерти ночного неба диск полной луны в моем «гастрономическом» воображении казался гигантской желтой сковородкой без ручки, перевернутой вверх дном. На поверхности ярко выделялись лунные пятна. Я представила, что когда небесная хозяйка чистила сковородку, ее кто-то отвлек, и она убежала. Куда? Зачем?

Мы с мужем медленно шли по круговой липовой аллее.

Старинные деревья в темноте казались таинственными и огромными, а в их густых ветвях вскрикивали невидимые птицы. Гармония природы тихой летней ночи нежно обступила меня. И я, счастливая, что вырвалась из этого «крысятника», подумала: «Как удивительно! Для изменения нашей собственной картины мира от восхитительной и прекрасной до отвратительной и ужасной достаточно вторжения в нашу жизнь одного крысиного хвоста, и наоборот!»

г. Москва



Виктория ЛЫСЕНКО

Виктория Лысенко родилась в Москве. В 1964 году окончила Московский финансовый институт. С 1965 по 1998 год работала во Внешэкономбанке на разных должностях — от экономиста до заместителя начальника управления.

С 2004 года начала писать рассказы. Член Союза писателей России (Московское отделение). Публиковалась в «Роман-журнале» и журнале «Российский колокол».

Живет и работает в поселке Сосны Московской области.

ОХ УЖ ЭТИ МУЖЧИНЫ

Недavno в булочной я наблюдала такую картину. Заходит молодой человек с девочкой лет трех-четырех. В булочной высокий прилавок, на котором выложен весь хлебный ассортимент. Папа поднимает дочурку выше прилавка и спрашивает:

— Какой хлеб вы с мамой обычно покупаете?

Девочка показывает рукой на батон. Папа просит продавца дать им такой же. Значит, мужчина каждый день ел хлеб, не зная, какой именно!

Чудеса! Но меня это не удивило! Я давно поняла, что мужчины — странный народ. Будто инопланетяне. Многие в них недопустно женскому уму.

По моим наблюдениям, в отличие от женщин мужчины могут: — складывать покупки в сумку по мере их приобретения: вниз — мягкие пирожные в пакете, на них — помидоры, на помидоры — картошку! В результате дома из сумки достается грязная картошка в несъедобной каше. А в следующий раз повторяется

то же самое с другими про-
дуктами;

— надеть наволочку или пододе-
яльник наизнанку, а на замечание
жены ответить: «А какая разница?
Все равно на качестве сна это не
отразится»;

— подмести пол на кухне так, что
мусора станет больше, чем было
до подметания, и помыть посуду
так, что она станет грязнее, чем
была до мытья;

— лежать на диване, однове-
ременно смотреть телевизор и чи-
тать газету, при этом не замечать
того, что происходит на экране, не
понимать того, что читает, но быть
уверенным, что делает сразу три

важных дела, и через пять минут
спокойно заснуть в любое время
суток;

— после многочисленных напо-
минаний наконец вынести мусор-
ное ведро;

— несколько часов кряду
наблюдать за ходом спортивных
матчей;

— просидеть весь день с удочкой
на берегу реки и поймать пару
мелких рыбешек на радость коту;

— любую царапину или неболь-
шое недомогание считать сим-
птомом тяжелейшего заболева-
ния и основанием для постельного
режима.

Но еще мужчины могут:

— неожиданно прийти домой
с букетом цветов и устроить неза-
планированный праздник;

— ждать два часа у магазина,
пока женщина рассматривает
кофточки и сумочки;

— вскопать огород;

— безропотно тащить тяжелые
сумки или чемоданы, в которых
основная часть содержимого —
ненужные женские вещи;

— помочь слабому;

— броситься в огонь или воду,
чтобы спасти попавшего в беду
человека;

— дать отпор хулиганам;

— а если потребуется, защитить
Родину от врагов.

Московская обл.



Тамара АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало в № 11, 12 за 2014 год, в № 1, 2, 3 за 2015 год

ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Рисунок автора

ГЛАВА 10. ОДЕРЖИМЫЕ

Отрадой в жизни мне — видеть
отца Владимира. Я дожи-
далась его по выходным после
вечерней службы, и как дол-
го я ждала эти выходные! Порой
стояла в церкви, слушая такой
дорогой мне голос. На улице
смирненно таилась возле кустов

сирени, ведь его всегда окру-
жали страждущие. Но, даже
увлеченный беседой, он изредка
взглядывал на меня — или мне это
только казалось? — с как-то осо-
бенной и тайной грустью. Я обо
всем забывала и с наслаждением
смотрела на него, улыбаясь. Рас-

сказывал ли он кому-нибудь о сво-
ей матери, и знал ли кто, кроме
меня, его прежнюю жизнь, его
историю?

Мы гуляли, как и в первый день
нашей встречи. Иногда вовсе не
садились на его любимую скамей-
ку, а долго шли вдоль полей.

— Однажды приехала женщина, мать, чем-то похожая на тебя. Приехала издалека, я ходатайствовал, чтобы она пожила у нас в монастыре. Целыми днями она молилась — ее сын был игроком. Я пытался помочь, что-то объяснял. Но, случайно проходя мимо, я услышал, о чем она просила небеса: вернуть то время, когда сын жил с ней — чтобы все было как прежде. Я не выдержал, обернулся к ней и тихо сказал: «Это невозможно. Ваш ребенок вырос. Примите это».

Она странно взглянула на меня, поправила на голове платок и молча пошла к выходу. Что-то заставило меня двинуться за ней следом. Она открыла дверь, повернувшись к церкви, три раза перекрестилась и, низко опустив голову, спустилась по ступенькам. Прошла еще пару шагов и упала — у нее отнялись ноги. Она прожила в монастыре совсем немного, не больше недели, и умерла. Я был в отчаянии. Я никому, никому не мог помочь, более того — я убил эту женщину.

— Вы часто видели людей, страдающих игровой зависимостью? — Я задала вопрос, чтобы отвлечь его от тяжелых мыслей.

— Часто. Но не самих игроков или наркоманов, нет, обычно приезжают их матери или возлюбленные. Но даже самыми ужасными страданиями они никого не спасали. Глядя на них, я часто думаю, как они молятся? Я волновался, как волновался бы любой врач — какие таблетки принимают его пациенты? Нет, нет, это вовсе не нравоучения или проповеди.

Моя мать не справилась, она не выдержала. Она часто ходила в церковь и молилась обо мне. Просила ли она Бога, чтобы я излечился — любой ценой? Или просила дьявола забрать ее душу взамен моей?

Я смотрю на этих матерей и с ужасом вижу на их лицах будто

Каинову печать, клеймо, рок или проклятие. Молитвы — опасное царство. В каком состоянии их читаешь, в тот мир и попадаешь. Есть миры крошечной бездны и отчаяния, откуда не долетает ни одна молитва. В тяжелом состоянии ты взываешь к Богу, но твою молитву может перехватить лишь ловкий демон. Слова — это же энергия, привлекающая себе подобную.

Но никто в мире не попадает в бездну без своего согласия на это.

Разве вы могли уберечь сына от его судьбы? Каким способом вы могли это сделать? Угрозами, молитвами, притворством, хитростями, уговорами? Моя мать была верующей, но разве она могла спасти меня от уроков, уготованных самой судьбой?

— А вы сами видели демона? — спрашивала я.

— Демона, к сожалению, нет. А вот во время благодарственных молитв я научился видеть, как с людей, будто черные груши, осыпаются темные пятна и разбегаются в стороны.

Священник был для меня единственно реальным и надежным существом в этом незнакомом месте. Я верила, что он может предупредить тот или иной поворот моей судьбы.

Возможно, меня невзлюбили в особняке из-за того, что я пыталась держаться независимо, когда внутри меня бушевали тайфуны. Даже когда я была образцом любезности и предупредительности, то, скорее всего, напоминала плавучую ледяную гору, отколовшуюся от прибрежного ледника, высокомерную и молчаливую. Опасаясь насмешек, я почти совсем перестала разговаривать. Никто не ведал, насколько я чувствовала себя беспомощной и перепуганной. Я пыталась ничего не чувствовать, ни о чем не думать — все

было напрасно. Я была чужой, отверженной и бесконечно одинокой.

Весь мир для меня сузился до единственно необходимых походов, поддерживающих во мне жизнь. Туда и обратно, туда и обратно... Едва я видела его внимательные глубокие глаза, с тихой грустью обращенные ко мне, их высший свет, как мрачные думы, которые одолевали меня, мгновенно испарялись. Моя последняя надежда, смутная и горячая...

Не всегда я понимала отца Владимира, но его голос — мягкий, осязаемо-бархатный — я могла слушать до бесконечности. Я пыталась задавать вопросы, но боялась попасть впросак. Едва поспевая за ним и блаженно заглядывая в бледное лицо, я послушно кивала головой — часто казалось, он разговаривает сам с собой...

— Отыскать в себе свет, и чем сильнее и могущественнее он будет, тем быстрее сгорят в нем все демоны вашего сына, весь его мрак. Разве не наступила пора, чтобы ваше ожидание Светлого Бога наконец явило свой плод?

Есть особая красота в любом поединке, в любом противостоянии. И красота эта заключается в том, что всегда побеждает лучший...

Каждый день я вижу сотни людей, и знаете, что самое страшное? Разве есть такие печали, чтобы так разучиться улыбаться? Увешенные вещами и заботами, люди склонились над своей жизнью, как над пасмурным дном.

Где вы предоставляете место даже самой малой мечте? Смотрите, теснясь, чувства и мысли входят и выходят из ваших домов, как хозяева, не спрашивая разрешения. Вина, страх или отчаяние, все эти чувства только усиливают разрушающую силу вашего сына. Вы не только не помогаете ему, более того, вы мешаете ему, своими эмоциями удесатеряя силу

эго черного вихря. И почему, по какой причине? Вы вообразили себя почти богом!

— Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, — упавшим голосом произнесла я.

— Только то, что вы — смертны. Хочу напомнить простую истину — не приписывайте себе свойства Бога, который один совершенен. Ведь, я полагаю, казнив себя, вы воображаете себя кем-то очень значительным, лишенным права совершать ошибки. *И никогда и никому не дастся тяжелой беды — без какого-то глубокого божественного замысла.*

Я верю, что мы со всех сторон окружены знаками, посылаемыми свыше.

Небеса расставляют акценты на событиях таким образом, чтобы человеку становились понятен их тонкий смысл и роль в его жизни. Внимательный умеет читать эти знаки, что позволяет ему совершать меньше бессмысленных усилий.

Порой другой человек видит знаки ангелов-информаторов других людей и может помочь. Но я пока вижу так смутно, будто сквозь плотный и белый туман слабо что-то проступает, но что? Мы с вами каким-то образом связаны — я должен что-то выполнить, что-то очень важное, возможно, не для меня. Это как цепочка, без одного звена она прервется. Но доказательством того, что я все сделал как надо, будет одно — я найду свою мать — живую или мертвую, больную или безумную, ее могилу...

Точно так же и вы, раскрыв свою силу, получите награду — в этот день ваш сын навсегда избавится от игровой зависимости.

— Какие знаки? Вы считаете, я должна что-то понять в этой семье?

— Я не знаю. Но в тот день, когда вы пришли, перед самым вашим приходом, ко мне обратилась эта семья с просьбой найти

учительницу. Я удивился, у меня не было ни одной знакомой учительницы. И вдруг пришли вы.

— Я не понимаю, отец Владимир, как я должна измениться? Я правда не знаю, что это такое. Я не знаю, где отыскать Светлого Бога... Я даже интуитивно не представляю, что это такое. Само слово «Бог» вызывает у меня отторжение и непонимание, а «Светлый» — лишь раздражение.

— Он проявляется на каждом шагу, каждый миг открывает себя любому — с равной и постоянной силой, — кто настроен на встречу с ним.

— Почему же он не открывается мне? Почему ничего не вижу?

— Вам не хватает личной силы. Чтобы увидеть, нужна сила. Вы по-прежнему слабы.

— Как же мне набрать ее?

— Поймать ощущение счастья. Совсем в другом месте, чем предполагаешь. Поймать безмолвно и быстро, как кошка на лету ловит птицу.

Перестаньте выстраивать отношения таким образом, чтобы постоянно чувствовать себя обиженной и оскорбленной. Ах, угробили ее вероломные акулы и коварные скряги, живущие в особняке! Искать спасительный смысл в бесконечных страданиях? Видеть в жизни одно лишь бесконечное зло? Это неотвратимый лабиринт, блуждая в котором никогда не увидишь свет.

Ведь любя сына и пытаюсь его спасти, ты желаешь найти свою собственную душу...

Что стоит за вашими навязчивыми мыслями о судьбе сына? Что вы прячете от самой себя? *Это и есть ваш личный демон.*

Снимите с себя ответственность за судьбу сына. Таким образом вы предоставите ему свободу. Возьмите ответственность лишь за свою жизнь, доверяйте себе, только так вы сможете впустить в свою жизнь чув-

ства и чудеса, без чего жизнь любой женщины теряет свой смысл. Раскройтесь, как веер, силой и красотой, заполните ими все пространство вокруг.

Никогда не совершайте того, что делают все люди, только то, что весь мир отвергает. И выбирайте самый сложный путь — как правило, он наилучший.

Станьте возлюбленной или ведьмой, светом или тьмой. Теперь это уже неважно.

— Неважно — для кого?

— Для личной силы. Это невообразимая загадка жизни, которая время от времени подбрасывает нам такие ситуации, при которых мы легко раскрываем себя, как тот или иной цвет. Какой — для личной силы не имеет значения. Проникнись внимательностью ко всему, что можно взять как удачу, радуйся любой победе, озирайся, приноживайся, как в лесу, и пробирай себе путь, *но то, что тебе не нужно, замечать не надо.*

И крепко верь в себя. Ты уже послала во Вселенную самую сильную молитву, самый мощный призыв о помощи. Теперь расслабься и превратись в пустоту. С пустотой приходит Бог. С активностью — демон...

Стать возлюбленной...

Я не могу ею стать в этой жизни, но это не очень тяготит меня, ведь я совершенно не знаю, что это такое. Не слишком ли смелый совет — для священника? Почему он так говорит со мной? Незаметно перешел на «ты»...

— Ты отказываешься принять два равноправных начала Вселенной, свет и тьму, изучить их силу. Границы между ними неуловимы, высшие существа легко проходят ее. Люди в их мире — большая редкость. Уже много веков боги редко спускаются в мир людей. А вот демона увидеть не сложно: он всегда пытается проникнуть в человека, чтобы управлять его поступками.

Не бойся встретиться с ним лицом к лицу. Но знай, если такое случится, ни в коем случае не смотри ему в глаза, сделай вид, что ты его не видишь.

— Почему?

— В открытой борьбе ты обречена. Эта фигура вбирает в себя всю отрицательное и бесноватое, созданное человеческой мыслью. При открытой борьбе демон твоего сына, почуяв серьезную опасность, получит подкрепление от своего мира.

— И я могу погибнуть?

— Погибнуть или сломаться.

Тебе будут подстроен такой жизненный сценарий, который оплетет тебя, словно удав своими кольцами, выбраться будет почти невозможно.

— Но вы же говорили, что человек невообразимо силен и один человек может пропустить сквозь себя отрицательную энергию всей планеты.

— Ты не веришь в это, и потому эта информация лишена для тебя силы. Да и посуди сама — о какой борьбе может идти речь? Восстанови для начала свою целостность... У тебя начался период испытаний. Тебя в буквальном смысле толкают к краю пропасти: спасение сына. Но ты почему-то не видишь или не понимаешь этого. Я также бессилён тебе помочь. Ты где-то застряла или спишь. Но после этой, пусть и непонятой подсказки, тебе придется отрабатывать урок уже своей жизнью.

Я безмерно расстраивалась, слушая эти слова. Подтверждалось то, что я почувствовала в самый первый день: я всего лишь напомнила ему мать, и это глубоко тронуло и пленило его сердце. Мною он затыкал свою пробойну, искупал угасавшую вину. Именно поэтому он так часто был снисходительно-нежен и терпелив со мной. Я слушала его, строгого и всемогущего, и слабо воз-

ражала, исторгая из груди лишь задавленные звуки.

Но всему приходит конец, я не оправдывала его надежд. Он не хотел быть просто жилеткой, мне надо было схитрить — пропустить несколько встреч, изобразить твердость духа.

Мои встречи с ним стали нестерпимо-мучительны. Глядя на его собранную фигуру, наполненную какой-то невыразимой правдой, я словно тупела. С некоторых пор я внутри, всем своим сердцем стала бояться предстоящих разговоров, шаги мои стали беззвучны, а голос — безнадежно тих. Идя за ним, я все чаще безмолвствовала, щурясь от солнца, вжимала голову в плечи, теребя концы нелепого платка.

С мальчиком я обманулась, мы не сблизилась, он по-прежнему отвергал меня, Костины шуточки и приколы не веселили, а обижали меня: так долго болевшие люди избегают слишком здоровых и жизнерадостных.

Я словно застыла в мертвой точке, стылой пограничной зоне. Ни назад, ни вперед — напрасно отец Владимир дал мне компас и все ориентиры, я должна была, но не хотела двигаться дальше.

Так мы устроены — чем сильнее настроены на цель, тем больше негодуем и жалуемся на судьбу, поднимая пыль на весь мир. Чем больше колеблемся, тем быстрее замираем. Всегда находится что-то убаюкивающее или жалостливое, что неизменно замораживает нас.

Хорошо замирать в трескучем костре, наполнившись его жаром, легко отправляться в путь, улетающая вместе с огненными искрами высь. Но когда угли еле тлеют, где взять импульс, когда руками лень пошевелить?

— Зачем ты сюда забралась? — шептала мне серая тень, пляшущая за окном. — Сменила одни горестные картинки на другие.

Но те были твои, плоть от плоти, а здесь все чужое: ребенок, священник, усадьба, и ты никому не нужна...

Я ничего не могла возразить. В моей душе по-прежнему выла и скулила одинокая волчица. Вечерами, когда засыпал Артур, а засыпал он рано, на меня напала такая тоска — хоть в петлю лезь. Картины, одна чудовищней другой, теснились в моей голове. Все они были связаны с сыном. Я снова представляла все беды, случившиеся с ним в мое отсутствие, и у меня разрывалось сердце. Только раз я позвонила домой. Никто не подходил, я слышала одни длинные гудки...

— Алеша, — шептала я в трубку, вытирая слезы, — ты знаешь, чем сильнее демон, сильнее и Светлый Бог. Слышишь, Алеша...

Когда проходила тревога, наступала апатия, похожая на постоянную усталость. Я напрочь забыла все. Все, к чему я привязывалась, было у меня отнято. Теперь глаза моего учителя странно темнели и уклонялись от моей нарастающей потребности видеть его. Голос его стал резким и даже грубым, все чаще в нем проступали раздражительные нотки.

— Все было хорошо, когда я жил с мамой. Но наступает момент разрыва, когда у выросшего ребенка начинается своя собственная жизнь. Как правило, он тяжело переносится одинокими женщинами. Это всего лишь болезненная привязанность, которая проистекает не от любви к ребенку, а от ее недостатка. Ко мне приходят много матерей игроков, наркоманов — и все они слезно молят Бога, чтобы дети вернулись, чтобы все было, как прежде. Это невозможно, и я прихожу в отчаяние от того, что никому не могу помочь. Ведь единственное спасение для них — преодолевая боль, наполнить свою жизнь любовью, смыслом, полнотой.

Повышенная привязанность — корабль в пучине. Маленький ребенок зависим и ласков, он дает много положительных эмоций. К этой энергии привыкаешь, расстаться с ней тяжело. Страшно произнести эти слова, но в мире не так много матерей, подлинно любящих своих детей. Для этого нужна огромная сила, непрерывная связь с непостижимым.

Что вы все хотите? Почему свою пустоту требуете у Бога заполнить ребенком, заботами о нем? Вам легче умереть, чем раскрыть в себе свет. От вас бегут дети куда угодно: в бродяжничество, в дурные компании, они готовы воровать и убивать, только не видеть ваши назойливые, липучие, агрессивные, требующие, истязующие душу, несчастные, потерянные глаза. Хоть на край света... И спроси любую из вас, она будет несказанно удивлена правде — она не любит свое дитя... она не любит себя. Ее любовь похожа на жалкое подаяние нищему — на кусок хлеба, милостыню. Ажурная любовь, вся в сквозных дырках. В подлинной любви нет страха: как алмаз, она превосходит все явления блеском и твердостью.

Но ваш панцирь слишком непробиваем, крепко держась обмана, вы отвергаете эту правду — и вот вам за это все ужасы. Вы хотите загнить, но вместе, прозябать — да вдвоем... Пока сама жизнь, настойчиво и с силой, не распахнет свои ставни, не разведет вас в стороны. Часто только с вашей смертью взрослые дети получают возможность выполнить свое предназначение. Пока вы живы, ваш эгоизм пытается задержать и заморозить взросление. Держать возле себя взрослых детей — это ваш единственный смысл и единственный источник энергии. Какую вам надо прожить жизнь, чтобы отпустить своего ребенка? Богороди-

ца — это великий подвиг матери, ведь за всю тяжелую и непонятную многим жизнь своего сына она ни разу не вмешалась в его судьбу.

Единственно, о чем мечтают ваши дети — чтобы вы исчезли, испарились, оставили их в покое...

Потрясенная, я со страхом смотрела на него. Я пыталась что-то возразить, как-то оправдаться — но не могла. Я стояла, как истукан, в горле хрипело и булькало, я мучительно кашляла, будто чем-то давилась.

— Ты оттого боишься спрашивать, — как ни в чем не бывало, непривычно отстраненно глядя в сторону, произнес священник, — что в глубине своей души осознаешь все невежество своих вопросов. Они, как страх, застревают в горле. Ни один из твоих вопросов не похож на полет лебедя.

— Почему?

— Ты не меняешься. Ты упорно держишься своего старого мира, как спрятавшийся в сундуке ребенок, и ждешь, пока тебя вытащат и утешат. Брось свои жалкие старания — они не для тебя. Нет, в этом сражении ты — не боец. Ты — белый флаг капитуляции матери и женщины. Я бы посоветовал отнести его демону и, приниженно приседая, положить к его ногам. Но даже в этом, таком безопасном и нестрашном для тебя варианте не старайся встретиться с ним взглядом, чтоб получить благосклонный кивок, — он также презирает слабость, и даже больше, чем самую неравную, отчаянную борьбу. Демон может ненароком раздавить тебя, как лягушонка, своим брюхом. Возвращайся домой, на старую работу. Подруги и коллеги, войдя в твое бедственное положение и глядя на твой жалкий вид и обильные слезы, тебя примут, они утрут твои бесконечные сопли.

Как теленок в огромном стаде всегда найдет свою мать, следствие вечно идет за причиной, так и твой сын не в силах вырваться из прибежища твоей несчастной души. По твоей милости он так надежно и крепко сидит в казино, ибо оно в материальном мире весьма точно отражает твою суть.

— Что?! — Я была не в силах вымолвить ни слова, речь моя оскудевала. С невозмутимой грустью, как на дивную несуразность, он смотрел на меня. — Вы же сами говорили, у каждого своя судьба...

— Говорил. Но это только часть истины. Разве можно было тогда, когда ты пришла ко мне, сказать что-либо подобное? Тебя изгрызла вина, но какой от этого был толк? Сейчас в тебе чуть больше силы, и больше ничего.

У тебя исковерканы инстинкты, отравлен рассудок, поломана душа. *Эта постоянная угодливость — быть чем угодно и для кого угодно, — с этим что будешь делать? Твои мысли — это мысли твоего сына. О чем они, достаточно заглянуть в твои тусклые глаза.*

— И что же теперь? Истины не существует? Только я могу спасти своего сына? Позвольте узнать, чем же я напоминаю вам казино?

— Камень. Каменная ловушка. Вас не растопит даже солнце, даже если оно приблизится совсем близко. Не отчаивайтесь, — глядя мне в глаза, жестко и убийственно-равнодушно продолжал священник. — Я видел тысячи матерей, слышал неживой стук их сердец — от него леденеют храмы, гаснут свечи и души. Прошло время, когда я ужасался и пытался помочь, но тщетными были все мои усилия — скорее молочный океан собьешь в масло. Горе или сильный страх ненадолго встряхивают людей, и они вновь застывают в своем мрачном мире. Покой — самое лучшее, к чему

они стремятся. «Это всего лишь дьявольский расчет, — писал Лев Толстой своей тетке, — а спокойствие — душевная подлость».

Моя надежда на тебя рухнула — ты не более, чем все, выла и сокрушалась о своей судьбе, своим отчаяньем даже меня ввела в заблуждение, а сама сделала три крошечных шага и бежишь в свой прежний мир, чтобы совершить еще множество попыток преуспеть в своей тюрьме. Куда тебе сокрушать десятиглавого демона, ты боишься любой крохи неизведанного, ты боишься всего, чего нет в твоём каменном *благоразумном* замке.

Ты — рабыня. Хотя бы влюбилась — растрясла свой застывший женский потенциал.

Я доволен одним, отныне ничто не поколеблет меня: я не верю в людей, ни в их способность что-то совершить, людская воля слишком слаба, попытайся спасти хоть одного глупца — и сам утонешь в его море печали. Если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму.

Иди прочь. Прихвати себе в спутники пару старух, им все равно, где бродить. Они любят громко петь, правда, порой эти звуки напоминают нестерпимый вой, да не все ли тебе равно?

Слегка ополоснув себя, как ополаскивают руки перед приемом пищи, ты отчего-то возомнила, что неимоверно устала, что сделала достаточно, чтоб засиять и осветить все пространство вокруг. Великий обман, что свою жизнь можно изменить осторожно и постепенно.

Все подлинное и великое изменения всегда неожиданны, они похожи на вспышки молнии.

Трижды я пыталась что-то возразить, дыхание мое стало хриплым и прерывистым. Я была посрамлена и пристыжена. Оскорбления отца Владимира згли мое сердце, по телу пробега-

ла дрожь — я была ниже пыли, покрывающей землю. Мои щеки полыхали огнем, огнем самого ада. Я словно пала в океан смерти, не за что было ухватиться, я захлебывалась — повсюду, как ядовитые волны, меня доставали эти простые и ясные, убийственные слова. Увы, моя жизнь действительно проходила впустую, и я не нашла способа избавиться от страданий, которые терзали меня в последние годы.

Я натолкнулась *на нечто*, неподвластное моему разуму.

Священник гнал меня от себя, как бешеную собаку. Произошло то, чего я так отчаянно боялась: он больше не верил в меня. Плача, я часами простаивала у церкви. Унизительность ситуации, насмешливые взгляды проходивших людей — ничто уже не пугало меня, ничто не могло смутить меня больше того, что я уже получила. Но мне было все мало, я будто хотела до конца пропитаться ядом полного унижения, в глубине души, не признаваясь себе, я стала испытывать что-то вроде гадливо-го сладострастия...

— Ты стоишь перед демоном, как разрезанный арбуз: насквозь видны все твои привычки, эмоциональные реакции, шаблоны мышления, ты предсказуема, неподвижна и наглухо закрыта для множества возможностей, присутствующих нашей жизни.

Раздираемая стыдом и яростью, как я его ненавидела! Внезапный приступ удушья — что стало нередко случаться при встречах с ним — помешал, чтобы не крикнуть ему вслед: «А ты? Разве не спрятался за каменную стену церкви от самой жизни? Чем ты отличаешься от меня? Тем, что нашел себе надежное пристанище, а я — нет?»

Посрамленная, я возвращалась обратно. Как же я заблуждалась, надеясь, что он испытывает ко мне что-то большее, чем жалость! Дав

мне совет влюбиться, он это подчеркнул. Я была для него никем — лишь подопытным материалом. Он хотел с моей помощью реабилитироваться, раздавить в сердце личную вину перед матерью. Его попытки не удались — невозможно выдавить из черного камня капли молока. Он сам — каменный, бесчувственный человек!

Увидав меня прячущейся в тени, отец Владимир резко двинулся навстречу, я вздрогнула и попятилась назад — последнее время он меня избегал.

— Поди от меня прочь, все твои слова пусты! Я обманулся в тебе. Ты напомнила мне мать. Ты на этой земле лишь для того, чтобы служить другим. Вы все напоминаете мне ее, огромная, необъятная толпа воющих матерей. Остригите себе волосы и бросьте, посыпайте головы свои пеплом и валяйтесь в прахе! Я ненавижу в вас себя, которому вы сломали жизнь! Я задыхаюсь от ненависти к вам! Уходи!

Он был в эту минуту поистине страшен — воспылавший гневом, беспомощным и яростным, он разбивал словами воздух и землю, свирепо рубил тяжелые ветви, истребляя все общепринятые нормы поведения священного сана. Бесцветные и ядовитые, с неприятным запахом слова, похожие на взрывчатый газ, усиливал рухнувший откуда-то с небес зловещий грохот колоколов. Вся площадь вокруг храма словно вымерла. Остался один оглушающий, режущий слух звон, достигший своего апогея, он вливался в иступленный, неистовый крик страшного человека в длинной черной рясе, с золотым крестом на груди. Он выпрямился, его длинные волосы взметнул ветер, эти темные пряди были как завеса смерти. Мой страх, готовность упасть на колени, молитвенно сложенные руки только усиливали его остервенелую ненависть.

В великом страхе я бежала от этого безумца прочь. Слово заразившись моим бегством, истошно взвизгнув, за мной рванули женщины, их лица были до боли знакомы. Казалось, что они бежали давно, запах растерзанной одежды, надрывное дыхание, тревожные глаза сверлили и терзали, морозили мне спину. Когда мы, тяжело дыша, поднимались в гору, я еще вырывалась вперед. Но когда все устремились вниз, многие стали как раскаленные железные шары. Издавая свистящий отрывистый шум, они сталкивались, высекая искры. Еще мгновение — и они врежутся в меня. Задыхаясь, я летела к воротам, но уже не успевала их открыть — я прекрасно помню, они раскрылись сами, и я буквально упала в руки изумленному Косте...

ГЛАВА 11. СТРАСТЬ

— Откуда ты бежишь? Что случилось? — спрашивал он меня, не выпуская из рук. Руки у него были огромные и сильные.

— Пусти меня, — со злостью шипела я, отчаянно и свирепо вырываясь и кидаясь к воротам. — Мне надо к отцу Владимиру. Я должна ему сказать...

Я хотела немедленно увидеть его, сейчас же, любой ценой!

Я слышала много слов, более безжалостных, которые говорили мне близкие люди: сын, муж. Почему все мое существо сотрясли жестокие слова именно этого человека? Его духовный сан не вызывал у меня благоговения, ненависть к нему кружила голову. Он поразил меня злом... И если бы меня прокляли тысячи людей, осыпали плевками и тухлыми яйцами — мне не было бы так худо, как сейчас!

Мне хотелось любой ценой довести его до бешенства, ударить наотмашь, хлестнуть изо всех сил,

бить по каменной груди, колотить по железному сердцу — только бы мне до него добраться!

— Интеллигенция чертова! — возбудившись от моего отчаяния и дрожи всего тела, кричал Костя, обхватив меня руками и подталкивая, почти неся в дом.

Ногой он отшвырнул далеко в траву нелепый темно-синий платок, соскользнувший с моей головы.

— Да не ты, не ты! — взглянув на мое негодующее лицо, пересохшие губы, продолжил он. — Я о священнике. Учит всех, проповедует, неугомонный апостол. Своими нравоучениями едва не загубил тебя. А кем является сам? Пытается прославиться и возвытиться, как венчанный герой. Твой страх пред ним и непонятное благоговение поражают меня. Ты случайно не плела ему лавровый венок? Он — собака на сене, это довольно точная его характеристика. Да чистоплюи эти разве в состоянии защитить хотя бы собственную жизнь! Стрелять в своих им, видите ли, было неудобно, духовность не позволяет. Как же я их всех ненавижу! Сидели бы по своим норам и молчали. Нет, читают мораль, учат, как надо жить. А жизнь проста, как сама природа, иди туда, куда хочется...

Я подчинялась его голосу, его влиянию, околдованно шла за ним мелкими и быстрыми шажками. Как же все, что он взволнованно говорил, было убедительно и созвучно моему сердцу! Он словно мазал его елейным медом, я шла покорно, мягко и безвольно. Костя все знал лучше, чем я. Он словно читал мои мысли. Совесть моя была чиста.

Так воспламеняться гневом, отдаваться на волю его — разве достойно слугителя Бога? Бежать, бежать от него на край земли, пока он не отравил меня

словами! Почему я не сделала этого раньше?

Я сидела на загорелых коленях, большие руки гладили и утешали, губы были как органная музыка, мое лицо обсыпали поцелуи... Как безвольную простыню, он легко взял меня на руки и положил на кровать. Все было так легко, естественно и просто. И в то же время — потрясающе неправдоподобно... неизбежно...

Я лежала у себя в спальне, по всему телу струилось непередаваемое блаженство. Я плыла по небу величественным облаком, наполненная безраздельным всепрощением, великодушием, странным умилением.

То я предавалась недавним мыслям, отдельные фразы, вливаясь друг в друга, вытесняли буквы. Получался хаос: «Да не все ли тебе равно? Хотя бы влюбилась, но ты боишься всего...» Но это больше не задевало и не приносило боли — сладкой рекой я текла сама в себе, журчала и смеялась. То вспоминала, как Костя перехватил меня. Победил доминантный самец, так устроена сама природа. Меня душил смех. Доминантный самец! Жесткая, грубая сила — как же я боялась и избегала таких мужчин, как Костя! И вовсе неправда, что им руководило лишь злое состязание, инстинкты соперничества. А если правда?

Я резко вскочила, даже потемнело в глазах, накинула на себя халат и хотела было открыть дверь, как она уже открывалась сама, в нее врывался опьяненный победой Костя, он весь сверкал, блаженствовал, торжествовал. Мы чуть не столкнулись лбами.

— Ты знаешь, оставив тебя на минуту, я страшно заскучал, — грубовато-хриплым голосом, смягчая нежность, шепнул он мне на ухо, и мы рухнули на

пол мимо кровати, потому что промазали.

Я ударилась затылком о твердый пол, послышался явственный хруст, но удивительное дело — боли я не почувствовала. Костя при падении задел большой шелковый абажур и столик с книгами — что-то гулко брякнулось, шумно рассыпалось, в окнах зазвенело стекло...

Фантастически-безбожные глаза, спасительно-желанные руки...

Как все изменилось! Огромный любовный ковер, а в середине — маленькие цветочки страха. Если его хорошенько растрясти — накопившийся страх выплется, правильно я говорю, отец Владимир? Ведь ты же... Но какое-то нужное слово я все же забыла.

Я все еще находилась под наркозом и что-то неразборчиво бормотала... Ни один человек не смог бы разобрать слова.

— Костя в тебя влюбился. Он совсем потерял голову, — серьезно, по-товарищески, сообщил мне через несколько дней Артур.

Мы повторяли математику, у меня застыла рука с карандашом.

— Что ты? — Я пыталась сохранить спокойствие, а у самой уже горели щеки, уши и даже шея. — И с чего ты такое взяла?

— Вера Николаевна, он стал забывать вытирать меня после массажа, даже оставляет на моих ногах баночки с мазями и уходит, а недавно совсем пропустил массаж.

Пристыженная, я потеряла дар речи. Я не знала, что ему возразить. Дети все чувствуют — я испытывала смятение. До чего докатиться — забыть больного ребенка! Наверняка и я вела себя не должным образом. Если бы только узнали родители, выгнали бы нас с позором!

Полная страха, я продолжала молчать.

— Но вы ужасно похорошели, — вздохнул Артур. — Если бы я был



взрослый, то непременно на тебе женился. — Он неожиданно перешел на «ты».

Не задумываясь, я хлопнула его по лбу.

— Вы что? — У него от изумления округлились глаза. — Меня еще никто никогда не бил. Я все расскажу...

— Да рассказывай, — вдруг рассмеялась я. — Родители твои меня тут же уволят, и ты будешь по мне скучать. Я еще сама первой тебя заложу — как ты собирался на мне жениться!

И что со мной произошло? Мне вдруг так надоело бояться! Боишься, боишься — и что толку? Все равно случается все, чего боишься. Не все ли равно? Боялась потерять сына, мужа, работу, отца Владимира...

Я посмотрела Артуру прямо в глаза, буквально впилась, ввинтилась в него взглядом, будто хотела что-то увидеть. Ну какой он инвалид? Его заболевание началось недавно, и что-то в глубине моей души подсказало мне, что... все возможно. Характер, конечно, ужасный, не приведи господи.

— Что верно, то верно. — Артур вдруг тоже захохотал. Может,

подслушал, что я о нем думала? — Я ничего им не скажу, что бы вы ни совершили.

— За что же такая милость? — удивилась я. — Насколько я знаю, учительниц ты не жалуешь. У меня чемодан всегда наготове.

— Тоже мне — чемодан! — не дав мне опомниться, быстро парировал мальчик. — Насколько мне известно, ваша поклажа довольно легка. Наверняка у вас в пакете был только носовой платок.

— Поэтому меня неинтересно увольнять? — предположила я. — Я не буду тарыхтеть по ступенькам тележкой, доверху набитой чемоданами? Не споткнусь под тяжестью сумок и не разобью себе об ступеньки нос — не доставлю несказанной радости скверному мальчишке, поглядывающему в окно?

Артур громко расхохотался. Давно не видела его таким: он откинул голову назад и смеялся до слез. Что его так насмешило?

— Может, махнем гулять в лес? — предложила я.

Артур быстро перестал смеяться и взглянул на меня с испугом.

— В лес? Я никуда не выхожу, не выезжаю за пределы дома. На улицах нет ничего необычного.

— А, да брось ты! — махнула я рукой. — Взаперти интересней? Нельзя да нельзя. Представляешь — так всю жизнь прожить? И я всегда делала только то, что можно!

— А сейчас что вы испытываете? — с интересом спросил меня мальчик.

— Я так устала всего бояться! Что я испытываю? Хочется совершать то, чего никогда не делала, — вроде праздника непослушания. Понимаешь?

— Нет. Не понимаю, как взрослые могут чего-то бояться. Когда я вырасту — все мои страхи закончатся.

— Ты ошибаешься, Артур. Настоящие страхи начинаются только у взрослых.

— Правда? — внимательно глядя на меня, неуверенно прошептал он.

— Да поехали, в конце концов! В лесу лучше, уверяю тебя! Да к тому же тебе пора вставать на свои ноги. Черт побери, долго же тебя приходится уговаривать, совсем как девчонку!

Что заставило меня совершать ежедневные прогулки с Артуром по лесу? Чувство вины перед ним? Совесть моя, конечно, была нечиста. Возможно, мне хотелось хоть немного очнуться от этого сладостного безумия, которое я ощутила впервые в жизни.

Я всегда опасалась, что мужчины подобного типа, как Костя, завоевав женщину, быстро теряют к ней интерес. Но все оказалось не так. Чтобы мне приглянуться, Костя весь исстарался. Порой он представлялся мне возбужденным павлином с искристым хвостом, совершающим брачный танец. «Погоди, все это быстро кончится», — уверяла я саму себя, но это не только не кончалось — напротив, разгоралось с каждым часом.

Под столом он крепко сжимал мою ногу, при любой возмож-

ности одним махом поднимал на руки и целовал — в любом душном углу, узком проходе, за мраморной колонной, на ступеньках лестницы, под длинными ветвями зеленой ели. Я вырывалась из его рук, выскальзывала из объятий, пряталась под тяжелые шторы. В течение целого дня я постоянно чувствовала его горячее прикосновение, дразнящее дыхание, невозможно было усмирить эту рвущуюся наружу животную, осатанелую страсть.

— Костя, — я наконец решилась ему признаться, — я хочу есть! — Он не сразу понял меня и смотрел во все глаза. — Я постоянно в этом доме голодна, — твердо сказала я и сглотнула слюну. — Теперь ты меня понимаешь?

Сказать такое Косте — оказалось, что бросить спичку в пороховую бочку. Он был готов задушить своими руками льва, разодрать его на куски и бросить под ноги своей алчущей самке. Моя комната наполнилась славными запахами: остро-чесночными, пряными, свежими, спелыми... А вина всех расцветок — ароматы всех островов. Абрикосовый и мятный ликер, абсент, настоящий на полыни, — вот что у меня было!

Надо было видеть, с каким аппетитом я алчно набрасывалась на брызжущие соком вишневые пироги! О-о-о, какая это благодать — вонзять в них пальцы, рот наполняется такой прелестью, если Светлый Бог рядом — он мной залюбуется! Я насыщалась, поедая восхитительные сласти, запивая их крепким вином. Костя, в расстегнутой белой рубашке, стройный и молодой, изящно подливал вина — каждый ледяной глоток сладко нежилась под языком, — я хмельная и радостная, я, вероятно, уже совсем пьяная! Что за чудо были эти часы, наполненные медвяными ароматами шафрана и корицы, гвоздики и мускуса, жгучие, влажные, ост-

рые и горячие! Я сижу в Костиных ногах, изнемогая от истомы, обольстительно заглядываю в глаза, трогаю с изумлением и восторгом — его. Густые и темные волосы, пьянящие, с соболиным блеском — все в нем неудержимо притягивало меня, я послушно повиновалась всем его мужским прихотям. Подчиняться не директору, облаченному властью, не коллективному долгу и совести было незнакомо и прекрасно. Я отрекалась даже от собственных мыслей и чувств, ведь и они часто лгали и предавали меня. В каждом миге растворения в своем любовнике я заражалась его природной легкостью и беспечной силой и становилась цельной и ясной, способной восторгаться и вызывать восторг.

Все возжеленней мне становились дни, а более всего — ночи. Лепесток за лепестком я раскрывала бутоны черной орхидеи — цветка наших свиданий, и беззаботной пчелкой, брюшко которой сочится медом, перелетала на следующий.

Все проще и легче, без малейшего напряжения, я училась выражать свои мысли и чувства. Насколько были сложны выматывающие душу мои беседы с отцом Владимиром, настолько свободней и естественней я чувствовала себя с Костей. Как звери, мы прекрасно понимали все оттенки голоса — от стога до вздоха. Костя, со свойственной ему здоровой непосредственностью, легко вовлекал меня в игру света и цвета: я могла пленять его простотой зеленой и свежей травы.

— Костя, — в один из дней тихим голосом призналась я. — Мне же Владимир Сергеевич дал аванс — довольно неплохие деньги. Я могла бы не голодать. Но прикоснуться к ним, этим деньгам, кажется мне невозможным. С некоторых пор, еще там, в своем городе, я стала невероятно скупа.

Я бережно открыла деревянный ящик стола и растерянно показала ему, как деньги заботливо и надежно спрятаны: в носовом платке в блестящей коробочке, которую я подобрала в траве.

— В этом нет ничего страшного, — уверенно ответил Костя. Он посадил меня на колени, обнял могучими руками и стал баюкать, как мать своего ребенка. — Жадность появляется от полного одиночества, глубокого несчастья. Тебе наверняка кажется, что, кроме этой кучки денег, ты ничем не владеешь. Возможно, у тебя в действительности ничего больше нет. Но это было раньше. Теперь у тебя есть я. И ты можешь в любой момент этим распоряжаться...

Страсть моя и его вовсе не уменьшалась — мы были в ее огненной печи. В жарком мареве, гудящем пламени, извергающем черные искры...

Пусть ревнивый, но милосердный бог простит меня — после неласковой жизни, понесенных утрат я сошла с ума. Из бледного призрака, терзаемого воспоминаниями, я превращалась в живую женщину, сияющую полнотой...

Все, что было связано с отцом Владимиром, отодвинулось далеко-далеко, за высокие горы, стало нереальным и совершенно бессмысленным. Странное дело, мне не хотелось рассказывать Косте о своей старой жизни, а он, слава богу, не настаивал. Моя прошлая жизнь рухнула, будто в пропасть, а с ней и все, к чему я была привязана. В душе я отказалась даже от квартиры, в которой жила, она была малогабаритная, на что можно было ее разменять — на две комнаты в общежитии? Сама процедура размена с сыном страшила меня материальным воплощением беспощадной бесповоротности жизни.

Костя уверял, что никогда не покинет меня. Частью своего существа я не верила в это, да и как можно верить избалованному, молодому мужчине, но сам факт, что он об этом постоянно говорил, был восхитителен. Будто на время одолженные, я навсегда возвращала кому-то все свои представления о любви. Что было нужно для веры в нее — печать в паспорте? Смешно. Я и предположить не могла, что мой брак с Колей, повязанный ребенком, годами привязанности и прочей, как оказалось, ерундой, рухнул в одну секунду.

Все, что я боялась потерять, — было у меня отнято. Но этот этап жизни закончился.

И стоило сейчас так бояться? Первое время я невероятно осторожничала, принимая все меры, чтобы никто в особняке не узнал о наших с Костей отношениях. И делала я это не только из рабского страха быть уволенной, многие чувства то бушевали, то слабо попискивали во мне: стыд, совесть, непонятная вина. Почему ничего не боялся Костя? Был уверен в своей нужности Артуру?

— Как же смешно за тобой наблюдать! — весело тормозил меня Костя, сгоняя с моего лица следы серьезности и правильности, оставленные от прошлой жизни. — Да о наших отношениях давно знает весь поселок!

Сердце мое сильно забилось, я даже перестала дышать. Значит, и отец Владимир знает? Какая-то жестокая, злобная радость охватила меня, мне представилось, что я живу в первый раз. Сажу на площади, полной народу, черпаю руками из огромного котла жирные и мягкие куски пьяной любви и, закрыв глаза, шумно заглатываю их — на глазах у всех. А ведь эта небесная синева — вовсе не надежная крыша, это всего лишь пары воздуха, преломленные в лучах солнца. По

сути, я сидела на земном шаре: вокруг меня бесконечный непроглядный космос, где носятся планеты и звезды!

Страх, как черный человек, сняв шляпу, благоговейно отступил в сторону, и мы с Костей потеряли всякую осторожность.

То мы, стоя на коленях, принимались наводить порядок в книжных шкафах, а потом смутно вспоминали, зачем здесь оказались... То сидели ночью на толстых ветвях деревьев, поедая отменные груши, а потом падали в траву, переполненные бездонным нетерпением...

Когда же наступит зима? Лето было палящим и жарким, теплая осень не хотела прощаться с летом. В поселке, наверное, разводили лошадей — по утрам были слышны храп коней, громкое ржание жеребцов, дробный стук копыт, медный звон бубенцов. В окна, вздымая шелковую узорчатую ткань, вривался воспламененный их дыханием воздух...

Ариадна бросала на меня взгляды, полные горькой укоризны. На лице прачки — и то была отчаянная скорбь, когда она, накупившись, смотрела на меня, вся замотанная — до самых бровей — длинным темным платком.

Костя слепил хлебный мякиш и запустил мне прямо в нос: как же мы расхохотались — я, Костя и даже Артур, который хлопал себя по коленкам! Нет, меня определенно уволят...

Я встала из-за стола, вышла на улицу и долго стояла, вдыхая острый и голубой, как чистое вино, воздух. Поднимала голову, открывала рот, но ледяная свежесть не гасила моих чувств.

Иногда ночью я выходила в сад. Было холодно, шумел и завывал ветер. Щеки щекотали летящие капли. Странствовать в такую погоду было бы тяжело. Зябко подергивая плечами, я медленно шла

по необъятному саду, вспоминая, как бродила по дальним дорогам. Иногда мне чудились неясные фигуры, мелькавшие в темноте, визгливые и скрипящие звуки... Потом опять — треск веток над головой, быстрая узколобая тень, летящие вниз листья. Я испуганно ежился и спешила обратно. Как-то встретила садовника и, не утерпев, поделилась своими видениями.

— Зови меня дядя Миша, — сразу предупредил он.

Он был похож на аиста — длинным прямым носом, высокими и тонкими ногами, сочетанием белой и черной шерстяной одежды.

— Ах, это... — Он вовсе не удивился, выслушав мои опасения по поводу странных звуков. — Дети, как правило, очень эмоциональны, их мысли легко материализуются. Вот они и шастают в саду. Я-то привык.

— Так это что же, сны Артура? — удивилась я. — И вы их видите?

— Да почему же нет. Конечно, вижу, велика сложность. Я часто ночью брожу, не спится. Глаз, как говорится, давно примылился — вот и вижу. Стал замечать: как Артур компьютером увлекся — все больше жуткие ходят. А вот один, самый постоянный, — тот все по деревьям или по стенам.

— Человек-паук, — догадалась я.

— Вот, вот. Его любимый фильм. Он даже стричь себя велит под паука, небось видели, как татуировка.

— Да, еще в первый день, когда приходила устраиваться, обратила внимание. Но вот интересно, дядя Миша, а как вы объясните, ведь женщины не менее эмоциональны, как же дело обстоит с их снами?

— Эмоциональные, это верно. Так у них веры нет. А без нее, к счастью, ничего не получится.

— Почему к счастью?

— Так что же это на земле станет-то? Ежели бабские мысли пой-

дут как живые? Нет, хватит и этих компьютерных ужасов, скоро на Земле не останется ни одного не обжитого ими места.

— Вы утверждаете, что мысли детей, играющих в компьютерные игры, скоро заполнят города и будет страшно ходить по улице?

— Да час тот не так уж далек. Я вряд ли доживу. А вам такая возможность представится...

— Может, к этому времени что-нибудь придумают? — с надеждой спросила я.

— Поглощалки призраков? — предположил дядя Миша. — Вроде огромных пылесосов? Вполне возможно. Да-да, мысль интересна...

ГЛАВА 12. АРТУР

Артур стал привыкать к прогулкам по лесу. Так долго не наступает зима... Осень будто застыла, иногда случалось несколько теплых дней подряд. Когда мы с Артуром легко передвигались по лесу, по всем его глухим тропинкам, я забредала с ним в самую чащу, доставала мальчика из кресла и клала прямо в сухие и желтые травы. Снимала ему обувь, чтобы он мог ощутить прохладу земли, щекоущее прикосновение листьев, хвои.

— Почему ты не боишься леса? — спросил меня Артур. — Ты всегда его не боялась?

— Нет, — честно призналась я. — Я боялась не только леса, я боялась всего на свете. Но получилось так, что я вынуждена была стать странницей.

— Стать странницей? Ты была странницей? И почему ты об этом ничего не говорила?

— Кому говорить? Костю я недолго любила, а ты был пакостный, недобрый мальчишка.

Артур теребил меня вопросами, он просил рассказать, как я путешествовала по лесу и что видела. Это было несложно, но все, о чем

бы я ни начинала рассказывать, неизбежно натыкалось на мою прежнюю жизнь. Пришлось рассказывать все с самого начала: как сын играл на автоматах, про рукопись отца Владимира, школу, где я работала. Подробно и красочно я рассказала почти обо всем, не переставая удивляться — почему так произошло? Что все это рассказала — именно Артуру? Несколько раз я пыталась остановиться, но он умолял меня продолжить — наверное, воспринимал все как жуткую сказку. Особенно ему было интересно, как мы с сыном ходили в игровые залы. Глазки его так и сверкали, он просил все новые и новые подробности.

— Да я тебе почти все рассказала, что же еще?

Но Артура интересовало все до мельчайших подробностей. Он обещал делать все уроки и даже с большим опережением. Признаться, он легко выполнял данное мне слово. А я вспоминала то, что давно забыла, — про закатившуюся под автомат фишку, старичка Якова, спасшего Бориса...

— А что было бы, если бы фишка не нашлась? — допытывался Артур.

— Страшно представить, — призналась я. — Ведь речь идет о человеческом достоинстве, его вообще нельзя терять никогда. А в таких криминальных местах, где все предельно обостряется, — особенно.

— Ух ты! — восхищался Артур. — И много ты знаешь таких историй?

Я и предположить не могла, что это могло быть кому-то интересно. О-о-о, Артур, если бы ты знал, что такое — эта магия помещений! Пустые ладони пугливого новичка явственно ощущают стопки новеньких, хрустящих пачек, таких реально-осязаемых, свежепахнущих денежек, дарующих

наслаждения. Мы бы их хотели получить, главное — не останавливаться, и в один день автомат их выплеснет наружу...

— Завтра, — твердо говорила я и решительно собиралась обратно.

Артур с некоторых пор сильно изменился и слушался меня почти беспрекословно. Он стал серьезен, между бровями пролегла глубокая морщинка, словно мальчик о чем-то долго и сосредоточенно размышлял. В этом была какая-то загадка...

— Сегодня у нас пальмовое вино, о котором упоминалось еще в Библии! — гордо провозглашал вечером Костя, когда мы оставались вдвоем в моей комнате.

Надо было видеть, как архитектурно-художественно и ярко он сотворял наши встречи, как причудливо обставлял наш крошечный уголок.

Он высоко поднял ярко-зеленую хрустальную бутылку, повертев ею, принялся откупоривать: банановый запах наполнил комнаты.

— Оно очень древнее, им пропитывали трупы, чтобы предохранить их от гниения. Если тебя им набальзамировать, то ты никогда не состаришься и будешь долго радовать меня услужением. — При этих словах он озорно подмигнул и с неподдельным усердием стал поливать меня густой и пахучей жидкостью.

Я сидела на стуле и пыталась отбиться, но было поздно: тонкая рубашка прилипла к телу, став ненадежным заслоном на пути нескромных желаний и взоров...

Утром Костя, как сизый голубь, смиренно призывал меня, притаившись у двери. Прильнув губами к замочной скважине, он хрипло курлыкал, нежно ворковал и цокал языком — целебные звуки просачивались и щекотали нос, я открывала глаза и сразу же коварно улыбалась. Наступал новый день. И он сиял сапфира-

ми и изумрудами, как ожерелье королевы!

Один раз мы с Артуром встретили на лесной тропе отца Владимира. Он медленно шел нам навстречу, будто это была городская площадь или парк. Но тропа была глухая и неприметная, мы проложили ее с Артуром, я протаптывала ногами, он обрывал сухие ветви, до которых мог дотянуться. По мере того, как расстояние сокращалось, я говорила с мальчиком все оживленнее и даже склонилась к нему голову, чтобы лучше слышать, несколько раз поправила шапочку. Но вот мы совсем рядом, поздоровались. Священник о чем-то спросил меня, но так тихо, что я не расслышала, а переспросить не решилась. Я излишне засуетилась и неуклюже попыталась объехать его, ведь он молча стоял посреди узкой тропы, не собираясь обойти нас. Чрезмерная торопливость подвела меня: коляска натолкнулась на дерево, я с силой рванула ее на себя — Артур чуть не выскочил и сильно ударился головой о толстый сук. Коляска забуксовала в грязи, Артур не издавал ни единого возгласа. Обливаясь потом, я с трудом объехала отца Владимира. Ни разу не оглянувшись, я катила и катила коляску так, будто нас преследовали...

«Ты потеряла терпение. Ты слишком надеялась на меня, надежда твоя не оправдалась, и ты готова все бросить и всех обвинять», — звучал его голос.

Я долго шла, не обращая внимания на Артура. И только когда мы вышли из леса, я сбавила ход. Артур повернул на меня сердитое лицо, на лбу его красовалась личная шишка. Я упорно продолжала молчать.

— И что дальше? — нетерпеливо спросил он меня.

Разве я что-то рассказывала? Чтобы я вспомнила, о чем шла речь, Артур терпеливо повторил мне мои последние слова.

— И он вернул тебе утраченные листья? — вдруг быстро спросил мальчик.

— Какие листья? — удивилась я.

— Ну, у отца Владимира.

— Да нет. У него их не было.

— Обманул. Значит, он тебя обманул? — допытывался Артур.

— Значит, обманул, — машинально повторила я, глядя прямо перед собой.

Странный звук вывел меня из задумчивости — Артур жевал еловую ветку. Я вырвала ее из его рук и бросила на дорогу. Хотела отругать его, но отвлеклась и забыла. Пройдя еще пару шагов, вдруг схватила камень, лежавший неподалеку, и изо всех сил грохнула его об пеню. Артур сурово затаился и прикрыл глаза, черные ресницы его, пушистые и длинные, вздрагивали.

Хоть смейся, хоть плачь — из моей головы не выходила нелепая обида.

Как он мог, такой благородный и справедливый, так страшно гнать меня прочь? Разве я не страдала от своего бессилия стать такой, какой хотел он? Разве не была разочарована собой? Его отречение было слишком суровым наказанием.

Что бы я ни делала в этот день, все валилось из рук: падали книги, ложки, ручки, я роняла мыло, полотенце. Два раза, не замечая стеклянной двери, ударилась об нее лбом. Достала и пересчитала деньги, которые по-прежнему лежали в моем столе замотанными в носовой платок. Потерянно села на кровать и попыталась как-то оправдаться перед собой, но ничего путного не выходило. В конце концов я разревелась, но и это продолжалось недолго, потому что наконец приехал Костя, который по каким-то делам на целый день отлучился из дома.

Он привез мне подарок — золотое кольцо с поразительной красоты камнем. Осторожно

но и галантно надел его мне на палец. Сегодня Костя был неузнаваемым! Я ошеломленно трогала прохладную гладкость александрита, прикасалась к нему щекой. При искусственном освещении он был фиолетово-красным, на улице переливался густым изумрудно-зеленым цветом. «Прекрасное, как сновидение», — растроганно сказала я и прижалась к Косте. Для меня этот подарок был очень важен — только в этот миг я поверила, что любима. Я хотела, чтобы меня любили. Боже мой! Мне никто не дарил подарки!

Излучая благодущие, Костя с каким-то смутным благоговением взирал на мою беспорядочную радость. От недавней печали не осталось и следа: трепеща от восторга, я металась из комнаты на улицу и обратно, чтобы увидеть всю стихийную красоту цвета в тонком бледном воздухе и в мягком сумеречном освещении. Наконец взгромоздилась с кольцом на широкий подоконник и, вытянув вперед руку, любовалась им при свете луны. А как страстно билось в стекло ночные шершавые бабочки!

— Костя, ты видишь, как сверкают в темноте эти бабочки? Ты видишь, как их сбивают черные капли дождя?

Костя качал головой и улыбался.

Шло время, мы сближались с Артуром, все чаще гуляли в лесу. У нас там был любимый уголок — крошечная поляна, со всех сторон окруженная деревьями. Уже было холодно, и я не предлагала мальчику поваляться в траве. Он сидел в своем инвалидном уличном кресле, скрипели колеса, падали снежинки, мы смеялись, иногда пели или просто болтали. В один из дней я рассказала, как опозорилась в школе, расплакавшись при учениках. Артур смотрел на меня во все глаза: он был ошара-

шен и просил снова пересказать мне эту историю. Что-то его в ней растрогало, лично задело, он весь напряжился, окаменел. Дело шло к вечеру, в предчувствии неминуемого события или разговора я замолчала. Я знала, что любая улыбка, даже самая доброжелательная в мире, вопрос или неуловимое движение — все может оказаться ненужным, нелепым и испугнуть контакт, который налаживался с большим трудом.

— Мы приехали в этот поселок пять лет назад. Врачи посоветовали моей маме поселиться на природе — у нее очень слабые нервы, — заговорил Артур. — Я пошел в первый класс в местную школу. Я хорошо учился, и даже когда мы уезжали в путешествие, то потом легко догонял своих сверстников. Так продолжалось до третьего класса. — Артур тяжело вздохнул — он долго не мог говорить.

Отвернувшись в сторону, я сосредоточенно занималась ветвями и листьями, которые нарвала по дороге.

— В третий класс пришел новый ученик. Он... был не похож на других. Он приехал сюда вместе с отцом и двумя старшими братьями. С первой минуты он почему-то возненавидел меня, постоянно цеплял словами, стараясь унижить. И все время исхитрялся, чтобы все видели. В один из дней я не выдержал и ударил его, завязалась драка. Я сам удивился тому, что одержал победу, — драться я не любил. У меня была разорвана рубашка и разбита губа, у Сашки из носа текла кровь, была рассечена бровь, на лбу — ссадина. Моя победа была очевидна. И хотя я побаивался, что мне попадет за рубашку, внутри я торжествовал.

После уроков за школой меня ожидал старший брат Сашки. Он был гораздо выше и крупнее меня. Не успел я и пикнуть, как он

надавал мне тумаков — это было обидно, со мной были ребята из класса.

— Это несправедливо и нечестно! — крикнул я. — Я победил Сашку!

— Но ты один, и за тебя некому заступиться, — услышал я твердый, не знающий возражения голос.

Меня стали поколачивать Сашка и его братья, я не смог вовремя ответить, среагировать, и как-то раз, после одной унижительной сцены, о которой я вам не в силах поведать, я разрыдался на уроке на глазах у всех, как девчонка. Отныне я стал предметом многих насмешек, даже девчонки прозвали меня нюней. Я не знал, что делать и кому пожаловаться. Помочь мне могла только няня, но она уже была очень слаба. Отца я боялся, матери не доверял. Я представлял, как он расстроится, что его сын такой слабый, и вздумает прийти в школу, чтобы учинить скандал, чем только еще больше усугубит мое положение. Я терпел, сколько мог. В один день Сашкины братья сильно избили меня после уроков, я еле добрался до дома, кружилась голова. В этот день я твердо решил — если ничего не изменится, покончу с собой. Я действительно не хотел жить. Я своровал у матери пачку снотворных, но утром неожиданно сильно распухли ноги, я с трудом встал, но не мог сделать и пары шагов, как упал. Родители всполошились, привезли из города врача, потом было много врачей и больниц. Ноги будто закаменели, они не слушались меня, признаться, втайне я был рад, что больше не придется ходить в школу.

Отец пригласил из города массажиста, потом появился Костя...

Артур крепился изо всех сил, но слезы против воли текли по его щекам. Сердце мое обливалось кровью: насколько хрупким и незащищенным он был на самом

деле, как нуждался в любви! Он причинял родителям страдания, чтобы наказать их за равнодушие, он жаждал умереть — чтобы они догадались, что за несколько месяцев он изведаль столько горя!

— Они всегда заняты, всегда погружены в свои дела, им вовсе нет до меня дела! Они только и мечтают о том, как бы поскорей бросить меня одного! Разве мне или кому-то из нас нужны эти пятерки? Что мы понимаем в словах — «надо думать о будущем»? Разве мне не хорошо — без этой школы? Я — не голодный и бездомный — как я могу «думать о будущем»? Я все это делал ради них. Я старался, я бежал домой с дневником, как с великой доблестью, — разве мне он был нужен? И почему вы воспринимаете то, что мы делаем только ради вас, само собой разумеющимся, не достойным внимания, а любой промах, жалкий проступок получается в ваших глазах величайшим пороком?! Мы вас постоянно разочаровываем, всегда находимся что-то скверное и неприличное, завоевать вашу любовь невозможно — проще броситься со скалы вниз головой!

Он кричал и кричал, пока совсем не обессилел, и теперь казался уставшим и постаревшим. Я и предположить не могла, что дети способны так отчаянно страдать — даже больше, чем взрослые... И кто поручится, что детская скорбь не обернется бедой, кто проследит, все ли выплаканы слезы, и не вросли ли они в ноги или руки — так, что не поднять, не врезались ли в сердце — так, что не оживить...

В самую отчаянную минуту, в последние здоровые дни, Артур попытался все рассказать матери. Он зашел к ней в спальню, сел на стул, она задумчиво расчесывала на ночь волосы. Несмотря на то, что он был очень взволнован и часто прерывался,

она не поняла ничего! Она рассеянно смотрела на своего мальчика, даже обняла и приласкала его, но была в эту минуту бесконечно далека от него, он чувствовал это каждой клеткой своего тела. Ее рука, гладившая его голову, словно добавляла решающий ожог на уже обугленное сердце. Сожженные души детей, «вы отвергаете эту правду — и вот вам за это все ужасы»...

Мой муж пришел из армии, когда Алеше уже было два года. Сын — смысленный, веселый малыш. Возможно, слишком ласковый и изнеженный, как сказал Коля. С первого дня между ними началась чуть ли не война, я и предположить не могла, как такое вообще может случиться. Я гордилась ранним развитием сына и была уверена, что Коля разделит со мной это чувство, но все оказалось наоборот. Ребенок встал между нами, он нас разъединял, он упорно не поддавался перевоспитанию, а отец жестко требовал от него мужественности и высмеивал любые слезы. Я металась между ними как курица, которой подложили утиное яйцо. Та сражалась за своего птенца сколько хватало сил, но, не в силах вынести попреки куриного двора, выгнала гадкого утенка прочь. В жизни все более завуалированно, глубоко спрятано. В глубине души я раздраженно подумала: ну почему Алешка такой неуступчивый, упрямый? Ведь так легко схитрить, приластиться к отцу — стать тем, кого он так хочет видеть!

Мой сын не входил в стройную колонну общепринятой морали, в примерную армию детей, он был слишком застенчив и робок, он порой жил — будто спал, в фантазиях своих снов. Меня раздражало это отсутствие жизненной хватки и цепкости — я смотрелась в сына,

как в зеркало, и ненавидела свое отражение — плохой девочки...

Мы предаем своих детей, как предавали нас, мы пытаемся, чтобы они были хорошими и вели себя правильно — в угоду кому? Моя мама вечно ставила мне в пример какую-то Свету — тихую и прилежную отличницу с прилизанными волосами. Я ненавидела Свету всей душой, но почему-то упорно, всеми силами души, старалась на нее походить — это было пустым и безнадежным делом. Но я видела, как мама любовалась ею, как после родительских собраний сокрушалась, что все лучшие слова были только в ее адрес... Моя бабушка считала мою маму грубой и неуправляемой, но частенько с обидой поминала, что ее собственная мать называла ее неудачным ребенком.

Когда Алеша учился в пятом классе, он как-то раз пришел домой весь в слезах. Я готовилась к открытому уроку в школе, на который должны были приехать учителя из Москвы. Надо было отстоять честь школы. Я сидела на полу, обложенная десятками книг, иллюстраций, и составляла план небывалого урока рисования. Алешка сидел рядом и что-то настойчиво, вздохом рассказывал, на кого-то жаловался, о чем-то просил — я слушала плохо, не понимая ни слова: голова моя отупела от усталости. Я машинально гладила сына по голове и невпопад говорила что-то утешительное, вроде того, что все будет хорошо, все мальчишки дерутся. Спустя несколько дней я смутно догадалась (но быстро забыла), что в жизни сына происходило что-то очень важное — решающее сражение за собственную полноценность, исход, который мучительно проявится в будущем. Так воин, отправляясь на войну, проверяет, надежен ли конь, крепко ли оружие. Все, что мы, взрослые, воспринимаем как

пустяки, ничтожные побуждения, бурю в стакане...

«И вот вам за это все ужасы».

Я вспомнила отца Владимира: как в страхе бежала от него прочь. Теперь я различала образы рванувших за мной людей, они проявлялись, будто всплывали из мутной воды: мама, бабушка, Элеонора, мать священника, родители моих учеников...

И я не вправе судить Элеонору. Я представила ее, ровесницу видного, известного мужчины, с приклеенными ресницами, фальшивым париком, с неумело нанесенным средством для искусственного загара, пребывающую в постоянном напряжении, страхе быть покинутой. Разве она не жалела своего мальчика, разве не желала ему счастья?

Есть время полного единения — оно в тысячу раз лучше любых слез и даже сострадания. Оно связывает прочнее крови и любой клятвы и не заканчивается даже со смертью. В нашем мире это почти не случается... но это случилось — у меня с Артуром. У меня щемило сердце — почему не с сыном?

Но я уже поймала этот неуловимый поток — и познала ему цену...

— Знаешь, Артур, — грубовато сказала я, — тебе пора вставать на ноги! Мне надоело таскать тебя на коляске! Теперь-то понятно, почему у тебя отнялись ноги: ты не хотел идти в школу! Но теперь, когда этот вопрос решен — ты никогда не пойдешь в эту школу! — глупо продолжать притворяться инвалидом! Как тебе кажется?

— Я знаю, знаю! — вскрикнул Артур.

Я с удивлением взглянула на него. Глаза его блестели, изменился даже овал лица, изменился голос. Еле слышно он глубоко и облегченно вздохнул — его панцирь, под которым он прятался столько времени, треснул и рассыпался...

Но это чудесное превращение длилось недолго. Потерянная душа ненадолго выглянула, как клейкий листик из-за ветки, и тут же испуганно спряталась. Но я уже видела — она была рядом.

Я увидела те ключи, ту сокровенную связку золотых сверкающих ключей, что искала повсюду, пытаюсь разгадать в своей попутнице, Марии, искала в лесу, на дорогах, в лицах других матерей. Она, Мария, одна была женщиной истинной природы.

Она целиком принимала своего сына, который был не ее породы, он был подброшенным яйцом, а она — простодушной уткой, ежедневно хлопочущей над своим будущим хищником, ястребом, коршуном или волчонком, — это не имело значения. Это был ее сын. И она принимала его дух, раскрывала над ним крылья любви, и эти две силы — любви и принятия — были самым мощным в мире оберегом. И всегда, в полете среди своих или чужих, в дикой, пропащей или благочестивой стае, эта вечная сила наполнит его, когда он будет истощен, высветлит путь, если он будет искажен, дарует ему целостность и ясность, когда он будет всеми отвергнут.

Я вслушивалась в предчувствия, в любой случайный шорох или свист. Но до прозрения было еще далеко...

Костя неожиданно сообщил мне, что ноги Артура «оживают». Он повторил это слово два раза, но не смог точно выразить, что произошло.

— Это на уровне ощущений, — сказал он. — Но такого раньше не было. Будто под руками вздрагивает кровь. Или в вену влили кубик адреналина — примерно такое впечатление. Я не понял, что произошло.

Пришлось рассказать Косте про Артура — другого выхода

не было. Одной мне не справиться. Я замерла в предчувствии чуда — я в него верила. Но чуда, которого я так ожидала, не произошло. Излечение было так близко — рукой протяни, но чего-то явно не хватало. Какой-то мелочи, вероятно, ерунды... Неизъяснимых вещей в природе полно. Надо было что-то делать, но ничего путного в голову не приходило. Найти того Сашку, который бил Артура? Костя, будто подслушав мои мысли, нашел его в поселке. Испуганный мальчик с белесыми волосами, со светлыми бровями, ресницами, глазами. Братья, такие же альбиносы, все живут с алкоголиком-отцом, который их нещадно бьет. Мать умерла три года назад.

— Ты не представляешь, — рассказывал Костя, — удивить меня трудно, но когда я вошел к ним в дом, то потерял дар речи. Такая нищета, зловонный, глинистый двор, на котором я поскользнулся и едва не упал, омерзительный отец семейства. Целый день меня мучило это воспоминание, впервые в жизни я чувствовал бессилие. Связать их, избить, притащить в дом и бросить к ногам Артура? Заставить извиниться?

А что это даст? Артур, даже если встанет на ноги, никогда не вернется в эту школу.

Вдруг я вспомнила про Пашу Седого. Он увлекался разными цивилизациями, и слово «Атлантида» нередко срывалось с его губ. Но если Владимир Сергеевич так убедительно доказывал, что он — потомок древних атлантов, то что из этого следует? Что в жилах его сына также течет древняя кровь! Я уже немного доверяла своей интуиции и позвонила Паше, у него был очень простой и запоминающийся номер телефона. Паша сам взял трубку и очень обрадовался, услышав мой голос:

— Вера Николаевна! Куда вы пропали? Что случилось? — Паша говорил и говорил, он прямо захлебывался словами, торопясь мне что-то рассказать, но связь была плохая, я его громко перебила.

— Паша, мне нужна твоя помощь. Понимаешь, я далеко, здесь мальчик, он болен. Его родители считают, что они атланты, ну, они везде путешествуют. Тогда, значит, их сын — тоже атлант. Это, наверное, полная чепуха, Паша, но ты этим всем увлекался, помнишь, ты как-то рассказывал мне, как лечили людей в древней Атлантиде?

— Чудесами! Чудесами, Вера Николаевна! Там были такие пещеры, они все сверкали драгоценными камнями, если там побудешь какое-то время, то вылечишься от любой заразы.

— Но, Паша, послушай, — возразила я, снова перебивая его, — сейчас же нет таких пещер. Что же тогда делать?

— Ну, чудо — это мечта. О чем мечтает этот мальчик, это и надо осуществить. Как сюрприз, понимаете? Только надо знать наверняка о мечте, а то бывает...

— Спасибо, Паша! — прокричала я в трубку. — Я тебе обязательно позвоню.

Новые мысли заполнили мою голову. О чем же мечтал Артур?

После разговора осталось какое-то странное, нехорошее послевкусие, что-то Паша мне очень хотел сказать...

Мы с Костей сломали голову, чем же поразить мальчика. В своей наивной глупости перебирали все, что он любит. Наивной — потому что все было слишком очевидным. И татуировка в волосах, и призрак в саду. Любимый фильм.

— Человек-паук! — воскликнула я однажды утром.

Почему именно утром приходят нужные мысли?

— И что дальше? — лениво спросил Костя. — Фильм «Человек-паук». Организовать в нашем поселке его съемки? Артур — в главной роли? Чтобы вся ребятня ахнула? Не забывай, что Артур не ходит.

— Да-а, — вздохнула я. — Что же делать?

Мы стали думать и прикидывать. Сошлись на том, что нужно просто удивить Артура — появлением человека-паука. Достать такой костюм. Костя в него переоденется...

— И я прыгну на вас, когда вы будете гулять в лесу! — вскричал Костя.

Затея мне понравилась, но была слишком сложна из-за грязи, ведь снег еще не выпал. Решили проделать все в саду: Косте легче спуститься на веревках с башни, тем более что там полно выступов.

Костя поехал в Москву в поисках костюма. Вечером он позвонил и радостно прокричал в трубку: «Вера, ты гений! Костюмы есть, но только в секс-шопе! Один костюм я уже купил, хочу купить второй — женский, у него замочек в одном месте и на груди тоже...»

— Дурак! — заорала я истошным голосом. — Немедленно возвращайся обратно!

Костя действительно привез два костюма — настоящие паучьи, разнужданные секси. Альпий паучий латекс, разлинованный черной сеткой. «Ненадежные», — с сомнением сказал Костя, щупая роскошную резину и замки. Разумеется, замки надо было опробовать. Надеть костюмы можно было двумя способами — натереться душистым тальком или намазаться кремом. Прорези на голове были только для глаз и ноздрей. Костя молча рванул свой замок...

Я подошла к нему совсем вплотную. Выпрашивая что-либо у Кости, я завела привычку мимолетно потереться о его нос. Он моментально дурел, хотя, по правде ска-

зать, он давно повредился в уме. Меня потрясали его глаза, ночью они были определенно волчи: золотисто-ядовитые, горящие от избытка свежей силы. А днем — туманные и тайные, как черный жемчуг. Так ли хорошо я знаю тебя, Костя? Всегда ли ты так ходил, как вкрадчивый и бесстрашный зверь?

Примерки костюмов наполнили и меня непревзойденной дикостью. Незнакомые ощущения мутили разум...

Прошло несколько бесполовых дней, в течение которых мы с Костей крушили и разбивали в щепки все разумные рамки. Каждый день мы серьезно собирались заняться делами, но только я видела его, обтянутого красной резиной, как яростно рвалась к нему... Я перестала узнавать себя в зеркале. Ярко-зеленые глаза мои будто потеряли цвет и сверкали змеиными огнями, я дрожала всем телом и жадно ловила воздух. Но спала я крепко и долго — так блаженно сосут молоко молодые щенки.

В один из этих дней я снова встретила на улице отца Владимира. Узнавание потребовало некоторых усилий. Не поднимая глаз, я быстро, каким-то неестественным голосом поздоровалась и хотела прошмыгнуть мимо.

— Вера? — тихо спросил он. — Что-то случилось?

— Нет, что вы, у меня все хорошо, — бормотала я, пряча за спину руки.

Голос мой внезапно осип, и я отводила глаза, чтоб не опалить этого человека огнем лучистой бездны, из которой не было возврата. Я спешила прочь, шла и бурчала себе под нос, передразнивая его слова: «Делаю все, как вы велели — растрчиваю свой женский потенциал».

Признаться, в эти дни отец Владимир, как назло, то и дело

попадался мне — в магазине, на улице, даже возле наших ворот. Сколько раз я пыталась отловить его, когда он гнал меня, как собаку, но тогда он как сквозь землю провалился! И вот теперь,

когда я в нем не нуждалась, он был на каждом шагу. Не пытаюсь меня задержать, он как-то пораженно вглядывался в меня. В глубине его глаз сумрачно горело печальное изумление, что чрез-

вычайно порадовало мое сердце. «Я нужна, я могу быть любима, — думала я. — И моя жизнь вовсе не пуста, как ты думаешь. Но теперь мне нет до тебя никакого дела».

Продолжение следует.

г. Липецк



Зулкар ХАСАНОВ

Зулкар Хасанов родился в 1931 году в деревне Султанмуратово в Башкортостане. Испытал военное лихолетье. Служил в морских частях на Тихом океане, окончил Саратовский нефтяной техникум, Университет марксизма-ленинизма. Работал механиком, главным инженером в нефтяной отрасли, затем в конструкторском бюро Калужского турбинного завода. Член Российского союза писателей. Печатался в журналах «Юность», «Российский колокол», «Чешская звезда».

СУДЬБЫ (СТРОКИ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ)

ПОВЕСТЬ

1.

Миша Курков родился на Южном Урале в 1920 году, в середине февраля, в красивом и уютном райцентре в деревне С.

Бабка-повитуха Екатерина говорила отцу новорожденного:

— Ребенка, родившегося утром в феврале, ожидает беспоконная жизнь, ему всего придется добиваться своими силами.

— Поживем — увидим, — спокойно парировал Дмитрий, молодой отец. — Только вы об этом не говорите Марии, она может расстроиться.

Семья Дмитрия была дружна и крепка. Дмитрий содержал свое домашнее хозяйство в лучшем виде, дети — цветы жизни — радовали своих родителей

тягой к грамоте и домашнему труду.

Время было тревожное. На пороге — предгрозовые 1939-41 годы. Но молодость немного беспечна и не привыкла смотреть по сторонам.

Два брата Миши, Евгений и Александр, тринадцати и десяти лет, любили старшего брата,

во всем брали с него пример. Деревенский спортсмен, гармонист и затейник привлекал к себе немало девчат, да и мальчишки старались следовать за ним. Родители, Дмитрий и Мария, не чаяли души в своих детях. Конечно, жили бедно: советская власть еще некрепко стояла на ногах. А тут грянула финская война, унесшая немало жизней. Она, слава богу, быстро закончилась нашей победой.

Но радости особой не было. Призрак предстоящей войны с Германией бередил умы, но люди старались вслух не говорить об этом, только шепотом делились с ближайшими друзьями (вдруг сочтут за паникера, распространителя ложных слухов, в то время это было небезопасно).

Впрочем, на деле германское руководство демонстрировало дружелюбие: был заключен мирный договор. Он утверждал, что никакой войны с СССР не предвидится.

Миша рос озорным любознательным мальчишкой. После успешного окончания десятого класса ему предложили пойти в учителя начальных классов. Небольшая деревня распахнула свои объятия: учителей не хватало.

Миша проработал в школе год. Его любимая мама давно болела, но не сдавалась. Ее поддерживала любовь детей. Но все же перед самой войной Мария ушла на вечный покой. Потеря для всей семьи великая и невосполнимая.

У Миши кроме спорта было немало и других увлечений. Девчонки заглядывались на молодого, всегда подтянутого паренька. Но всем другим он предпочел девушку по имени Эльвира. Ровесница Миши, она приехала учительствовать в младших классах. Длинные темные волосы, а глаза, зеленые-зеленые, при встрече

впивались в лучезарные глаза Миши. Словом, промелькнула между ними искра любви. И не могли они оторваться друг от друга.

Взаимная любовь Миши и Эльвиры была чистой, преданной и незабвенной. Работа в школе с ребятами младших классов научила Мишу общению и дружбе. Он повзрослел, стал требовательным и ответственным.

2.

Время шло. В школу пришла новенькая учительница начальных классов, Галина Викторовна Семина. Особа весьма самоуверенная, себе на уме, но строгих правил. Она уважала расторопность и послушание, так что ученики побаивались и вели себя тише воды ниже травы.

А в это время Европа бурлила. В мире редко бывает, когда спокойно живет людям: войны, революции — попутчики нашей жизни.

Страна Советов работала не покладая рук, в Европе всюду разгорался пожар Второй мировой войны. А летом 1941 года беда заглянула и к нам.

Советские люди, закаленные и просмоленные в трудных жизненных обстоятельствах, ожидали, что это случится. Хотя фашисты и шли на всякие хитрости, чтобы обмануть советское руководство, советских людей.

И вот: «Вставай, страна огромная...»

Провожать на фронт сына пришли отец и братья. Вот тут Миша познакомил семейство со своей девушкой.

Эльвира и Миша простились тихо, скромно, не привлекая особого внимания близких и посторонних, ведь это же не свадьба. К тому же на призывном пункте стоял такой шум и гам, трудно было понять, кто с кем

разговаривает... Все говорили, кричали, плакали!

Миша ушел на войну, оставив невесту, отца и двух братьев. Страху сильного он не испытывал, как и другие его сверстники, которые вместе с ним проходили военную подготовку в воинских лагерях.

Молодые люди всех советских республик, призванные из разных краев нашей необъятной Родины, не поддавались унынию и печали, а, наоборот, бодрились как могли. Можно было слышать в свободные от занятий минуты прибаутки, анекдоты. Смеялись, подкалывали друг друга кто во что горазд.

Саратовец Петя, бывший цирковой акробат, шутил и смеялся: «Русский воин храбр и стоек, что и один в поле воин».

«Без уныния и печали мы пойдем в смертный бой», — вторил отчаянный астраханский рыбак. Торжествовал всеобщий душевный подъем.

Занятия продолжались. Марши, стрельба, передвижение по пересеченной местности, попластунски. Офицеры обучали вновь призванных красноармейцев теоретическим основам артиллерийского вооружения, стрельбе из орудий. Ведь тут должна присутствовать слаженная и четкая работа расчета. Опытный командир, коренастый, всегда подтянутый, часто говорил о том, что боец должен быть смел и решителен, быстро мыслить.

Миша попал в артиллерийское подразделение, где служили настоящие мужики. Один за всех, а все за одного. Бывалые воины и молодое поколение слились воедино. Отношения молодых и служивых людей сложились надежные, крепкие. Старослужащие опекали молодежь, да и ребята им под стать: самые тяжелые работы брали на себя и первыми высказывали на

выстрел. Это и называется войсковое товарищество и преданность стране.

Миша вспоминал трудные бои на западных рубежах нашей страны. Сколько было отбито атак в жестоких боях. Иногда кончались снаряды, и тогда в ход шли винтовки и гранаты, а иногда и штыки.

Смертельная схватка с врагом набирала обороты. Смерть уносила ежедневно тысячи жизней с обеих сторон. Коварные замыслы воинствующих главарей фашистской армии были брошены на жертвенный алтарь всего человечества.

В первые месяцы войны нашим бойцам приходилось трудно, а немцы, с опытом ведения войны в Европе, с мощным вооружением, имея перевес в живой силе и современной технике, шли в наступление. Особенно тяжелые бои шли на оккупированных западных территориях.

Наступила суровая зима. Не всегда вовремя успевали подвезти советским частям боеприпасы из-за снежных заносов. Превосходящими силами немцы сумели окружить группировку наших войск. Туго пришлось тогда бойцам. Дрались один за десятерых. Но силы были неравны. И командир дал приказ выходить из окружения мелкими группами скрытно, чтобы сберечь живую силу, указав в качестве места сбора деревню Ключи, где еще не было немцев.

Миша Курков со своим земляком Андреем Карповым служил в одном подразделении. Они вырывались из окружения болотистой местностью, где не замерзала вода даже зимой из-за родниковых вод. Миша провалился в болото, еле выбрался из него с помощью товарища. Это обстоятельство сильно ухудшило положение Куркова и Карпова. Ноги начали замерзать. Хорошо

еще, что быстро вышли из леса. Но только очутились на опушке леса, тут же появилась группа «Смерш». Один из офицеров Смерша окликнул вышедших из леса красноармейцев.

— Руки вверх! — крикнул капитан из Смерша. — Вы кто будете? Немецкие шпионы или красноармейцы, бегущие с поля боя? Ваши документы.

— Това... рищ... капи... тан, — дрожащим невнятным голосом едва проговорил Карпов, — мы не смо... жем вам с... казать... руки и но... ги от... моро.... жены, по... можете от... править нас в гос... питаль.

Обморозившие руки и ноги старший сержант Курков и его наводчик Карпов едва стояли, затем рухнули на снег, как подкошенные, пальцы рук и ног совсем ничего не чувствовали.

Выход из окружения — выход из ада. Доставили обоих бойцов срочно в военный госпиталь в Калуге. Доктор говорил: «Надо было постараться согреть замерзшие ноги, порвав нательную рубашку на портянки. Хорошо, что не пришлось отрезать пальцы рук и ног, остались только рубцы».

3.

Пожар войны разгорался. Только фашистского гада отбросили от Москвы, он полез на Сталинград.

Февраль 1942 года. Позиций противника не видно. Но он рядом, слышно его дыхание. Надо иметь высокое мастерство в маскировке, чтобы не обнаружить себя.

Бои тяжки, вязкие. Каждый дом обстреливался в упор. Жильцы выбыли, вместо них в подвалах — боевые подразделения. Дрались за каждый дом, за каждый этаж. За каждую пядь.

В это пекло и угодили Миша Курков и Алексей Карпов, которые прошли через окружение,

ранение, не потеряв веру в победу русского, советского воина.

Прикрепили их к закаленному в боях в Сталинграде подразделению. Миша Курков — командир орудия, Карпов — артнаводчик.

Били фрицев не жалея живота. За время боев в Сталинграде батарея старшего сержанта Михаила Куркова подбила не один танк противника, немало было уничтожено вражеской пехоты. Но немцы постоянно восполняли свои потери. А на нашей стороне — неукротимый дух и желание вымести врага с порога нашего дома. Отстоять честь и свободу. Все это и поддерживало бойцов в самые трудные минуты сражений. В смертельном бою сошлись наши бойцы с немецкими захватчиками.

Мороз, падает небольшими хлопьями снег. Наши войска и немцы не нарушают тишину в утренний час. Миша из-за укрытия, вскидывая то и дело свой бинокль, наблюдает за немецкими позициями, находящимися за небольшим пустырем. Вдруг раздается легкий щелчок — и Миша падает навзничь, мгновенное затмение, он потерял сознание. Карпов и его товарищи-друзья быстро перевязали друга и направили в санбат. Ранение оказалось серьезным: пуля вошла в левый глаз и вышла под правым ухом, переворошив всю внутренность носоглотки. Требовалось серьезное лечение в госпитале.

В сопровождении медсестры Миша был эвакуирован на самолете в Саратовский военный госпиталь. Собрался консилиум врачей, недолгое обследование ранения, решение принято: левый глаз надо удалить.

Уколы, наркоз. Операцию делал опытный хирург-окулист Виктор Васильевич Семенов.

Миша проснулся ночью, наркоз отходил медленно, а Виктор Васильевич ласково, но требова-

тельно говорил: «Курков, просыпайтесь, довольно спать».

Медсестры хлопотали рядом, как ангелы. Вроде бы жив Михаил Курков! Перевязки, уколы, таблетки, завтраки, обеды, ужины. Потянулись томительные дни в госпитале. Ожидания и тревоги сменялись радостью победы над грозным недугом. Но Курков победил смертишку, не для того он пришел на этот свет, чтобы так быстро расстаться с ним!

С непривычки повязка мешала, частые перевязки теребили Мише нервы. Оставаясь наедине, он теперь думал о смысле жизни, переживал о том, кому он нужен теперь такой одноглазый, как Циклоп.

Напала, откуда не ждали, депрессия. Что теперь делать, как жить без глаза? Часто вспоминал папу, братьев. Они самые близкие для него люди. Что с ними? Как они?

Миша думал, что надо поскорее погрузиться в работу, только в этом его спасение. Да и друзья в госпитале тоже его не оставляли, постоянно напоминали ему, что жив. Главное, Родину отстоять от врага да вернуться к своим близким живым и невредимым. И вот, собравшись духом, он решил написать письмо родителям и девушке. «Дорогие мои папа и братья Женя и Саша! Передаю вам большой привет и добрые пожелания. Сейчас я с ранением лежу в госпитале, поправляюсь, за мной хорошо ухаживают. Соскучился по вам, как мне хочется увидеть вас и обнять. Напишите о своей жизни и здоровье. До свиданья, целую!»

Какое у него ранение, он умолчал. Зачем? Все узнают своим порядком, если живой останется.

А над письмом своей девушке крепко задумался. Ранение тяжелое, вряд ли девушке понравится одноглазый мужчина, а она

такая красавица. «Здравствуй, Эльвюшка! Обнимаю тебя и крепко целую. Сейчас нахожусь после ранения в госпитале на лечении. Сообщать о своей ране я бы не хотел, чтобы тебя не огорчать. Но жизнь такова, что все равно когда-нибудь ты узнаешь. Ранение мое тяжелое, поэтому не хочу быть тебе обузой, ты у меня красавица, я не хочу, чтобы ты всю жизнь сожалела о своем выборе, это было бы с моей стороны нечестно. Ты можешь определять свою судьбу так, как тебе хочется. Обнимаю, целую, с любовью, Миша». У самого Миши слезы затмили глаза, сильно разволновался... Поймет ли Эльвира его состояние? Это же потеря любимой девушки, а она может посчитать это предательством со стороны Миши. Однако он солдат, должен принимать правильное решение. Письмо опущено в почтовый ящик.

Эльвира, получив письмо от почтальона, дрожащей рукой, с волнением открыла конверт, начала читать. Слезы комом застряли в горле, закружилась голова, с трудом дочитала, строчки прыгали, капала слеза, размывая чернила, пришла полная растерянность. «Как же так, — думала она, — он совсем мало написал о себе и ничего не сообщает о своем ранении, что такое серьезное могло с ним случиться?»

Размышляла, думала и ничего не могла придумать. Тут же на листе нервным девичьим почерком запрыгали ответные строки: «Миша, ты меня сильно огорчил своим письмом, умолчал о своем ранении, и сразу пишешь, что у нас с тобой жизнь не сложится. Я не верю, что мы с тобой расстанемся, я не смогу тебя забыть, приезжай, какое бы ранение у тебя ни было, я жду. Целую, Эльвира».

4.

А Миша уже выписался из больницы и сразу попал в руки работников областного военкомата Саратова, которые отправили его в распоряжение райвоенкомата одного из районов. Оттуда он был откомандирован в большое село Д. работать в школе физвоенруком. Поселили его в старом покинутом доме, хозяева которого давно умерли. Никто не осмеливался занять дом, стоял он сиротой, одинокий и несчастный. Нужен ремонт печной трубы, да подгнили некоторые доски пола.

А Мише не привыкать к работе. Колхоз выделил необходимые материалы, закипела работа. Дом почти что заново отстроил, а тут подошла и трудовая школьная жизнь. Директор школы Иван Дмитриевич Смеляков, добрейший человек, к Мише присматривался, но понял, что тот — обыкновенный деревенский парень, способный не только преподавать физкультуру и военное дело, он не новичок и в хозяйственных делах. Коллеги его приняли в коллектив радушно, спрашивали о фронтовых новостях, о ранении.

— Пуля — не дура, как думают некоторые, она летит туда, куда хочет попасть, — отвечал Миша.

И поведал историю своего злополучного ранения.

Пошла школьная жизнь, тоже нелегкая, у многих детей родители на фронте, а кто-то и вовсе сирота. Но отношение к Мише в коллективе не как к инвалиду, а как к полноценному учителю.

Миша с большой ответственностью взялся учить старшеклассников военному делу. А еще он вел физкультуру. Надо и самому быть на уровне, в форме. Накануне составлял планы занятий на завтра, к урокам всегда готовился загодя, по-военному.

— Михаил Дмитриевич, — обращался к нему директор школы, — мужскому составу преподавателей надо поучаствовать в заготовке дров на зиму, помочь в ремонте школы. А кто сможет выполнить такую работу в это суровое время?

— Я с удовольствием, — отвечал Миша.

Учителя всегда помогали в заготовке дров. Сначала пилили лес, потом на быках возили дрова в школу.

В одну из поездок он увидел, как погоняла быков, запряженных в телегу, совсем молодая женщина, которая работала техничкой в школе. Женщина еще молодая, в теле, она то и дело покрикивала «соб, себе» на непослушных быков. Несмотря на военное время, женщина одета элегантно, со вкусом. Черноглазая, на голове цветастый платок, из-под которого торчит шелковистая черная прядь волос. Телогрейка военных лет, но подогнанная под фигуру, и сапожки короткие, довоенного времени. С ласковой улыбкой она обратилась к Мише:

— Михаил Дмитриевич, вы у нас, кажется, новенький, и вижу, как увлеченно занимаетесь с нашими балбесами. Правда, у нас они хорошие, но все же попадают-ся и хулиганистые, норовистые.

— Как вас зовут, черноглазая? — обратился Миша.

— Полина, Полина Андреевна Сметанкина.

— Очень приятно, красивое имя — оно происходит от имени бога Солнца Аполлона. Вам говорили об этом когда-нибудь? Имя выражает многие чувства, добрые, мудрые, отзывчивые, также в этом человеке может присутствовать страсть, гнев. Вы не вздумайте обижаться — это я говорю об Аполлоне.

— Спасибо, обрадовали.

— Но имя — не догма. Все зависит от воспитания, веры в свое бу-

дущее. Так что вы не обращайтесь на мои высказывания — это же все предрассудки. Полина, — переходя на ты, — а с кем ты живешь? Только извини, что вас назвал на ты, как-то само собой получилось.

— Это ничего, мы с вами ведь, наверное, ровесники, Михаил Дмитриевич?

— Я родился в 1920 году.

— Ну вот, видите, я тоже, — просто и естественно откликнулась Полина. — Я живу с мамой, Галиной Николаевной Прониной, и с своим маленьким сыночком Борькой трех лет. Получила год тому назад похоронку на мужа Аркадия Егоровича Сметанкина.

— Так, Полина, получается, ты вышла замуж еще до войны?

— Да, мы с мужем хорошо жили, он тоже работал учителем, я училась в институте заочно и сейчас продолжаю учиться и работаю в школе техничкой, а то маме одной тяжело. Я зарабатываю немного, но нас с мамой огород выручает.

Загрели дрова на телеге, она завалилась на один бок, оказалось, слетело заднее колесо, лопнула ступица, все спицы выпали.

Что делать? Не будь рядом с Полиной Миши, пришлось бы туго. Миша тут же приделал вместо колеса жердину, которая волоком тащилась по земле и поддерживала телегу в равновесии. Тихонечко довели нужный груз до места. Правда, быкам пришлось нелегко.

— Миша, заходите к нам, а то вы один, наверное, скучаете.

— Спасибо, Полина, за приглашение, зайду обязательно.

— Только, Миша, предупредите заранее.

В один из выходных дней Миша побрился, подушился одеколоном «Шипр», надел чистую рубашку, конечно, не выходную, у него и костюма-то не было. Но солдатскую одежду, если ее

хорошо почистить, можно носить с щегольством.

Скромный деревенский дом на окраине. Миша — у калитки, дернул шнурок механического звонка-колокольчика. Навстречу вышла Полина.

— Здравствуй, Полина, — робко сказал Миша, вглядываясь в черные глаза, обрамленные блестящими черными ресницами.

Очень чудное такое сочетание волос и глаз, хочется прикоснуться к такой красоте. Миша обнял Полину и поцеловал. Хотя пока всего лишь гость. Полина растерялась, не знала, как поступить и что сказать, но в душе она питала к Мише добрые чувства.

— Полина, чем я тебе могу помочь? — спросил Миша.

— Миша, если тебе нетрудно, накопи мне несколько поленьев, вон они лежат возле погреба, надо протопить печь, сготовить обед. Я тебя угощу жареной картошкой с галушками из печки. Это очень вкусно по нашему времени.

— Хорошо, Полина!

Сказано — сделано. Миша быстро наколот дрова, занес домой. Мама Полины, Галина Николаевна, спала в другой комнате вместе с внуком, но тут они проснулись, прошел шепоток по комнате. Полина завертелась на кухне, затопила печь и стала готовить еду на завтрак и впрок.

Миша вышел посмотреть двор. Месяц над домом осветил хмурые постройки. Двор устроен по-хозяйски: хлев, в котором бодствовала пеструха, за загородкой овцы, непрерывно жующие жвачку, тут же под навесом сено, заготовленное на зиму для скотины, кизяки для отопления дома. Правда, забор вокруг дома местами покосился, требовал ремонта. Снег на крышах и во дворе — почерневший, грустный, ожидает наступления весны.

Появилась на крыльце Полина, пылая румянцем, и позвала Мишу.

— Я сейчас, — сказал Миша, смел снег с ног и вошел в избу.

По комнате бегал Борька, но, увидев чужого дядю, прижался к бабушке.

— Здравствуйте, мил человек, — взаимно слегка поклонились гость и хозяйка. — Проходите, не стесняйтесь, мы живем втроем. Слушаем передачи радио, по которому Левитан говорит о делах наших на фронте. Трудно жить без кормильца, сынок. Но Аркадия нам не вернуть, приходится уповать на бога, чтобы как можно меньше было смертей. Растим, лелеем нашего Борю, сыночка его, пока еще он мал, но, думаю, что воспитаем достойного преемника.

— Мама, Миша и ты, сынок, идите кушать, завтрак готов, — окликнула Полина.

Все помыли руки и сели за стол.

Полина, раскрасневшаяся около жарко натопленной печи, орудовала кочергой, разбивая догоравшие головешки. Затем поставила на стол довольно большую сковородку жареной картошки с запеченными галушками и горшок с молоком. Хлеба, к сожалению, не было. Поели вкусно, сытно. Молча. Все благодарили Полину за завтрак.

Завязался разговор у Миши и Галины Николаевны. Она расспрашивала, откуда он родом, о родителях, где получил ранение.

— Миша, почему ты не поехал домой?

Этого вопрос Миша, естественно, ожидал, и ответ надо было дать честный.

— Галина Николаевна, вы мне задали нелегкий вопрос, я сам сомневаюсь до сих пор, правильно ли я поступил. После тяжелого ранения во мне проявились ярость и жажда мщения. Военкомат действительно говорил, что в школах нужны бывшие военные специалисты для обучения старшекласников военному

делу и физкультуре. Обуял меня страх встречи с близкими мне людьми. Вы сами видите, ранение у меня серьезное, девушке моей вряд ли нужен одноглазый мужчина, отец и братья живут у старшего брата отца, своего дома у них нет, они его продали, боясь, что содержать не смогут. Обзаведусь хозяйством, возьму отца и братьев сюда, к себе.

Миша поправил ремешок на раненом глазу, слегка сморкнулся, вытер лицо и сказал:

— Галина Николаевна, Полина, спасибо вам за угощение, мне пора.

В коридоре у вешалки Миша с Полиной зашушукались. Галина Николаевна с Борей ушли в свою комнату.

Полина, подойдя поближе к Мише, тихо сказала:

— Подождите, я вас провожу.

— Полина, спасибо тебе за тепло очага, но я надеюсь, что это не последняя встреча. Провожать меня не надо. Если ты не против, я зайду за тобой вечером. Сегодня, говорят, будут в клубе показывать хорошее кино, «Александр Пархоменко».

— Ладно, Миша, не забудь, буду ждать.

К вечеру стало морозно, снег нещадно скрипел под ногами, довольно ярко светила луна, а в небе мерцали далекие холодные звезды.

Миша забежал за Полиной. Она уже ждала его... В клубе народу было достаточно много, крутился движок Лб, который вырабатывал электроэнергию для работы кинопроектора и освещения клуба. Балагурству местных ребят не было предела. Они радовались, что горел электрический свет, вели себя шумно: «Держите меня, держите, а то меня земля не держит». А другие тут же подхватывали: «Приехали из области, разбирать подлости». Это кричал Колька Вольнов, второгод-

ник и большой озорник и хулиган. Он мало интересовался учебной, но за ним всегда следовала большая ватага его «соратников». Учителя с ним много тетешкались, но нужного эффекта не было. О подлостях Колька говорил правильно, так как в ряде случаев отдельные граждане гнали самогонку и спаивали слабых на выпивку. Но время было суровое, пьянство пресекали, самогонщиков наказывали.

Погас свет, началось кино. Прижавшись друг другу, сидели Миша и Полина. И даже когда включился свет, они вышли, прижавшись друг к дружке.

Миша не знал, как начать разговор на тему о своей затаенной любви к Полине, как сделать предложение в такой щекотливой ситуации. Ведь одному молодому человеку сложно: топить, готовить обед, убираться. А Полина — женщина опытная, с понятиями о житейских сложностях, как у Миши.

Шли молча, только снег скрипел под ногами. На улице было морозно, а Мише показалось, узковата тропинка и даже жарковато. Полина тоже волновалась, думая, удобно ли говорить свои мысли вслух. Она ведь давно влюбилась в Мишу. «А почему бы не влюбиться, парень самостоятельный, сразу показал себя на заготовке дров, беря самые тяжелые работы».

— Миша, может быть, нескромно мне первой тебе сказать, что я тебя полюбила.

Короткая пауза. Только снег стонет, как разошедшийся в стороны баян.

— Я в тебя, пожалуй, пораньше влюблен, — ответил Миша, — только смелости не хватало сказать об этом.

— Выходит, сердце сердцу весть подало, любовь с первого взгляда, — с волнением выговорила Полина.

— Полина, а ты не пожалеешь, что выйдешь замуж за увечного, у меня ведь глаза нет, а ты красавица. Будешь жить с одноглазым?

— Миша, не переживай, закажешь протез и будешь выглядеть вполне нормально.

— Мне протез уже делают, не знаю, я волнуюсь, как я буду с искусственным глазом.

— Все будет, Миша, хорошо, не волнуйся, я ведь сказала, что ты мне нравишься. А это — главное!

Миша обнял ее и нежно поцеловал. Полина, растерянная, прижалась к Мише и всплакнула то ли от радости, то ли от того, что нет мужа Аркадия в живых, которого она тоже очень любила. И вот теперь, получается, вспомнила.

— Придем домой и сразу скажем маме, что мы поженимся, это для нее будет большой сюрприз.

Но времена трудные, не до свадьбы. И Миша просто перешел из своего дома к Полине. Согласие на вселение дала Галина Николаевна, которая находилась в сомнениях, размышляла над тем, что происходит в доме, в семье, судила, рядила, как привык-

нет Борька к новому человеку. Он ведь не знал своего отца, просто вообще не видел, поэтому ему сказали, что приехал папа. Он свои чувства еще выражать не умел, просто стал обращаться к Мише, называя его папой.

Так они и жили.

Трудны военные годы. Весной — огород: картошка, просо, много овощей, капуста, помидоры, тыква, свекла. Летом заготавливали сено, дрова, приводили все домашнее хозяйство в порядок. Миша и Полина дружно работали в школе и дома. Благо земли — много. Председатель колхоза разрешал сажать всем на свободных землях. Голодно. Нужно как-то выживать.

Миша обустроил территорию вокруг школы, привлекая старшеклассников. Сделали волейбольную площадку, поставили турник, брусья, устроили плац для строевой подготовки. Оборудовали тир для стрельбы из малокалиберной винтовки. Дисциплину он в своих мозолистых руках держал крепко, но с уважением относился к ученикам. Они тоже его не подводили, учились с особым усердием. Проявление

Мишей заботы и тревоги за ребят вызывало с их стороны ответное уважение. Теперь пришло время защищать Родину — уходили его питомцы не в мирное время, а на войну.

Сколько он подготовил ребят к военной службе за годы войны! Об этом хорошо знают в военном комиссариате района. Его работа была не раз отмечена грамотами, благодарностями из военкомата и отдела образования. Как, говорится, трудно в ученье — легко в бою.

Полина училась, работала в школе, да еще на ее плечах было домашнее хозяйство. Тяжко!

Никто не сидел сложа руки. Пенсионерка Галина Николаевна нянчила внука, боялась его отдавать в ясли, чтобы не одолевали болезни. Когда он подрос, Галина Николаевна решила определить его в детский сад, чтобы Боря с малолетства набирался ума-разума. Там игры, грамота, музыка, ему это будет очень полезно. Она говорила: «Я по возможности буду заниматься домашним хозяйством».

Продолжение следует.

г. Калуга



Валерий ИЛЬЧЕВ

Валерий Ильичев родился в Москве в 1939 году. В 1956 году поступил на службу в органы милиции, в которых проработал до 1996 года. Значительный опыт работы в уголовном розыске позволил В. Ильичеву детально изучить психологию представителей криминального мира и тайные механизмы подготовки и совершения преступлений. Литературную деятельность В. Ильичев начал в 1966 году. Его рассказы печатались в журналах «Советская милиция», «Социалистическая законность», «Сыщик России», «Человек и закон», газетах «Щит и меч», «Петровка, 38», «Вечерняя Москва», «Московская правда». В издательствах «Эксмо», «Вагриус», «Олимп» опубликованы его повести «Перстень с печаткой», «Эlegantный убийца», «Псих против мафии», «Гильотина для палача» и ряд других.

На страницах журнала «Юность» в последние годы печатались такие произведения Ильичева, как «Ставка на зеро», «Тайна “Семи грехов”», «Страсти сыщика Перова», «Похождения “Подмигивающего призрака”», «Агентурный роман», «Схватка бульдогов под ковром», «Кармическое погружение», «Страсти по изумрудной броши». Надеемся, что новая детективная история от Валерия Ильичева вас обрадует, уважаемые читатели.

НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Бог попускает человека падать в грехи из гордости, самомнения, самонадеянности.

Святитель Феофан Затворник

ПРОЛОГ

Я — старый московский дом, построенный в начале двадцатого века в тихом переулке рядом с Арбатом. Щербины и трещины на ступенях моей лестницы напоминают морщины на лице много повидавшего на

этом свете ветерана. Я стал невольным свидетелем чужих человеческих судеб. Мои обитатели здесь рождались, вырастали, производили себе подобных и навсегда покидали это дорогое их памяти место. Я знаю их

тайны, сокровенные желания, добрые и дурные поступки и завершение их земного существования. О многих из них уже никто и никогда не вспомнит, словно их и не было на этом свете. Но для меня они вечно живые.

В нынешние времена на месте снесенных старых строений возводят новомодные, приносящие прибыль хоромы. Возможно, когда-нибудь придет и мой черед. И потому я спешу поведать яркие истории судебных моих жильцов, за которыми мне довелось с сочувствием наблюдать на протяжении целого века.

Итак, я начинаю.

ГЛАВА 1. ЗОЛОТОЙ КАКАДУ С БРИЛЛИАНТОВЫМ ГЛАЗОМ

Из дверей трактира вывалился пьяный мужик в картузе и, не удержав равновесие, неловко упал на бок. Витька дернул приятеля за рукав:

— Не робей, Сема. Это место не самое худое в Москве. Иди за мной. Нас уже заждались.

Семен Вихровский брезгливо обошел захрапавшего во сне мужика и вошел следом за приятелем в дешевое питейное заведение. Их обдало смесью запахов водки, щей и селедки с луком. Витька уверенно направился в угол трактира и присел за столик к плечистому человеку с тонкими усиками на широком скуластом лице. Тот недовольно поморщился:

— Ты, Дутый, опоздал почти на полчаса. Да еще явился с незнакомым мне фраером. А я не люблю игру с неизвестным мне джокером. Времена ныне смутные. Давай излагай свое дело.

— Извини, Фома, но не я банкую. Мой приятель с боку. Вот у моего дружка Семена нужда в фартовом человеке возникла. Я согласился свести его с тобой. Может

быть, и присоветуешь человеку что-нибудь дельное.

— Прежде чем толковать о делах, представь мне паренька. Он явно не нашего поля ягода: на студента-ученого смахивает. Где вы снюхались?

— Да жили по соседству, тут недалеко. Моя мамаша его бабке княгине белье стирала.

— Значит, Сема, ты из богатого сословия будешь. Как же тебя, буржуа недорезанного, новая власть в живых оставила?

— Не меня одного. Вон и вы вместо цугундера без всякой опаски водку распиваете в центре Москвы.

— Надо же, какой колючий паренек попался! На первый взгляд и не скажешь. А не боишься меня обидеть? Ведь, чай, не от смелости, а от неопытности свой нрав проявляешь. Не научился еще беду печенкой чуют. А все-таки растолкуй, как уцелеть сумел. А не то я подумаю, что ты по указке уголовного розыска ко мне подослан.

— Нет, я сам по себе. До революции гимназию окончил и первый курс университета. На юриста учился. После переворота взял меня к себе в контору дальний родственник папаши моего покойного. Я человек грамотный и книги учета у него веду. А уцелели мы с бабулей Глафирой Михайловной из-за ее племянника, который у товарища Троцкого в гражданскую войну как военспец в штабе служил.

— Похоже на правду. Ну и зачем ты своего приятеля, известного щипача-карманника Витьку Дутого, свести нас попросил?

— Мне деньги срочно понадобились. А без посторонней помощи их у любимой бабули

княгини Вихровской не забрать. Но прежде дайте слово, что поделим все по-братски.

— Это как в старой блатной песне «весело было нам, все делили пополам»?

— Нет, я предлагаю вам четверть от стоимости бабкиных золотых украшений и бриллиантов.

— Не похоже на справедливый дележ! Ты только наколку на гоп-стоп дашь, а весь риск на нас возложишь.

— Да никакого риска нет. Мне, как единственному наследнику, и так все семейные украшения по закону достанутся. Только вот ждать я не могу.

— А не боишься, что я тебя обману и всю добычу себе заберу?

— Так я сначала от вас хочу обещание услышать. Дутый сказал, если поклянетесь честным воровским словом, то обещание выполните. Иначе свой авторитет потеряете.

— Это он верно сказал. Только ведь я вор, а не мокрушник, чтобы старуху убивать.

— Но у меня и в мыслях подобного намерения не было. Глафира Михайловна ко мне всегда с добром относилась. После смерти отца я подростком часто у нее в имении гостил. Старуха человек весьма забавный и трогательно смешной. Она очень любит вспоминать, как молодой девушкой в 1870 году на водах в Германии встречала Мартынова, убившего на дуэли Лермонтова.

— Так сколько же ей сейчас лет, если она убицу поэта живьем наблюдала?

— Семьдесят три года. И Мартынова она встречала в двадцать лет. Сдавать понемногу стала старушка: на сердце жалуется. Только со своей радостной непо-

средственностью она еще лет десять протянуть может.

— Ты вместе с ней живешь?

— Нет, у меня своя комната на Самотеке имеется. Раньше вся ее квартира нашей семье принадлежала. Но потом власти уплотнили дворян, и соседние комнаты победивший пролетариат занял.

— А о золоте и камушках откуда знаешь?

— Сама старуха и сказала с год назад. Из прежнего богатства она сумела утаить часть от большевиков. Обещала, что я после ее смерти в нужде прозябать не буду. Бабуля мне даже показала шкатулку со сбереженными украшениями. Там только золотых цепочек штук пять я видел.

— По этому поводу хороший анекдот расскажу. Мальчик спрашивает у отца: кто такой пролетариат? А тот объясняет, что это передовой класс, освободивший народ от цепей, и именно поэтому их мама не носит больше на шее толстую золотую цепочку. Ладно, шутки в сторону. Знаешь, где старуха хранит богатство?

— В том-то и дело, что нет.

— И что ты предлагаешь?

— Надо прийти к ней под видом чекистов, предъявить фальшивый ордер на обыск и потребовать выдать согласно указу советской власти все имеющиеся ценности.

— Сам придумал или услышал от кого? У нас, у фартовых людей, такой фортель разгоном называют. Думаешь, сработает?

— Должно. Старуха панически напугана слухами о зверствах чекистов и верит, что перед расстрелом ее отдадут на растерзание толпе пьяных солдат. Так что предпочтет добровольно расстаться с цен-

ностями и избежать мучительной смерти.

— Пожалуй, дело может выгореть. Вон, видишь, двое парней сидят за крайним столиком? Это мои люди. Переодену их в кожанки, пусть повесят маузеры на пояс. С их неприветливыми лицами вполне сойдут за суровых чекистов. Только для страховки документ нам нужен. Ты в своей конторе напечатай на машинке ордер и поставь любую круглую печать. Старуха вряд ли станет внимательно читать документ и сразу поверит в законность нашего визита. Вот, пожалуй, и все. Когда на дело пойдем?

— Завтра днем. Я сегодня все подготовлю.

— Здорово ты спешишь. Объясни причину.

— Девушка у меня есть. Полиной зовут. Я люблю ее безумно. Но она не хочет выходить замуж за бедняка. Жалованье у меня и вправду небольшое. К тому же из-за дворянского происхождения я лишен прав и надежд на будущее не имею. Вся надежда, что дорогие бриллиантовые серьги сумеют ее переубедить.

— Значит, из-за бабы не брезгуешь ограбить родную бабулю?

— Мне ничего не остается делать. Соперник у меня появился, Толька Хватов. Он по торговой части служит и навар хороший имеет. Вот Полина ему предпочтение и оказывает. Я объявил о будущем богатом наследстве, но она и слышать ничего не желает. Ей с Хватовым сытая жизнь уже обеспечена. Вот и хочу на свою сторону весы фортуны склонить. За бриллиантовые серьги она наверняка ко мне переметнется.

— Но ты, парень, меня удивляешь! Если девица позволит тебе лечь с нею в постель только за дорогую бирюльку, то толку от семейной жизни не жди. Предаст тебя при первом удобном случае.

— Да я жизни без нее не мыслю! Неужели непонятно?

— Ну, дело твое! Раз решил, то давай обдумаем, как действовать завтра будем.

— Я вас доведу до двери бабули, а сам поднимусь этажом выше. Вы к ней зайдете. Я подожду, когда вы вынесете шкатулку с украшениями. Там же в подъезде разделим добычу и разбежимся.

— Значит, все-таки опасаясь обмана?

— Нет, я же отлично знаю содержимое шкатулки. Так что рассчитаемся по-честному.

— Ну и ладно. Значит, завтра на Сенной площади встретимся в полдень. Не забудь принести бумажку со штемпелем для устрашения бабули. Не хочу, чтобы она при нашем визите шум на весь дом подняла.

Покинув трактир, Семен с Дутым пошли по Арбату в сторону Александровского сада. Дутый, шепелявя выбитым в драке зубом, начал уверять приятеля в верности обещания, данного авторитетным вором:

— Ты не сомневайся. Раз Фома в моем присутствии обещал честно поделить улов, то не подведет. Он старый сиделец. Попал в Сибирь, когда нас на белом свете еще не было.

— Его действительно Фомой зовут?

— Нет, это его кликуха за знатное владение ломиком при взломах дверей. Он роста небольшого, но сила в руках немереная. Грецкие орехи пальцами шелушит, как ты семечки. А к подлинному

его имени интерес проявлять опасно.

— А откуда ты его знаешь?

— В предварилковке вместе сидели с год назад. Там за решеткой и познакомились. Я бы к нему и близко не подошел, если бы не твоя просьба помочь. И сам не знаю, зачем по доброте душевной в чужое опасное дело влез.

— Ладно, Дутый, не скули. Я же обещал расплатиться на следующий день после удачного визита к бабуле. Обижен не будешь.

— А для продажи украшений у тебя барыга есть на примете?

— Знаю я одного мутного типа. Он, похоже, за кордон уйти намылился. Скупает за хорошую цену бриллианты и золото. Так что долго тебе ждать не придется. Получишь за услугу обещанный мной магарыч.

— Ну и ладно! Тогда и будем квиты. Может быть, завтра с тобою к княгине пойти?

— Незачем лишний раз нам вместе мелькать. Фальшивых чекистов вполне хватит.

— Ну, как знаешь, буду ждать от тебя вестей. А пока прощай, мне тут кое-куда забежать надо.

Покинув приятеля, Дутый расчетливо прикинул: «Завтра спрячусь в подъезде напротив дома, где живет княгиня. Надо убедиться, что все прошло гладко. Если Фома оставит после налета Семена в живых, то востребую у своего приятеля награду. Но если Фома вместе со старушкой и внука пришьет, то уеду на время из Москвы от греха подальше».

И Дутый направился к себе домой в подвал в Трубниковский переулок.

Накануне налета Семен почти не спал, беспокоясь о дележе сокровищ княгини: «Шкатулка доверху набита драгоценностями. Сверху лежит булавка для галстука с изображением золотого какаду с крупным бриллиантом вместо глаза. Эта цацка мне приглянулась, и я возьму ее себе. То, что дорогие серьги предназначены Полине, я бандитов предупредил. Придется отдать им пару цепочек, браслет, перстень и часть золотых червонцев. Пусть подавятся количеством. Лишь бы завтра все прошло гладко».

Встретившись с бандитами в назначенное время, Семен повел их к богатой родственнице. Недалеко от дома жертвы Фома его остановил:

— Ты, Сема, здесь притормози. Нам засвечиваться перед жильцами вместе с тобою незачем. Ты войдешь в подъезд минут через десять после нас. Поднимешься и будешь ждать, когда выйдем. А теперь давай свой ордер на обыск и изъятие ценностей в пользу пролетарской власти.

Взяв напечатанный на машинке текст, Фома пристально всмотрелся в отпечатки печати и недовольно поморщился:

— Грубо сработано. Ну ладно, авось старушка не разберется. Ну, мы пошли.

Фома и не подозревал, что, опасаясь за собственную жизнь, за ним из подъезда соседнего дома наблюдает Витька Дутый.

В начале для налетчиков все складывалось удачно. Хозяйка, напуганная видом вооруженных людей в кожаных куртках, впустила их в квартиру и начала умолять о пощаде. Но ее жалобные ссылки на нищету грозно прервал невысокий «чекист»:

— Ты, старорежимная гражданочка, на жалость не дави! Если добровольно сдашь награбленные у простого народа ценности, то оставим тебя на свободе.

— Так у меня ничего не осталось! Покойный муж все спустил на бегах и в карты. Оставил меня ни с чем. Я последние ложки с молочником собралась продать, чтобы хлебушка купить. Если желаете, можете их забрать, а ничего другого в доме не осталось.

— Ты, мамаша, из благородных будешь, а врешь, как наглая нэпманша во время визита фининспектора. Не вынуждай нас к жесткости. Если сейчас найдем ценности, то пойдешь под расстрел как саботажница. Можешь ознакомиться с ордером на обыск. Все как положено, с подписью и печатью.

Фома помахал перед лицом хозяйки свернутой вдвое бумажкой. Но вопреки ожиданиям этот его жест произвел обратный эффект. Старухе привиделось медленное угасание от голода в холодной квартире, и она неожиданно ловко выхватила угрожающий ее благополучию документ. От отчаяния княгиня, не помня себя, разорвала предъявленный ей «ордер», бросив обрывки под стол. На мгновение ей показалось, что она спасена: «Сейчас чекисты поедут за новым документом, и я успею вынести из дома драгоценности и перепрятать их у внука Семена».

Но уже в следующий момент старуха осознала тщетность своих надежд. Предводитель «чекистов» схватил ее за худые плечи и начал злобно трясти:

— Ты, старая ведьма, и впрямь злейший враг пролетариата. Нам власть предоставила право к таким, как

ты, применять пытки. Давай ценности, а не то пожалеешь!

При этих словах поверившая в угрозу женщина резко пошатнулась и медленно начала оседать на пол. Фома попытался подхватить и поставить хозяйку на ноги, но старуха была мертва. Бандит повернулся к сообщникам:

— Не вовремя отдала черту душу барынька. Мы не знаем, где искать рыжье с камушками. Зовите сюда любящего внука. Может быть, он подскажет, куда старуха шкатулку могла спрятать.

Сообщник Фомы приоткрыл дверь и окликнул Семена. Предчувствуя беду, молодой человек с опаской вошел в квартиру. Увидев неподвижно лежащее на полу тело княгини, испуганно взглянул на Фому. Тот отрицательно покачал головой:

— Зря ты так подумал. Бабуля сама загнулась от слабого сердца. Теперь помоги найти шкатулочку. Если без украшений уйдем, то напрасно на душу лишний грех взяли.

— Год назад она драгоценности из нижнего ящика комода доставала. Шкатулка внутри маленькой подушечки хранилась.

— Ну-ка, погляди сам. Может быть, мадам там ее и держала?

Трясущимися от волнения руками Семен выдвинул ящик комода и, торопливо выбросив стопку постельного белья, вытащил снизу небольшую подушку. Расстегнув наволочку, он из вороха перьев торжественно извлек резную шкатулку. Открыв крышку, еле сдержал вздох разочарования: «Здесь нет и половины того, что показывала мне бабуся. Куда исчезло остальное богатство? Не могла же старуха

за несколько месяцев столько продать. Значит, перепрятала часть в другое место. Но мне это только на руку. Откуплюсь от бандитов меньшей долей, а за остальным вернусь в квартиру позднее».

Фома грубо выхватил шкатулку из рук Семена и высыпал содержимое на стол:

— Негусто, парень! Я рассчитывал на более крупную добычу. Но не будем терять времени, поделимся и разбежимся. Говори, на что претендуешь?

— Вот этого попугая себе возьму. И серьги мне понадобятся для Полины. На свадьбу и прочие расходы — часть золотых червонцев. Ну и на добрую память оставлю фамильный перстень с вензелем герба князей Вихровских. А золотые цепочки, колечки, браслет и с пяток царских червонцев ваши.

Фома задумчиво посмотрел на наводчика: «Он не верит в естественную смерть старухи и, опасаясь за собственную жизнь, предлагает справедливый дележ. Себе оставляет побрякушки красивые, но приметные при сбыте. Это меня устраивает. Поскольку убийства не было, а паренек является законным наследником, то оставим его в живых. Риска практически никакого».

Прервав затянувшееся молчание, Фома сгреб свою часть драгоценностей в карман. Затем кивнул Семену.

— Пора уходить. Нечего тебе здесь задерживаться.

Бандиты и Семен выскользнули из квартиры и спустились вниз. На улице поспешили разойтись. Удаляясь от дома старушки, Семен не заметил, как из подъезда дома через дорогу вышел Витька Дутый и незаметно проследил за ним до середины Арбата.

Убедившись, что налетчики оставили приятеля в живых, прекратил наблюдение и направился к себе домой. «Вроде пронесло. Интересно, сколько Семен мне отвалит с полученного богатства? Надеюсь, не обделит по-дружески».

А Вихровский, приехав в свою квартиру на Самотеке, начал метаться в поисках тайника для приобретенных сокровищ. Наконец, решившись, он засунул драгоценности за подкладку мягкого кресла. «Укрытие временное и ненадежное. Потом перепрычу. Завтра первым делом забегу к Полине, а потом к скупщику-нэпману и встречусь для расчета с Дутым».

Едва дождавшись утра, Семен аккуратно завернул в плотный лист бумаги бриллиантовые серьги. Отдельно положил для продажи в шелковый табачный кисет золотые червонцы. Перед тем, как выйти из дома, остановился в нерешительности, опасаясь за свое богатство: «Нероен час, обнесут меня на улице мазурики или налетчики-прыгуны отнимут сокровища. Надо хоть чем-нибудь вооружиться».

Семен взял со стола и засунул за брючный ремень под пиджак острый старинный нож для разрезания бумаг с фамильным гербом князей Вихровских. Почувствовав себя увереннее, покинул квартиру. Теперь все его мысли занимала Полина. Доехав до ее дома, поднялся на второй этаж и нетерпеливо постучал в дверь. Но вопреки его ожиданиям дорогой подарок не произвел на Полину ожидаемого впечатления:

— Подумаешь, сережки с камушками преподнес. Да при нынешних ценах мы их

проедим за полгода. А дальше что? Мне нужен муж с должностью и стабильным пайком в придачу. А ты носи свое подношение другой легковой девиче.

Семен понуро направился прочь. «Зря бабу Глафиру загубил. Не любит меня Полина. Но так просто я не сдамся. Продам червонцы нэпману, осыплю Полину щедрыми подарками и добьюсь успеха».

И Семен поспешил к скупщику драгоценностей. Тот встретил Вихровского неприступно. Стараясь сбить цену, стал нудно объяснять, что при пересечении границы тяжелые царские монеты трудно спрятать, а вот бриллианты легки и неприметны. И Семен едва удержался от желания предложить покупателю серьги. И лишь надежда, что Полина все-таки согласится принять их в подарок, заставила воздержаться от необдуманного поступка.

После недолгих торгов Семен вынужден был согласиться на низкую цену за золотые червонцы. Выйдя от бессовестного покупателя, Семен в ярости ударил ногой по каменному столбу для привязки лошадей. Почувствовал боль в ступне, зло выругался: «Этот кровосос заплатил меньше половины суммы, на которую я рассчитывал. Все у меня неудачно складывается в жизни. Теперь еще надо заскочить к Дутому и расплатиться с ним. Но после убыточной продажи его долю придется значительно уменьшить».

Едва Семен позвонил в квартиру приятеля, на пороге появился Дутый. Желая поскорее получить вознаграждение, пригласил спуститься в полуподвал дома. Но когда Семен отсчитал и протянул несколько

купюр, Дутый недоуменно пожал плечами:

— И это все?!

— Произошла накладка, нэпман резко цену сбил. Сказал, что червонцами уже достаточно затоварился. Пришлось еще его уговаривать на покупку. Я тебе десятую часть даю, как обещал. После продажи других украшений расплачусь дополнительно.

— Так дело не пойдет! Я не позволю мне подкидывать крохи с барского стола. Сейчас не старорежимное время. Так что, Сема, если нет денег, то гони сюда часть украшений. Я сам продам и с тобой честно рассчитаюсь. Есть у меня на примете один человек.

— У меня с собой драгоценностей нет. Они в тайнике спрятаны. Придется тебе подождать. А пока бери что даю, пока не передумал.

— Вот как ты заговорил?! Когда меня просил о помощи, то сулил золотые горы. А сейчас мутить воду начинаешь. Да и не верю я тебе: наверняка с собой кое-что в клюве принес и в кармане заныкал. Дай-ка я тебя обшмонаю. Все, что найду, — мое!

И Витька, резко распахнув пиджак приятеля, ловко запустил руку в нагрудный карман, где лежали серьги. Нащупав сверточек с украшениями, Дутый радостно потянул его вверх. Семен резко рванулся в сторону. Но попытка освободиться не получилась. Витька всегда был сильнее приятеля. Возможность лишиться дорогого подарка для невесты привела Семена в ярость. Не помня себя, Семен выхватил из-за пояса нож и с силой ударил им приятеля в грудь. Глаза Дутого удивленно расширились, и он начал медлен-

но оседать на каменный пол. Семен сделал попытку вытащить клинок, но лезвие крепко застряло между ребрами.

Наверху хлопнула дверь квартиры, и женские каблучки дробно застучали по ступеням, приближаясь к месту трагедии. Семен, оставив нож в ране, в испуге выскочил на улицу. Пробежав по переулку, свернул за угол и, путая следы, несколько раз пересек Арбат. В районе Собачьей площадки остановился и перевел дух. «Как все глупо получилось. Если Витька выживет, то меня не выдаст. Не по воровским понятиям дружков закладывать. А если помрет, то вообще опасаться нечего. Меня никто вместе с ним не видел. К тому же он сам виноват, нагло посягнув на чужое добро. Теперь не получит ничего из спрятанных в кресле украшений, за сохранностью которых в моем доме бдительно наблюдает бриллиантовым глазом золотой какаду».

Домой идти не хотелось, и Семен отправился в коммерческий ресторан, чтобы заглушить тревогу от кровавых событий. Начинало темнеть, когда Вихровский вернулся домой. Едва он открыл дверь, как крепкие руки схватили его и прижали к стене. Невысокий, в длинном плаще пожилой человек зажег настольную лампу и направил Семену в лицо:

— Вы Вихровский? Отвечайте быстро!

И Семен обреченно догадался: «Это сыщики из уголовного розыска. Быстро же они меня нашли! Но вот по какому поводу: из-за бабули или Витькиного пореза? Пока помолчу, пусть сами вопросы задают!»

Сыщики, обыскав Семена, обнаружили серьги и день-

ги и положили их на стол. Затем старший по возрасту приступил к допросу:

— Присядьте, Вихровский. Я вижу, вы предпочитаете расположиться в удобном кресле. Но беседа не будет долгой. Разрешите представиться: Жуковский Герман Андреевич, служу по сыскной части уже четверть века. Поскольку политическими противниками власти не занимался, то меня пригласили в советники уголовного розыска. Передаю опыт молодым сотрудникам. Вас удивляет, как мы так быстро разыскали вас — убийцу Дутого и похитителя драгоценностей у богатой родственницы? Это в рассказах о Пинкертоне все сложно и запутанно. А у нас, русских сыщиков, чем проще, тем надежнее. Из тела Дутого извлекли нож с гербом Вихровских. Сразу поехали к княгине домой и возле ее трупа обнаружили разбросанные перья и пустую наволочку. А на полу под столом нашли фальшивый ордер на обыск с печатью конторы, где вы, молодой человек, изволите трудиться. И вот мы здесь.

— Этих ваших умозаключений явно для суда не хватит. Я, между прочим, сам на юриста учился и знаю о презумпции невиновности.

— Если, по-вашему, доказательств пока мало, то прибавим для весомости. Мать Дутого сказала, что он ждал своего приятеля Вихровского. В груди ее сына застрял нож с гербом вашей семьи. У вас при личном обыске нашли бриллиантовые серьги, принадлежавшие княгине. Насчет смерти Глафиры Михайловны у нас

претензий, похоже, не будет. Сама, божий одуванчик, от болезни сердца скончалась. Заметьте, я пока не интересуюсь, с кем вы к ней в квартиру заходили. Возможно, что с Дутым, с которым украшения не поделили. Полагаю, часть сокровищ у вас здесь, в комнате спрятана. Сами укажете тайник или нас обяжете искать?

— Это ваша работа, и тут я вам не помощник.

— И то верно! Тогда будьте любезны, встаньте и позвольте нам в кресле покопаться. Давайте, не медлите! Нам еще протокол составлять, а время уже позднее.

Вихровский обреченно повиновался. Сыщик ловко ощупал сиденье и обивку кресла. Нащупав драгоценности, торжественно их извлек и положил на стол. Один из молодых сыщиков восхищенно присвистнул:

— Вы словно фокусник в цирке из шляпы кролика достали. Как смогли догадаться?

— Это было нетрудно. Когда я предложил Семену присесть, он не воспользовался стоящим рядом с ним стулом, а направился к расположенному в дальнем углу креслу. Этим и выдал возможное место тайника. Советую на будущее во время обысков всегда, как в детской игре в «холодно-горячо» наблюдать за реакцией арестованного на ваши действия. И он сам невольно подскажет, где надо искать улики.

Осознание провала всех своих жизненных планов оглушило Семена. Он с трудом воспринимал происходящее вокруг. Пока сыщики составляли протокол изъятия ценностей,

Вихровский не мог оторвать взгляда от заколки для галстука. Ему казалось, что золотой попугай внезапно ожил и своим бриллиантовым взглядом смотрит с жалостью на человека, напрасно загубившего свою жизнь в погоне за чужим богатством.

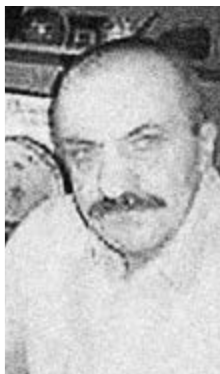
* * *

Никто Семена больше никогда не видел. По слухам, Вихровский сгинул где-то в Сибири. И это неудивительно: не приспособлен был молодой человек к суровым испытаниям.

А спрятанная старухой часть сокровищ из шкатулки еще долгие сорок лет хранилась в тайнике, оборудованном ее мужем в начале века. Лишь в 1963 году новый жилец, перебирая паркет, наткнулся на клад и присвоил себе. Не обладая талантом коммерсанта, сбыв драгоценности по бросовой цене спекулянтам возле комиссионного магазина. Но легко доставшиеся деньги ему на пользу не пошли. Новоявленный богач быстро спился, потеряв семью и работу. Через семь лет он умер от цирроза печени. Так что сокровища княгини никому на этом свете не принесли пользы.

Закончилось время нэпа. Со времен трагических событий, сгубивших княгиню, Семена Вихровского и его приятеля Витьку Дутого, прошло пятнадцать лет. И в 1938 году с моими жильцами с третьего этажа произошла уже другая криминальная история. Ее мне тоже хочется поведать.

Продолжение следует.



Алексей КУРГАНОВ

Алексей Курганов, прозаик, 54 года, образование высшее медицинское.

Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Воин России», «Северная Аврора» (Петербург), «День и Ночь» (Красноярск), «Сельская новь» и других. Неоднократный победитель ежегодного творческого конкурса ГУВД Московской области. Участник итогового сборника «Проза-2012» журнала «Стетоскоп» (Франция). В июле 2013 года в издательстве «Серебро слов» выпущен сборник рассказов и миниатюр «Земляки».

Проживет в г. Коломне (Московская область).

РОТВЕЙЛЕРЫ ЗНАЮТ...

МИНИАТЮРА

...и я шепчу дрожащие губами: «Велик могучим русский языка».

Александр Иванов

Вечер. Пивная. Двое сидят за столом и оживленно говорят «про жисть». Судя по пустым стаканам, они уже успешно остограммились, поэтому сейчас не спеша потягивают из кружек пиво. Один, судя по внешнему виду, — заводской работяга. У второго вид потасканно-интеллигентный. Похоже, хлеб свой скорбный добывает в какой-то не самой богатой конторе и не на самой доходной должности.

— Вот ты скажи, Петрович! — горячится работяга. — Цены подорожают или нет? Не, ты скажи! Тока честно!

Интеллигент делает губы дудочкой. Это он так думает. Достойный вид!

— Считаю, что все-таки да, — глубокомысленно произносит он. — Вчера читал в газете: ротвейлеры предупредили правительство — они вынуждены поднять цены.

— Кто предупредил? — вытягивается лицо у работяги.

— Ротвейлеры, — явно смакуя загадочно-красивое иностранное слово, повторяет интеллигент.

— При чем тут ротвейлеры?

— А при том, что они — самые главные специалисты по торговле, — снисходительно поясняет интеллигент.

Ему можно верить. Ему хочется верить. Интеллигент, судя по его осоловелым глазкам, вспотевшей лысине и сизым прожилкам на бугристом носу, знает все, наверняка и на долгие годы вперед.

— Ротвейлер — это собака! — не соглашается с ним работяга, демонстрируя, что он тоже не на помойке найденный, что тоже кое-что значит в этом грустном подлунном мире. — У моей соседки как раз такой! Морда — с самовар, сам —

черный, брюхо — желтое. Злющий! А зубищи какие! Ногу тебе враз откусит! И погремушки до кучи! Даже глазом не моргнет! Зверь, а не собака!

Интеллигент уже понял, что оговорился, что сказал очевиднейшую глупость, — но как же не хочется в этом признаваться! Поэтому он надувает щеки и одновременно опять вытягивает вперед губы. Как это ему удастся? Похоже, специально тренировался!

— При чем тут, Василий, ваш соседский кабыздох, — морщится он. — Ротвейлер — это не только собака. Это сейчас еще и такая современная

модная профессия. Их сейчас много, этих современных и модных. Ротвейлеры, маркшейдеры, роллеры, триллеры, киллеры, бройлеры... Всех и не упомнишь.

Работяга опять хочет возразить, но в последний момент почему-то останавливается, машет рукой (дескать, ну и хрен с ними, с этими ротвейлерами-киллерами-бройлерами!) и снова сладко присасывается к пивной кружке...

Пояснение: ротвейлер — порода собак, ретейлер — человек, который непосредственно продает товар конечному покупателю.



*Алтарь по шпалам
Домой по привычки...*

*Хлещет, хлещет дождь —
Я мокну у твоих ворот.
Ты укроткой в окошке
Смотришь — не идешь.
Мне обидно и тоскливо
За свою судьбу! —
Будто памятник столетний
У ворот стою!
Выйди, выйди
Хоть на часик! —
Посидим в двоим:
И тихонько про березку —
Песенку споем.
Обниму тебя легонько,
Скрою от дождя —
И всю ночь
До самой зорьки
Будишь ты моя!*

*Фурманов Василий Васильевич,
Республика Крым, поселок Зуя**

** Орфография оригинала*

Галка ГАЛКИНА:

Василий Васильевич! Тихонько, легонько — это не наш формат. На приступ женского сердца надо идти решительно и бесповоротно, как в последний раз в жизни! Свободолюбивую женщину Крыма, в жилах которой бурлит «изабелла», крымский портвейн, «древний херсонес», цыганская, русская, украинская и греческая кровь, надо брать под уздцы, как царевну Сююмбике. Только буря и натиск. А все эти песенки про березку оставьте на потом, когда крепость будет взята!

Вот Ваш тезка, писатель Фурманов, описал сложный и противоречивый характер героя граж-

данской войны Василия Ивановича Чапаева, которого замечательно воплотил на широком экране Борис Бабочкин. А Вы да с такой легендарной фамилией антимонии разводите и мерехлюндии.

Негоже, Василь Васильевич, размазней быть. Не то нынче время.

Вперед и с песней!

Константинополь должен быть наш и только наш!

Вспомните классику!

И после Вашего натиска нынешняя Сююмбике пусть попробует только не выйти.

Вынесем вон... вместе с мозгами!

Проказник* ГЕО, человек-танк

РУССКИЕ ТАНКИ

- ❖ Позвонил вчера в собес и на яблоню залез!
- ❖ Позвонил вчера в Урарту, негритята съели парту!
- ❖ Позвонил я какаду, слава маю и труду!
- ❖ Позвонил вчера в горком, глупой алчностью влеком!
- ❖ Позвонил вчера моллюску, съел моллюска на закуску.
- ❖ Позвонил вчера в трамвай, пантограф не разевай!
- ❖ Позвонил вчера в нору, там сидела кенгуру!
- ❖ Зацепил ногой ежа, вдоль по берегу бежа!
- ❖ Подхватил вчера заразу, наступив на дикобраза!
- ❖ Старый выхухоль гулял, выхухлицу обнимал!

PHOTOSTOP



© Фото Игоря МИХАЙЛОВА

* Мужик — проказник, работает и в праздник (народная мудрость).



Фаза месяца:

О! Деревенело!

МАЙСКИЙ ВОДЕВИЛЬ

- * Сцена открывается, массы отрываются!
- * Где-то вечером у касс затесался Фантомас!
- * Как-то вечером в буфете таракана съел в котлете!
- * Ел сегодня фуа-гра, слава Ленину. Ура!
- * Зазвонили вдруг куранты, разбежались демонстранты!
- * Бьют часы мне по макушке за отсутствием кукушки!
- * Лебедь белая летела, утонула и вскипела!
- * Вылез дядюшка Сурок, скушав плавленный сырок!
- * Вышел дядя Улюкай, ты его не окликай!
- * Вышел старый Набиул, на плечах неся баул!

SMS'ка, отправленная в Думу:

Может, про Мурку?



Инна КАБЫШ

Окончание. Начало в № 2, 3 за 2015 год

ДЕТСТВО-ОТРОЧЕСТВО-ЮНОСТЬ

11 августа 1983 года, в 20 часов 20 минут, в роддоме № 19 у молодой четы родился сын. Назвали его, как и было задумано, Павел. В честь Павки Корчагина.

Саша Пухов двое суток просидел под окнами роддома. Узнав о рождении сына, счастливый отец пошел отсыпаться.

В течение следующей недели молодые родители обменивались записками.

В послеродовой палате было двенадцать (!) человек (спустя без малого десять лет, в 1992-м, когда из магазинов исчезнет буквально все и продукты беременным будут выдавать по справке из женской консультации, в моей палате будет всего четыре человека). Таня запомнила двух ближайших соседок: одну — с девочкой Олей, которая все время ела, и вторую — с мальчиком Стасиком, который все время спал.

Паша — смотрел. С первых дней жизни он жадно впитывал мир, в который пришел.

Ребенок органично вписался в жизнь молодых родителей, он не требовал никаких жертв. Таня вернулась в институт, на третий курс, уже через четыре месяца после рождения сына (в ноябре 1983-го), Саша продолжал работать в конструкторском бюро «Восход». Старшее поколение, конечно, помогло.

Сашина мать Лидия Алексеевна сидела с Пашей, когда Таня уходила в институт (25 мая 1980 года, в день нашего Последнего звонка, ей сделали операцию по удалению рака молочной железы; родившийся внук продлит жизнь своей бабушке по отцу на четырнадцать лет).

Танина мать, Зинаида Григорьевна, по-прежнему работала в Общесоюзном доме моделей: у нее была большая зарплата, и она помогала молодым.

1 апреля (через двадцать семь лет этот день станет самым страшным в ее жизни) 1986 года, окончивая пятый курс института, Таня устроилась в Училище прикладного искусства имени Калинина. Здесь в последующие одиннадцать лет она будет преподавать восемь различных предметов, в том числе композицию. Сама художница, да еще и преподаватель, Таня рано заметит изобретательность и трудолюбие своего сына. Даже куличи в песочнице у него получались более «художественными», чем у его сверстников. Из кубиков Паша строил замки, а из магнитной азбуки собирал не буквы, а человечков.

У Тани есть школьная подруга Света. Света моложе на год и замужем за нашим общим с Таней одноклассником Сашей Грязновым. У этой пары тоже есть сын — Вовка. Подруги гуляют с детьми: Вовка еще в коляске, Паша уже пешком. Вскоре Света и Саша разведутся, и Света с сыном переедет на съемную квартиру в «Басстилию» (где когда-то жила я, а теперь живут мать и бабушка Саши Пухова). Сюда в гости к подруге как-то раз придет Таня с маленьким Пашей. Вова Грязнов именно этот день считает днем начала их с Пашей дружбы.

Взрослые, как водится, сидели на кухне, а мальчики играли в комнате. Вдруг Паша предложил построить из стульев космический корабль и полететь на планету Счастья. Это очень напоми-



нает игру маленьких братьев Толстых в «муравейных братьев» и «зеленую палочку». Как известно, старший брат Николай придумал такую сказку: в лесу зарыта зеленая палочка, на которой написано, как сделать всех людей счастливыми. Мальчики Толстые сидели под составленными вместе стульями и мечтали, что когда-нибудь все люди станут «муравейными братьями» (им, наверное, очень нравилась дружная жизнь муравьев в муравейнике).

В игре наших мальчиков я вижу зародыш двух сюжетов: во-первых, «муравейными братьями» станут сами Паша и Вова (они будут дружить до самой Пашиной смерти), а во-вторых, все Пашино творчество, на мой взгляд, — это поиск той самой «зеленой палочки», которая сделает людей лучше, а планету — счастливее.

Я глубоко убеждена, что человек — это то, во что он играет в детстве (об этом моя поэма «Дочки-матери»). И если мальчики разных эпох играют в одни и те же игры, то это вовсе не «странные сближения», потому что это, по слову Достоевского, «русские мальчики».

Как все сознательные родители, супруги Пуховы стремились на лето вывезти своего маленького сына из Москвы.

Первые три лета своей жизни Паша провел в поселке Мурмино под Рязанью в доме прадеда Григория Федоровича Котова. Здесь хорошо было бы сказать, что в этом доме Паша видел иконы своего прапрадеда Федора Матвеевича Котова и они глубоко запали в душу ребенка и повлияли на него как будущего художника. Но, повторимся, жизнь жестче. Иконы были украдены за много лет до рождения Паши.

Однажды в Мурмино, когда ему было два года, Паша потерялся. Его весь день искали всей деревней, а между тем ребенок преспокойно сидел в зарослях гороха, внимательно изучая устройство стручков: его завораживало, что в каждом стручке, как в коробочке, находились горошины.

В Мурмино было хорошо все — воздух, лес, речка, дом, бывший родовым гнездом, — кроме одного: он был далеко (в трехстах пятидесяти километрах) от Москвы. Семья искала что-нибудь поближе. И — счастливый случай! — был найден идеальный вариант: Опалиха.

Опалиха — поселок в двенадцати минутах езды от Москвы по Рижской дороге. Это было очень удобно Тане, Пашиной матери: она могла утром уезжать на электричке в училище, где работала все это время, в том числе на вступительных экзаменах (работа в экзаменационной комиссии хорошо оплачивалась, что было немаловажно для молодой семьи), а вечером возвращаться на дачу к сыну.

К тому же в Опалихе был отдельный — без хозяев — домик с двумя комнатами и верандой. Это тоже было хорошо, потому что в Москве семья жила с родителями Тани и у Саши с тещей начались, как бы мы сейчас сказала, терки, которые со временем перерастут в конфликт. Даже теперь, спустя тридцать лет, оба супруга вспоминают Опалиху как потерянный рай.

А уж ребенок был счастлив абсолютно. На фотографиях этого времени запечатлен чудесный большеглазый мальчик: на скамейке перед домом, в V-образном проеме между березами, в лесу — с грибом в каждой руке, на мостике через заросший осокой пруд.

У ребенка было здесь главное — свобода. Целые дни Паша с соседской девочкой Аней проводил на улице: девочка была настоящим казак-разбойником и как никто вписывалась в мальчишковые игры. Этот рай продолжался около десяти лет. Но, надо понимать, что был он только летом. «Московская» часть жизни семьи была не столь идилличной. Собственно, безоблачно жили только первые четыре года: молодые учились и работали, старшие помогали, малыш рос.

Но, как известно, все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастна по-своему. Трудно сказать, почему начались нелады. Может, потому, что теща была недовольна зятем: она, как большинство матерей, считала, что ее дочь достойна лучшего. Может, потому, что супруги оказались очень разными: Таня — творческая, идущая вперед, Саша — спокойный, не амбициозный. Но сколько причин ни перечисляй, все-таки главная, как и в семье Облонских, была банальная: муж стал изменять.

В 1988 году супруги расходятся (но пока не разводятся): Саша уходит к своей матери, Таня (с Пашей) остается у своей.

На два дома живут два года (при этом лето проводят в Опалихе: она, как скрепа, еще некоторое время поможет семье удержаться вместе).

В 1990-м Таня предпринимает попытку укрепить семью: они с Пашей переезжают к Саше. В ту самую «Бастилию». Здесь, после Таниной «трешки», тесно: в одной комнате живут Сашина мать Лидия Алексеевна и бабушка Раиса Сергеевна, в другой — Таня, Саша и Паша. К тому же Таня чувствует, что у Саши есть другая женщина. Но чего не сделаешь ради ребенка (это проходили тысячи русских женщин). И свекровь уговаривает терпеть: она тоже обожает своего единственного внука.

Однажды Лидия Алексеевна берет Пашу за руку и везет в Большой театр. Здесь работает школа эстетического воспитания: дети поют, танцуют, плавают, рисуют. Паша удивляет всех рисунком «Грустный клоун».

В школе при Большом театре он проучился вплоть до 1990-го, до общеобразовательной школы. Он пойдет в ту же самую, 376-ю школу, где учились его родители.

Первым Пашиным классом будет нулевой, то есть класс для шестилеток. Учителя будут меняться, но отношение к школе у Паши останется неизменным: он ее не любил.

Казалось бы, это была та же самая школа, где учились его родители (и я). На своих местах остались практически все учителя, а наша классная — Жанна Олеговна — стала директором.

Но что-то изменилось. Другим было время, стоявшее на дворе: хмурые девяностые, когда упал престиж образования и культуры. Другими были дети, родители которых металась в поисках заработка: первым было не до учебы, вторым — не до детей.

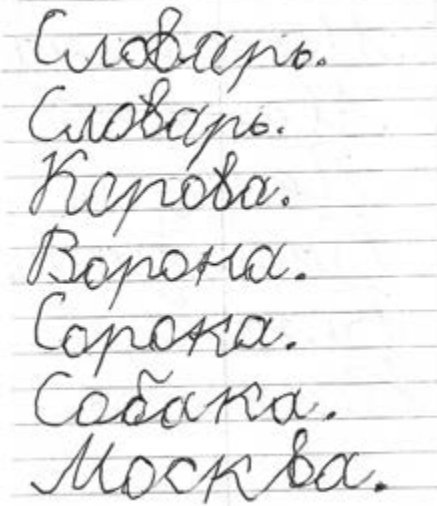
Учился Паша плохо. Учительница размахивала перед матерью тетрадкой, в которой ее сын писал: «лиса — лисята, горшок — горшки, снежок —



снежки». Эти «снежки» бесили учительницу: ей казалось, что ребенок пишет так нарочно: нельзя же в самом деле быть таким тупым. Но Паша не был тупым — он просто жил в своем собственном мире, где слова были, в лучшем случае, на третьем месте — после красок и звуков.

В 1993-м году, после третьего класса, Пашу отправили в пионерский лагерь по путевке от художественного училища, где продолжала преподавать Таня: не все же мальчишке обретаться в патриархальной Опалихе. Через три дня Паша позвонил из лагеря и попросил забрать его домой. Примчавшиеся в лагерь родители нашли сына сидящим на чемодане (как будто он его ни разу не открывал), в пионерском галстуке, с разделочной доской в руках.

Родители вынуждены были наврать начальнику лагеря, что получили вызов за границу, которого давно ждали: не говорить же в самом деле, что Паша все три дня безвылазно просидел в кружке «Умелые руки», так как счел его руководителем, Василия Ивановича, единственно нормальным человеком во всем лагере (тот не орал, не муштровал, не маршировал, а делал красивые вещи и учил этому других: ту самую разделочную доску Паша сделал под его руководством).



Вернувшись домой, пионер Пухов поставил на проигрыватель пластинку с «Лебединым озером» и прослушал ее от начала до конца: так он лечился от засевших в голове звуков горнов и барабанов. Кстати, в это время — с 1992 по 1997-й — он учится в музыкальной школе имени Гедике, куда поступает после школы эстетического воспитания при Большом театре.

В музыкальную школу, на класс фортепиано, мальчика взяли при условии, что мать будет преподавать там ИЗО: времена были торгашеские. Мать доблестно отстоит эту вахту: чего не сделаешь ради любимого сына. Но после пятого класса Паша из музыкальной школы уйдет. Уйдет по двум причинам: во-первых (а может, во-вторых), потому, что учиться станет трудно, а помочь будет некому: бабушка Лидия Алексеевна в 1993 году умрет-таки от настигшего ее рака, а во-вторых, чтобы не быть белой вороной в классе, где никто, кроме него, не занимается музыкой: это считается чем-то постыдным.

Бедная мать пыталась хоть как-то окультурить одноклассников сына: водила на экскурсии в музеи, читала лекции по искусству (помню, что и я в свое время пошла работать в школу, чтобы вложиться в поколение своего сына). Но культура прививалась с трудом, а выживать было нужно: так Паша ушел из музыкальной школы, а потом произошла история с курткой.

Таня купила сыну красивую — с викингами — куртку. Но одноклассники то ли от зависти, то ли от недостатка вкуса назвали ее «кислотной». Вернувшись из школы, Паша попросил купить ему другую куртку — черную, как у всех. А «викин-

гов» убрали в шкаф — до лучших времен. Но когда лучшие времена наступили, Паша вырос: так они с викингами разминулись. А пока нужно было мимикрировать.

После пятого класса мать хотела перевести сына в другую школу. Потенциальная классная руководительница с удовольствием взяла у матери деньги и ювелирный набор. Но когда Тане намекнули, что не прочь принять от нее в подарок пару компьютеров для школы, она вспылила, ушла, а компьютер купила сыну.

Точнее, первый в его жизни 286-й компьютер принес отец. А через год мать за полторы тысячи долларов купила сыну 486-й. Казалось, Паша родился со знанием компьютера. Уже через год он собрал свой собственный компьютер и несколько компьютеров для детей маминых сотрудников (Таня к тому времени работала дизайнером в салоне элитной мебели): это был первый в его жизни заработок.

Но в школе — как, с одной стороны, ни старалась мать сделать одноклассников сына лучше, как, с другой стороны, ни старался сын быть хуже, то есть как все, — отношения не сложились.

В седьмом классе Паше в драке сломали руку. Но не это стало последней каплей. На зимних каникулах Таня с сыном была в доме отдыха. Купаясь в бассейне, он простудился, его (уже в Москве) стали лечить и занесли клебсиеллу. Начался пиелонефрит. Таня поставила об этом в известность классного руководителя сына. Та при всем классе сказала, что Пашу теперь будут выпускать со всех уроков, потому что он может описаться. Сказать такое четырнадцатилетним подросткам!

Но нет худа без добра. Мать заберет сына после седьмого класса из 376-й школы и на один год переведет в 392-ю: сын проделает обратный матери путь — сама Таня училась сначала в 392-й, а потом в 376-й школе.

Кроме того, пиелонефрит поможет «отко-сить» Пашу от армии. (Времена, повторяю, были торгашеские. Да не всегда ли они в России такие?) Но это еще впереди.

Восьмой класс Паша учится в 392-й школе. Здесь не знают ни о его талантах, ни о его болезнях, и потому школьная жизнь протекает более или менее спокойно. У Паши даже появляется друг-одноклассник Паша Васильев.

Именно в это время мать Паши, а моя одноклассница, просит меня подтянуть ее сына по русскому языку. Возобновляется мой школьный маршрут Текстильщицы — Преображенка.

Русский язык Паше не давался (впрочем, как и остальные предметы, исключая рисование, ин-

форматику и пение). Он всю оставшуюся жизнь будет писать с ошибками — они будут даже в надписях на его работах (например, «Наше дело подвиг»). Но я никогда не считала неграмотность смертным грехом: снежики так снежики.

Но восьмой класс кончается — надо думать о будущем. Мать купила справочник с адресами средних учебных заведений Москвы, и они с сыном стали выбирать.

Надо сказать, что к этому времени (1998 год) Таня развелась с Сашей, Пашиным отцом (она надеялась, что прекратятся измены мужа, но не простила, когда у того появилась постоянная любовница), и жила с сыном на съемной квартире.

Отныне (впрочем, как в большинстве случаев было и раньше) она одна будет решать все проблемы сына. Иногда «решать» в прямом смысле слова.

Так, когда Паша будет сдавать вступительные экзамены в Колледж информатики и права на Щербаковской (на который в конечном счете пал выбор матери и сына: и информатику Паша любил, и добираться было удобно — на 11-м трамвае), мать блестяще напишет за него контрольную по математике (уж какими путями ей удастся получить вариант работы, одному Богу известно), остальные предметы Паша худо-бедно осилит сам.

У разведенной матери и поступившего в колледж сына начинается новый этап жизни. Летом они едут в дом отдыха на Каспийском море. Приезжают 11 августа, аккуратно в день Пашиного рождения. Здесь подбирается хорошая компания — вместе купаются, ездят на экскурсии, устраивают пикники. Возвращаются отдохнувшими и веселыми (несмотря на разразившийся дефолт и Пашину простуду): у обоих есть ощущение, что жизнь только начинается.

И действительно, 3 сентября на дне рождения подруги Таня познакомится с мужчиной, опять Сашей, который вскоре станет ее вторым мужем.

Паша с матерью переезжает жить к отчиму. Паша резко взрослеет, начинает активно рисовать. Нанятый матерью репетитор по математике говорит, что у мальчика голова художника: его невозможно обучить математике.

Репетитор оказался прав. Первые два года в колледже Паша еще кое-как тянет, а потом перестает даже ходить на занятия: математика становится все сложнее, он уже не догоняет. Встает вопрос об аттестате о среднем образовании.

И опять все решает мать: за четыреста долларов она покупает сыну школьный аттестат, а также решает еще одну проблему сына — с армией. Она едет в военкомат с пухлой медкартой сына и

буквально бросается в ноги врачу: говорит о пиелонефрите сына (что, между прочим, является чистой правдой, о том, что растит его одна (это уже лукавство: у нее уже есть второй муж, который, кстати, советует ей взять в военкомат все имеющиеся в доме деньги).

Врач прерывает «поток доказательств несравненной ее правоты» простым вопросом: «Мамаша, деньги у вас есть?» — «А сколько надо?» — быстро осведомляется «мамаша». — «Тысячу долларов». — «У меня с собой только восемьсот». — «Хорошо. У нас сегодня акция», — шутит эскулап. Так мать закрывает обе темы. Это стало возможным потому, что теперь она не преподает, а работает в солидной фирме. Но учиться-то Паше дальше нужно.

Опять-таки мать нашла для сына авторские курсы графического дизайна, которые вел Сергей Дмитриевич Чеботков (это его три грации на флаконе лака для волос «Прелесть»). Здесь Паше интересно, он хорошо учится и курсы оканчивает сам. После этого — тоже сам — находит себе 3Dmax-курсы в МАРХИ. Они нравятся Паше настолько, что его невозможно выпроводить домой.

Мать звонит в институт и спрашивает охранника: «Скажите, в институте кто-нибудь из студентов есть?» — «Да есть тут один, сумасшедший», — отвечает охранник. Время — полночь. Воистину — охота пуще неволи.

В это время Паша активно рисует на стенах, и мать, в прошлом преподаватель композиции, настаивает на получении высшего образования. «Хорошо нужно уметь рисовать и на заборе», — говорит она.

Паша собирает все свои «корочки»: и липовые об окончании школы, и настоящие об окончании Чеботковских, и 3Dmax-курсов — и поступает сразу на второй курс Института дизайнера и моды. Его теперь не нужно уговаривать: он нашел, как пел Высоцкий, свою колею.

Паша с азартом занимается фото и компьютерной графикой (мать — один за другим — покупает ему фотоаппараты и кинокамеры), охотно помогает сокурсникам и особенно сокурсницам: как правило, в школе лучше учатся девочки, а в институте — мальчики. Наверное, мужчины «включаются» только когда чувствуют свое призвание.

Преподаватели в один голос хвалят Пашу, добавляя, впрочем, что этот человек учится только тому, что ему интересно (то-то ни я, ни репетитор по математике при всем желании не смогли его толком ничему научить).

В 2006 году Паша окончил институт. Тема его дипломной работы — «Оформление журнала CODE RED» (CODE RED — журнал граффити и стрит-арта). В дипломном вкладыше — три четверки, остальные — пятёрки.

Параллельно с учебой в институте шла бурная, по-настоящему творческая жизнь.

Вернемся на пять лет назад. В 2001-м происходит судьбоносное — Паша впервые начинает рисовать на стене. Привлек его к этому друг детства, тот самый Вова Грязнов, с которым строили из стульев космический корабль. Вова привел Пашу в команду, рисующую на стенах в районе Преображенки.

Паша сразу почувствовал себя в родной стихии. Его первой «наскальной живописью» стал Paradise, написанный на стене бойлерной вблизи школы № 392 — той самой, где начинала учиться его мать и которую в восьмом классе окончил он сам.

В районе работало несколько молодежных групп. Вначале для молодых людей граффити (назовем рисунки на стенах подобающим термином) были, во-первых, средством самовыражения, способом заявить о себе *urbi et orbi*, и, во-вторых, соревнованием: кто лучше (а точнее, круче). Понимание того, что это искусство, придет позднее. А пока это, скорее, образ жизни.

Еще один Пашин друг Виталий Кузьмин вспоминает, как он познакомился с Пашей. Шел мимо школы № 376 и увидел на спортплощадке группу ребят, танцующих брейк. Подошел — познакомились (в группе танцующих были Паша и Вова). Выяснилось, что все не только танцуют брейк, но и увлекаются роком, а главное — граффити (брейк, рок и граффити, таким образом, составляют триединство). На следующий день отправились рисовать уже вместе с Виталием. Рисовали каждый день.

Тогда, в начале 90-х, не было не только продуктов и одежды — не было, как вспоминают ребята, ни профессиональных красок, ни баллонов — все приходилось добывать, а порой и изобретать самим. (Как известно, голь на выдумки хитра.)

Это было интересно. К тому же опасно. Опасными были выходы на стены: в 90-е в нашей стране граффити еще не считались искусством — скорее, хулиганством. За них могли забрать в милицию.

Однажды Паша и Вова восемь часов просидели в обезьяннике за свое художество.

Но риск только подогревал тягу. Риск, молодость, стремление выразить себя сливались воедино.



Надо заметить, что то, чем занимался наш герой в 90-е, возникло на Западе еще в 70-е и получило название хип-хоп-субкультуры.

Справка. Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в Нью-Йорке. Его основателем считается Африка Бамбаата. Хип-хоп — изначально — включает пять составляющих: брейкинг, эм-синг, диджеинг, граффити и определенную философию. С 80-х годов хип-хоп считается мировой молодежной культурой, имеющей социальную направленность.

Так что «русские мальчики» подхватили эстафетную палочку у своих западных сверстников. Но главной составляющей «наших» были все-таки граффити.

Рисовали не только на стенах, но и, к примеру, на поездах. В этом был особый риск. Нужно было заранее узнать расписание пригородного поезда, дожидаться, когда он будет отведен на запасный путь, а также когда уйдет машинист. И в короткое время расписать вагон. Пользуясь строкой Пастернака, этот период жизни нашего героя можно назвать «на ранних поездах».

Ребята, если можно так выразиться, были «передвижниками». Ведь в чем, если разобраться, была основная идея классических передвижников? «Передвинуть», приблизить картины к зрителю.

Но нарисованные на стенах вагонов работы тоже «передвигали» себя к зрителям. Другое дело, что этот зритель не был знатоком и ценителем искусства — это был обычный люд, мимо которого проносился поезд.

Вообще, главное в искусстве граффити, на мой взгляд, — его стремление быть увиденным, социальный посыл: работы, сделанные на стенах и заборах, идущих вдоль железнодорожных путей, и работы на стенах мчащихся составов одинаково обращены к людям — либо едущим в поездах, либо идущим вдоль железной дороги. И в том и в



другом случае для художника-граффитчика важно передать свой message. Философия придет позднее. А пока семнадцатилетним юношам интересен сам процесс рисования, сопряженный с риском и соревнованием.

2003 год и друзья, и мать Паши — каждый со своей стороны — отмечают как очень для него значимый: он начинает сознавать себя не просто мальчиком, рисующим на стенах (пусть и хорошо), а художником, закладывающим основы нового направления в искусстве. У него, впрочем, уже есть название — street-art. Но то, что делает Паша, — это русский street-art. Основная идея этого направления — взаимодействие с окружающей средой, диалог со зрителем, обычным прохожим.

В этом году многое происходит впервые. У Паши появляется первая профессиональная краска. Он по приглашению администрации (!) района Ясенево расписывает бойлерную. (Времена меняются!) Он снимает свой первый ролик «Сказка про Аленку», направленный против засилья рекламы.

Несколько следующих лет — это расширение и восхождение таланта Паши183.

В 2005 он выигрывает конкурс «Сникерс Урбания» и получает в качестве приза пятьсот долларов — первые заработанные деньги и ящик сникерсов (который дает ощущение кормильца семьи).

В этом же году он изобретает light-art. Суть этого стиля заключается в следующем: на какой-либо объект (стену, забор, дерево) проецируется изображение (чаще всего портрет). Это наложение снимается фотоаппаратом и потом существует как фотография.

Для своего light-art'a Паша из старого диапроектора делает проектор с автономным питанием. Это принципиально важно, потому что работать приходится в местах, где нет электрических розе-

ток: на улице, в лесу, под землей. Под землей, в частности, сделан проект «Москва Гиляровского», в котором сошлись две страсти Паши183: любовь к Москве и диггерству.

Мать, увидевшая light-art работы сына, окончательно уверилась в том, что, во-первых, ее сын — самобытный художник, а во-вторых, что его, бесстрашного и безбашенного, творящего над и под землей, уже не остановить.

В 2005 году, параллельно с учебой в институте, Паша начинает сотрудничать с «Винзаводом». Официально «Винзавод», центр современного искусства на территории бывших цехов и дегустационных лабораторий, был открыт в 2007-м. Но тусоваться молодые художники стали здесь гораздо раньше. «Винзавод» — это особый сюжет в судьбе Паши183.

Скажем о нем кратко. «Винзавод» предоставлял молодым художникам стены и холсты, устраивал выставки. В частности, Паша сделал граффити-композицию «Индустрия» о том, что в современном мире художник вынужден зависеть от воли заказчика.

Здесь Паша познакомился с Кириллом Кто (Лебедевым) — художником, идеологом стрит-арта, впоследствии куратором посмертной Пашиной выставки. Именно «Винзавод» подкинул Паше проект Maserati (но об этом чуть ниже).

В 2006 году Паша принимает участие в Фестивале современного молодежного искусства «Эталон», где пишет свой знаменитый портрет Кинчева. Ему вручают главный приз фестиваля — музыкальный центр. Паша принес его матери, сказал — на память. Мать Паша крепко и нежно любил и стремился оправдать ее ожидания: он не мог не видеть, что ради него она пожертвовала карьерой художницы (два художника на одну семью — это слишком много). Кто-то должен был зарабатывать деньги. (Добавим, что солист группы «Алиса» Кинчев был на Пашиных похо-

ронах, а музыкальный центр и сейчас хранится у матери.)

Надо заметить, что в 90-е и в начале 2000-х Паша живет в разных местах: то с матерью и отчимом, то с бабушкой, то, наконец, с отцом и мамой.

Понятно, что ему всюду плохо: нужно свое личное пространство. И мать совершает (очередной) подвиг. В это время она занимается интерьерами. Напряженнейшая работа по оформлению интерьеров богатым заказчикам — без выходных и отпусков — завершается тем, что Паше в 2004 году покупают квартиру — маленькую «двушку», но зато отдельную, свою.

Теперь он — к счастью или к несчастью — может вести тот образ жизни, который считает нужным.

Мать, не бывшая в отпуске четыре года, наконец едет отдохнуть в Чехию, и здесь на Карловом мосту, где принято загадывать желание, загадывает, чтобы ее сын стал большим художником. Говорят, что материнская молитва сильна. Наверное, и материнское желание обладает не меньшей силой.

Во всяком случае, в 2007 году восемнадцать Пашиных работ берут в галерею в Париж, в это же время он работает оформителем в съемочной группе фильма «Generation П» (так что TODD будет в этом смысле не первым его опытом).

А еще — приходят первые настоящие деньги. За тот самый проект Maserati, подкинутый «Винзаводом». (Это была презентация автомобиля, выполнявшаяся вдвоем с напарником в режиме online.) За эту работу Паша получил три тысячи евро. Это уже не ящик сникеров.

Он был счастлив: он доказал всем (и в первую очередь родному отцу, который был против «художеств» сына и предлагал ему заниматься нормальным ремеслом, например, быть гипсокартонщиком), что можно заниматься искусством и при этом не бедствовать.

Заработанные деньги он вложил, во-первых, в свое искусство: купил новый компьютер, принтер, другие технические приспособления. Но, скажем так, во-вторых, появились соблазны, которых Паша не миновал.

Деньги давали возможность влиться в ряды золотой молодежи, отличительной чертой которой во все времена был праздный досуг. Деньги давали возможность купить стильный прикид. Деньги... да что там говорить: то, что дают деньги — банально и общеизвестно.

Слава богу, что Паша недолго наслаждался «гламурным» образом жизни: он по природе был

творец, и праздность была ему отвратительна. Он вернулся к своему обычному — напряженному, ночному образу жизни.

И тут появилась Наташа. Наташа была как раз той девушкой, которой бы очень подошел «гламурный» Паша183. Ей хотелось богемной московской жизни, заграничных поездок, машин, тряпок. Какое-то время у Паши была иллюзия, что это как-то можно совместить. Но скоро стало понятно, что искусство и гламур, а также в данном случае амур, — две вещи несовместные.

Произошел разрыв, за которым последовал первый нервный срыв. Недаром «разрыв» и «срыв» — однокоренные слова. Мать положила Пашу в больницу имени Корсакова при 1-м Медицинском институте. Ложиться он категорически не соглашался, но мать уговорила.

На следующий день принесла передачу: продукты, вилку-ложку-нож, полотенце. А еще через день — Паша сбежал. Было это так.

Он разрезал на полоски полотенце и связал их — получилась веревка (прямо как в приключенческом фильме). Потом пошел в душ, открыл там окно и по самодельной веревке стал спускаться вниз. В одном месте полоски развязались — и он упал на асфальт. Добавим, что упал со второго, но высокого, около шести метров, этажа. Почувствовав страшную боль, позвонил родителям. Те тут же перезвонили на пост больницы, и испуганный медперсонал вызвал скорую. Она отвезла Пашу в 1-ю Градскую больницу.

На дворе было 17 января, суббота. Как известно, в России нельзя болеть в праздники и выходные: врачи отдыхают, чтобы не сказать хуже.

Пашу положили на койку в коридоре, где было полно больных. Ему становилось все хуже. И тогда мать позвонила своей клиентке, родственнице высокого чиновника, с мольбой помочь ее сыну. И ситуация тут же, как по мановению волшебной палочки, изменилась. Откуда-то появился хирург — сама доброжелательность и радушие. Паше сделали рентген. Рентген показал нож в кармане и перелом таза. Ситуация усугублялась тем, что началось внутреннее кровотечение. Но поскольку у Паши появился высокий покровитель, ему немедленно сделали операцию. Операция продолжалась пять часов.

Все это время родители простояли на коленях в больничной церкви.

Операция прошла удачно: все-таки пациент был совсем молодой человек. Но зато вскоре после нее началась пневмония. Паша пролежал в реанимации около двух месяцев: каждый день приходила мать, приезжал отец.

Совместное пребывание и тревога за сына сблизили Таню и Сашу, расставшихся двенадцать лет назад (у каждого была новая семья, правда, не было детей).

Паша стал понемногу поправляться: вставать, ходить. Как были счастливы родители, увидевшие сына идущим им навстречу на костылях.

А Паша был счастлив, что они снова вместе. В марте он подарил матери кольцо с тремя камушками.

Как хорошо было бы закончить это повествование так: Таня и Саша стали жить вместе, а Паша посерьезнел, многое переосмыслил — впереди была долгая и счастливая жизнь. Но она, жизнь, как известно, жестче.

После того как угроза жизни сына миновала, родители вернулись каждый в свою семью.

А Паша — да, стал глубже, религиознее. Теперь он точно знал, что в его жизни главнее. У него было громадье планов. Он знал, что и как хочет сделать.

Пашин друг Виталий Кузьмин сказал: настоящий художник — не тот, кто лучше всех рисует, а тот, кому есть что сказать. В нужном месте и в нужное время.

Паше оставалось три года. Обещанного, как гласит пословица, три года ждут. Но Паша не ждал.

Три последние года — самое напряженное время его жизни, когда он состоялся как большой художник, внесший вклад в русский стрит-арт (а ведь были не только стены, но и замечательные холсты), безусловный лидер своего поколения.

Паша не ждал — он выполнил то, что, как герой Романа Гари, обещал на заре. В первую очередь — матери.

Как ни странно (или страшно) это звучит, трех лет ему вполне хватило.

Пашу никогда нельзя было заставить делать то, что ему было скучно, — писать грамотно, решать правильно. Жить долго.